

ВРЕМЕНА

Литературно-художественный
и общественно-политический
журнал

Выпуск 1 (9) 2019

Нью-Йорк
2019

ВРЕМЕНА
Международный литературно-художественный
и общественно-политический журнал

VREMENA
International Journal of Fiction, Literary Debate,
and Social and Political Commentary

Publisher Leon Mikhlin

Editor David Guy

Design and layout Slava Petrakov

Copyright © 2019 Leon Mikhlin

No part of this publication may be reproduced or transmitted
in any form or by any means – electronic, mechanical,
photocopy, or any other – except for brief quotations in printed reviews,
without prior permission from the Publisher.

For any information about obtaining permission to reproduce
selections from the journal, please call **917-922-4153** и **646-270-9615**
or send an email to **lbm28w@aol.com** и **guydavid094@gmail.com**

All rights reserved

ISBN:

Printed in the United States of America

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:

ИРИНА БАСОВА-ЗАБОРОВА	(Франция)
Марк ВЕЙЦМАН	(Израиль)
ГЕННАДИЙ КАЦОВ	(США)
ГАРИ ЛАЙТ	(США)
АНДРЕЙ ОСТАЛЬСКИЙ	(Англия)
ЛАРС ПОУЛЬСЕН-ХАНСЕН	(Дания)
СЕМЕН РЕЗНИК	(США)
МИХАИЛ РУМЕР-ЗАРАЕВ	(Германия)
ЭЛЛАЙДА ТРУБЕЦКАЯ	(США)
МАРИНА ТЮРИНА-ОБЕРЛАНДЕР	(США)
ЕВСЕЙ ЦЕЙТЛИН	(США)

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА

Валерий БОЧКОВ
Латгальский крест. 6

Борис САНДЛЕР
День памяти в городке Амнезия. 34

Михаил КОВСАН
Крысенок (Рассказ-притча) 59

Владимир СОЛОВЬЕВ
Pozzosacro: измена – это так просто 79

Джейкоб ЛЕВИН
«Зингер» и «Диамант» 123

Каринэ АРУТЮНОВА
Новеллы. 135

ПОЭЗИЯ

Владимир ПОЛЕТАЕВ. 46

Наталья ПИСАРЕВА. 112

Михаил КОВСАН. 117

Александр ЛАЙКО..... 152

Дмитрий ГАРАНИН..... 216

ИМЕНА В ЛИТЕРАТУРЕ

Евсей ЦЕЙТЛИН

Долгие беседы в ожидании счастливой смерти (окончание)..... 160

НАШ АРХИВ

Соломон МИХОЭЛС

«Строитель» (пьеса)..... 206

НЕВЫДУМАННЫЕ ИСТОРИИ

Яков ФРЕЙДИН

Страсти лошадиные..... 222

МЕМУАРЫ

Андрей ФРОЛОВ

Генерал СМЕРШ (продолжение)..... 233

Петр ВЕЛИЧКО

Как я женился на королеве..... 250

СМЕЯТЬСЯ, ПРАВО, НЕ ГРЕШНО...

Григорий ПИСАРЕВСКИЙ

Как Фрэнк и Стив поссорились и помирились..... 271

Александр МАТЛИН

Культурное ущелье..... 278

Валерий БОЧКОВ

ЛАТГАЛЬСКИЙ КРЕСТ

Фрагмент нового романа

Живущий в США (Вермонт) Валерий Бочков – известный русский прозаик, лауреат «Русской Премии» (роман «К югу от Вирджинии», 2014). Роман «Харон» стал победителем премии имени Эрнеста Хемингуэя (2016). Ведущее издательство России «ЭКСМО» выпускает персональную серию Валерия Бочкова «Опасные игры». Десятая книга серии – «Латгальский крест» – готовится к выходу в середине этого года.

Латгалия – восточная область Латвии. Среди лесов и озёр стоят древние замки крестоносцев с подземными лабиринтами, легенды о ведьмах и оборотнях переплетаются с историями о «лесных братьях», последней антисоветской группировке, уничтоженной в 1956 году. Город Кройцбург поделён Даугавой пополам – на западной стороне живут латыши, на восточной базируется советский гарнизон и военный аэродром стратегической авиации. Между русской и латышской стороной лежит остров, именно на этой нейтральной земле пятнадцатилетний сын лётчика и встречает девчонку с того берега. Встреча, которая должна была стать началом первой любви, стала прологом семейной трагедии, изменившей судьбы героев и их близких раз и навсегда.

Новый роман – яркая, почти осязаемая визуальность, психологически точные персонажи, энергия живых диалогов, неукротимый драйв и крепкий сюжет с неожиданной развязкой. Ему присущи драматизм и философская глубина, постановка проклятых русских вопросов, которые автор ставит перед читателем, заставляя выворачивать наизнанку душу в поиске ответов.

Я шёл наобум – куда глаза глядят. На сапогах белели разводы засохшей соли – как плесень. Попадались вечерние прохожие, одинокая женщина опасливо отшатнулась – оказывается, я продолжал вполголоса что-то бормотать. Ну и пошли вы все к чёрту – крикнул я ей вдогонку.

Приморозило, на фиолетовом небе проклюнулись хилые звёзды. Под фонарями мостовая блестела, как кованое железо. Я шагал по замёрзшим лужам, со злорадством топал, хрустя нежным стеклянным ледком. Зажглись окна. Откуда-то потянуло подгоревшим луком. За занавесками горел оранжевый свет, где-то играло радио. Я поскользнулся и чуть не грохнулся. Удержал равновесие и пошёл дальше. Ну и пошли вы все к чёрту! Со своим луком, со своим Чайковским!

Меня вынесло к автобусной станции. Несколько человек с сумками ждали под навесом. От лампы дневного света их лица были сизыми, как у мертвецов. Уехать к чёртовой матери! Я подошёл ближе, вытащил из карманов деньги, пересчитал – два рубля с копейками. На билет должно хватить.

– Куда автобус? – спросил я у тётки в очках.

– Даугавпилс. Семь сорок, – она поставила сумку, посмотрела на запястье. – Через двадцать минут.

На месте стоять я не мог. В зале ожидания, промозглом помещении с крашеными лавками, было пусто. Воняло селёдкой, под лавками темнели лужи. Я забрёл в буфет. За хлипкими столиками сидели мрачные мужики, по виду латыши. Пили пиво из тёмных янтарных бутылок. Над головами голубым туманом висел табачный дым. За пустым прилавком томилась от скуки рыжая буфетчица с красным ртом. Её волосы напоминали клоунский курчавый парик – ну и чучело, подумал я, разглядывая полку с бутылками за её спиной. Между глиняными сосудами «Рижского бальзама» блестели ядовито-зелёные поллитровки мятного ликёра «Шартрез». Буфетчица уставилась на меня подведёнными синими глазами. Очень хотелось нахамить ей, но ничего в голову не приходило. Часы над дверью показывали семь двадцать три. Во взгляде буфетчицы появилась насмешка. Или мне так показалось, только просто вот так взять и уйти отсюда мне стало почему-то неловко.

– Пиво какое? – грубо спросил, подходя к прилавку.

– Ригас алус, – ответила рыжая и усмехнулась.

– А коньяк?

– Три звезды. Дагестанский. Рубль пятнадцать. – и добавила –
Двести грамм.

– Ясно, что не бутылка, – я презрительно кинул мятый рубль на прилавок, выудил из кармана мелочь, бросил в блюдо.

Она молча взяла деньги. Молча налила полный бокал коньяка.

С полным до краёв бокалом я устроился в углу. Сделал глоток, тёплый коньяк обжёт рот, потом горло. Внутри потеплело. Я отпил ещё, огляделся. На уровне плеча стена была грязной и засаленной до блестящего лоска. За соседним столом говорили по-латышски. Непонятная тарабарщина изредка перебивалась русским матом. Буфетчица дотянулась до радио, щёлкнула ручкой. Оттуда тоже полилась латышская речь, только без мата.

Время неожиданно замедлилось, словно воздух в буфете стал густым, как кисель. Я отпил из бокала, не вставая, снял куртку. Вернее, вылез из неё, вывернув рукава. Звякнула по полу выпавшая из кармана мелочь. Я даже не посмотрел. Злость, бурлившая внутри, сменилась обидой, тоже густой, тоже тягучей. Как мёд, как яд, горько-сладкой жалостью к себе. Ну и чёрт с ними со всеми! Со всеми? Да-да-да, со всеми! И с Ингой!

Я сделал большой глоток. Привстав, дотянулся до латыша, ткнул в плечо. Тот обернулся.

– Закурить есть? – я поднёс к губам два пальца.

Латыш равнодушно протянул мне пачку «Примы», дал коробок. Я выпустил дым, не затягиваясь. Буркнул наугад «лудзу» — всегда путал, что у них спасибо, что пожалуйста. Тот холодно кивнул, отвернулся. Сигарета была плоской, точно на ней кто-то долго сидел. От кислого дыма першило в горле.

За чёрным окном прокатились фары – набухли, вспыхнули, погасли. Часы показывали без двадцати восемь. Ну и чёрт с ними со всеми! И с Даугавпилсом! Кого я там знаю? В моём бокале осталась половина. Приблизив тёплое стекло к самым глазам, я начал разглядывать зал. В канифольной гуще дрейфовала плавная буфетчица, над головами посетителей курился жёлтый дым – всё тут было не так уж плохо. Из радио вытекала ленивая музыка – пианино и контрабас, по меди тарелок барабанщик елозил железными щётками.

Даже сигарета под конец стала почти вкусной. Не отнимая бокала от лба, я затянулся и кинул окурочок под стул.

Сквозь янтарную линзу мир казался мягче и теплее, как бы ласковей. Всё светилось изнутри, так в ночи мерцает воск толстых свечей. Исчезла убогость и грязь, в меня втекала тихая радость, почти благодать. Буфетчица плыла ко мне, сияя оранжевым нимбом, за спиной её вспыхнуло перекрестье двух крыльев. Я, всхлипнув, умилился чуду и тут же увидел – нет, не увидел, скорее, ощутил – себя, но лучше нынешнего – добрее и умней, взрослей. Точно какая-то божественная сила наделила вдруг меня чудесным даром предвидения: вот я несусь по лугу, несусь раскинув птицей руки, вот я на вершине какого-то пика – Монблан, должно быть; вот хлётко кидаю звонкую блесну с кормы белого катера, дельфины следуют в фарватере, в небе – альбатросы; вот – пальм лиловый силуэт, за ними – тропический закат – лимонный, персиковый, малиновый и в обратном порядке те же цвета отражаются в зеркале океана – где это? – ах, да, – Гавайи. Вот – её руки, она обнимает меня сзади, неслышно подкравшись босиком по песку, остывающему, но всё ещё тёплому как человеческое тело песку, её голос – эх, Чиж-чижик, чижик-пыжик, что ж так быстро сдался, руки опустил, шпаги в ножны, бери шинель пошли домой, эх, ты, птаха божья, пташка-невеличка. А я так надеялась, так верила, так мечталось мне – эх...

– Эй! – раздалось над головой.

Сияющий рай погас, надо мной возвышалась буфетчица с морковными волосами.

– Тут свинячишь! – она тыкала пальцем в пол.

На полу тлел мой окурочок. Я наклонился, не вставая, поднял бычок. Пепельницы на столе не было, буфетчица, криворотая и краснотубая, брезгливым взглядом прожигала меня насквозь. Не уходила, не моргала, тушь с ресниц её осыпалась и под глазами расплзлась траурными тенями. Толстая грудь шарами выпячивала сиреневую кофту домашней вязки, сквозь шерсть проглядывала арматура тесного лифчика. В треугольном вырезе белела сметанная кожа, усыпанная веснушками. На золотой цепочке висел унылый медальон в виде сердца с крохотным рубином посередине.

Окурочок жёг пальцы. Неторопливо взяв бокал, я в три глотка допил коньяк. Поставил бокал на стол. Бросил туда бычок. На дне

оставалась жидкость, окурок пискнул и выпустил тонкую струйку сизого дыма.

– Лудзу, – произнёс я вежливо улыбаясь. – Или свейки?

– Уходи! – приказала она. – Вон!

По тону было ясно, что она привыкла к немедленному выполнению своих распоряжений.

– Сейчас. Сейчас уйду. Но прежде скажи мне, – не спеша произнёс я, – скажи мне, ты, крашенная латышская кукла, если кто-нибудь, ну какой-нибудь человек, был готов пожертвовать всем ради тебя – всем! абсолютно всем! – я не про поэтические бредни вроде звёзд и утренней зари на небе говорю – не про сладкие слюни и розовые сопли толкую, я про реальную жизнь – сволочную, сучью реальность – с майорами особого отдела по фамилии Воронцов, партбилетами и ленинскими зачётами в красных уголках, с казарменной вонью и сапогами в ваксе – вот про этот самый наш мир я веду речь, про эту подлую жизнь...

Я уже кричал и колотил ладонью по столу. Буфетчица заморожено пялилась на меня, точно на её глазах происходила какое-то ужасное превращение. Латыши тоже повернулись, их растерянные лица придали мне азарта.

– Что бы ты ответила этому человеку? Честному, глупому, влюблённому! Согласилась ли бежать на край света – да какой там край – хоть в Ригу, согласилась бы? Ну хоть в Даугавпилс паршивый? Ведь любовь – это ж любовь! Пламя! Расщепление ядерного дупла! Огонь мартеновских печей, извержение Везувия и последний день в Помпеях. Эдакая редкость по нынешним суконным временам – вот я к примеру всю жизнь прожил и ни ухом, ни рылом про эту самую любовь! Думал – враньё и сказки в книжках, волны да пена, чешуя позолоченная... Ну же! Ну? Ну что же ты молчишь, селёдка балтийская с марокканскими волосами цвета апельсина, скажи хоть что-нибудь, ответь дураку! Не молчи, не молчи, говори!

Я оттолкнул стол, вскочил. Бокал не удержался – полетел на пол – и вдребезги. Хлипкий стул из гнутых трубок звонко поскакал по кафелю пола. Подхватив куртку, я рванул к выходу. На ходу сшиб ещё пару стульев. Пнул в дверь, вылетел на улицу.

Тьма и холод, казалось, что уже наступила ночь. От морозного воздуха я закашлялся. У крыльца стоял чей-то велосипед. Вскочив в

седло, погнал, неистово налегая на педали. Затормозил у испуганного прохожего в шляпе.

– Комсомольская улица? – заорал. – Где?

Шляпа попятился, махнул рукой во тьму. Я помчался в указанном направлении. Мельтешили фонари, окна, фары. Машины сигналили, нервно визжали тормоза. На повороте, выскочив на гололёд, велосипед занесло, мне не удалось удержать равновесие и я со всего маху грохнулся на мостовую. Перелетел через руль. Неуместно весело звякнул велосипедный звонок. Ночь взорвалась, локоть и колено пронзило раскалённой болью. К тому же я прокусил язык. Путаясь в велосипедной раме, передаточном механизме – масляная цепь и цепкие шестерёнки – в спицах колёс, ругаясь и плюясь кровью, я вскочил и, прихрамывая, побежал дальше.

Последний дом на Комсомольской улице светился окнами. Пробравшись через рыхлую грядку – сапоги чавкали в жирной земле, я прильнул к стеклу. Узнал комнату, где меня угощали чаем всего несколько часов назад. Комната была пуста. Держась за стену, прокрался дальше, заглянул в следующее. Там, за тюлевой занавеской, в молочном мутном свете, сидела её мать. Сидела неподвижно, сложив руки на коленях, и уставившись в одну точку. Так смотрят телевизор. Она смотрела в пустую голую стену.

Ингу я нашёл на кухне. Она стояла спиной к окну, её волосы были стянуты в пучок. Они, её волосы, здорово потемнели с лета – из солнечного льна превратились в сырую солому. Инга испуганно отозвалась на мой стук, не вздрогнула – шарахнулась. Она подскочила к окну, закрыв свет ладонью, уставилась в темноту.

Потом она вышла, всё ещё испуганная, кутаясь в какую-то жуткую кофту волчьего цвета. Кулак с белыми костяшками стягивал на горле шерстяной узел. Никогда раньше я не видел Ингу такой потеррянной – точно мы малыши, что заблудились в ночном лесу. От её взгляда — тоскливого и беспомощного, такого детского, хотелось удавиться. Моё сердце ещё колотилось от бега, забыв, что я весь грязный и в крови, я обхватил её и прижал. Она уткнулась, по-собачьи, в мою шею, под скулу – будто спряталась в нору. Я вдохнул, глубоко-глубоко, словно собираясь погрузиться на дно. Её волосы пахли спелыми яблоками, так пахнет антоновка в октябре. Я хотел сказать об этом, но вместо слов из горла вырвался всхлип. Далеко

за рекой взвыл локомотив, протяжно, тоскливо и безнадежно, словно где-то на другом краю земли в запредельном океане прощался с жизнью последний левиафан. Похоронная песня кита легла в ритмический узор моего загнанного сердца – у мироздания была восхитительная возможность элегантной коды. Эхо уносилось в бездонное поднебесье, путалось среди созвездий, терялось среди галактик.

Я сам всё испортил – впрочем, как всегда: начал говорить. Слова несовершенны – при помощи слов, обладая известным риторическим умением, ты можешь высказать свои мысли. Передать словами чувства – дохлый номер. Тут нужна виолончель, на худой конец, скрипка. В идеале – соборный орган, но об этом только можно мечтать.

Женщины умнее нас – я не про математику или задачи по физике, я про мудрость жизни. Интуитивную мудрость. Мужчина по сути своей насильник, он созидатель или разрушитель, его не устраивает природа – такая как она есть. Он с ней сражается. Женщина – нет. Она становится частью природы, встраивается в неё – она цепкий побег плюща на каменной стене, она упругая, но гибкая осока, что льнёт к земле под напором ветра.

Инга остановила поток слов – сначала ладонью закрыв мой рот, после своими губами. Даже такой упрямый осёл, как я, заткнётся, когда его целуют.

– Мой милый Чиж, – выдохнула она тихо и грустно. – Глупый-глупый-глупый Чижик. Нам не спрятаться и не убежать. Они нас выследят, как овчарки выследят. Клыкастые псы, кровожадные, с невероятным нюхом. Они нас под землёй отыщут, на дне моря... Уходи, пожалуйста, уходи – пока не поздно. Пока ты не знаешь, как это бывает. Уходи!

– Уходи? Уходи?! – я задохнулся. – Вот так просто? Уходи!

Оттолкнув её, я по-волчьему вскинул голову к чёрному небу и зарычал. Рык, наполовину вой, отчасти вопль бессилья – сжатые кулаки отчаянья. Агония. Раненый марал, пронзённый навывлет бык на арене. Опьянение – состояние непривычное, вроде невесомости, новое чувство какой-то космической вседозволенности распирало меня. Неуёмная безадресная ярость и желание вселенской справедливости, ощущение всемогущества, ком в горле и слёзы а глазах – я был готов отдать свою жизнь за вздох, за взгляд, за улыбку. Особен-

но, за улыбку. В русском языке есть точное слово – кураж. Так вот – я был в кураже.

– Ну как?! Как?! Как ты можешь? – взвыл я. – Ведь любовь! Любовь – господи, боже ты мой! Это ж... это ж...

Инга смотрела на меня круглыми белыми глазами – ужас пополам с восторгом. На меня снизошло озарение, будто херувим коснулся лёгким перстом моего лба: ясные истины, которые до того казались запутанными, более того, сомнительными и достойными дискуссии, воссияли вдруг яростно, властно и ясно. Как разряд молнии, как выстрел в лицо. К тому же ночь выдалась точно на заказ – звонкая и чистая. Прозрачная до летальной хирургической стерильности: неяркая сталь, ртутное стекло, температура ниже нуля.

– Господи! – я вскинул обе руки, воткнул пальцы в бездонную звёздную падь. – Ведь я раньше будто и не жил. Один такой день стоит всей жизни, той – тусклой, затхлою, мёртвой – один час! Боже! Ведь быть может, то наш единственный шанс! Шанс быть живыми – понимаешь – восстать из гроба! Ожить!! Это счастье, но мы не знаем об этом!

Бог молчал. Крыши домов зыбко сияли инеем, застывшие комья грязи на земле серебрилась как драгоценные слитки. Фиолетовая вселенная безмолвствовала, звёзды зябко моргали, у соседей залаяла собака. Наверное, я орал во весь голос. Но бог меня не слышал. Впрочем, мне было наплевать на бога. Я был равен богу. Я сам был богом. Да, я был в кураже! В кураже – ах какое верное слово!

– За счастье ведь всё отдать – ничего не жалко, сама понимать должна! Неужели зря вся цивилизация и все поэты – Шекспиры, Петрарки и сам Данте, сам Данте – в ад за любимой полез! В горнило геенны огненной! А Пушкин? Под пулю грудь подставил из-за неё! Не может быть любовь пустышкой – подумай сама, – не может! Ведь про любовь половина всего искусства – от античности до наших дней – живопись и скульптура, опера, господи, опера! «Кармен»! «Богема!» «Травиата!» Ну как же... Сверкающей искрами чёрных очей...

Я запел, господи, спаси мою грешную душу – я запел в полный голос. Как пел отец по утрам, бреясь в ванной. У него баритон, я, скорее, лирический тенор.

– Как на небе звёзды осенних ночей! Всё страстно негой

в ней дивно полно... в ней всё опьяняет... в ней всё опьяняет и жжѐ-ѐ-ѐт...

Уверенно вышел в си-бемоль.

– Ка-ак вино!

Итак, всё было просто замечательно. К этому моменту угрозы майора уже казались нелепостью, да и сам майор Воронцов превратился из зловещего и всесильного особиста в картонный манекен карлика, раскрашенный защитной гуашью с весьма условными чертами весьма условного лица. Щелчком пальца я отправил дурака в нокаут. Кураж мой достиг апогея. Скорее всего, синхронно с реакцией мозга, сердца и прочих внутренних органов на алкоголь. Никогда в жизни я не был так пьян.

Милиция приехала неприметно. Я даже не услышал, как подкатил «воронок». Лишь по застывшему вдруг лицу Инги догадался, что за моей спиной происходит что-то захватывающее. Но обернуться не успел, пара молодцов уже заламывала мне руки и волокла к милиционерскому газику. Сзади донёсся голос Инги: я не знаю этого человека. Отчётливо услышал эти слова – не знаю! И добавила – пьяница какой-то. Какой-то!

Меня затолкали в жестяное нутро, смрадное и промозглое. Шофёр с места дал газ, я покатился на пол. Снова загавкала собака у соседей, где-то спросонья прокричал шальной петух.

Шофёр гнал как на пожар, казалось, дорога состоит из одних крутых поворотов. Встав на карачки, я пополз; в углу наткнулся на кучу какого-то тряпья. Тряпье зарычало и ожило. Рык перемежался замысловатой руганью, по большей части матерной.

Нас привезли, выгрузили. Тесный двор, над входом фонарь в клетке освещал узкую дверь. В полоске жёлтого света мелькнуло лицо попутчика – в дикой бороде, он напоминал матроса с необитаемого острова. Нас втолкнули внутрь. Внизу, за крашеным загоном, курил милицейский сержант. Дохлый и бледный, как ощипанный гусь, по костистому лицу с лунным отливом можно было изучать строение черепа. Между фуражкой и переполненной пепельницей чернел телефон. Именно сюда, очевидно, поступил сигнал от встревоженных соседей Инги. Да-да, всё верно – я не знаю этого человека!

Воняло казармой, сапожной ваксой, куревом и мужичьим потом. Мелкие деревенские окошки были забраны тюремной решёт-

кой. По потолку расползались толстые канализационные трубы, выкрашенные чёрной краской. На стене висел, чуть криво, треугольный кумачовый вымпел с жёлтой бахромой. Рядом, из фальшивой бронзовой рамы, сквозь мутное стекло, глядел пыливый Дзербжинский. Железный Феликс напоминал хворого Сервантеса. Меня поразили часы, не сами часы – они были стандартно казённого типа, точно такие же, квадратные в деревянном футляре висели и в нашей школе, – поразило время. Было всего без пяти девять. С момента моего посещения буфета на автобусной станции прошло чуть больше двух часов.

Меня втолкнули в тесный кабинет, похожий на кладовку. В дальнем углу упирался в потолок коричневый сейф. В другом, за конторским столом из грубой сосны, сидел милицейский младший лейтенант. Пыльный и мятый, казалось, он где-то спал в своём мундире – на чердаке или сеновале, короче, лейтенант выглядел очень неубедительно. К тому же на подоконнике, рядом с засохшим ростком традесканции стояло чучело лисы. Зверь и при жизни был мелок, а сейчас выглядел совсем жалко – под стать лейтенанту. Дверь за мной захлопнули, мы остались одни. Милиционер смотрел на меня грустно и мечтательно, точно любуясь.

– Фамилия? – ласково спросил он, открывая амбарную книгу. – Имя, отчество.

– Куинджи, – ответил я. – Архип Иваныч.

Мент моргнул, поднял глаза от бумаги, шариковая ручка уткнулась в лист и застыла.

– Знакомая фамилия...

– Греческая. Из греков мы. Из крымских греков-урумов.

– А-а-а... – он кивнул. – А что на конце? Ы? И?

– Ну как же? Жи – ши пиши с буквой И.

– Верно-верно. Спутал, – он поскрёб скулу. — Цыц, цыган, на цыпочках – верно?

– Конечно!

– А ещё: вертеть, терпеть, ненавидеть и смотреть.

– Видеть, – поправил я. – Гнать, держать, бежать, обидеть...

Лейтенант уткнулся, кропотливо выводя буквы. Его фуражка лежала на столе, рядом с мутным графином. Сквозь пегие волосы розовела лысина, младенческая, такая беззащитная. Схватить графин,

с размаху влепить в розовую макушку, кровь и осколки – я с трудом не поддался искушению. Выхватить табельный «макаров» из ментовской кобуры, отстреливаясь, уйти в латгальскую ночь – почему нет? Гнать, держать, бежать, обидеть! Ненавидеть!! Я не знаю этого человека – пьяница какой-то! Закусив до боли губу, воткнул руки в карманы.

Лейтенант вскинул голову, точно услышал мои мысли. Я улыбнулся радушно, но фальшиво.

– Из гарнизона?

Я кивнул, продолжая скалиться.

– Батя – военный?

– Лётчик.

– Да... мент задумчиво прищурил глаз. – Яйца он тебе, паря, точно оторвёт.

– За что? – я вполне искренне удивился. – Он-то тут причём?

– Ну как... Тебе, паря, пятнадцать суток светит за хулиганку – судимость считай. Ему в часть телегу отправим, тебе в школу тоже. Его, батю твоего, ясно дело на партсобрании вздрючат, отстранение от полётов, то да сё, – он в каком звании?

Я ответил.

– Ну вот, майора ему задержат, – он поскрёб тупым концом шариковой ручки затылок. – Год рождения? Адрес?

Опьянение моё улетучилось, бесшабашный азарт сменился тупой тревогой. Тревога быстро переросла в парализующий ужас. Даже предательство Инги отступило на второй план. Я назвал бывший адрес Гуся, нынешний его адрес на Ржаном кладбище вряд ли бы устроил милиционера. Нужно что-то было делать, что-то предпринять – срочно, срочно что предпринять.

– Товарищ лейтенант... – начал я без малейшего представления о конце фразы.

– Гражданин, – поправил он, впрочем, оставив без внимания лишнюю звёздочку, что я льстиво преподнёс ему.

– Гражданин лейтенант, а можно в туалет? – ничего умней в голову мне не пришло.

– Сейчас. Вот протокол закончим. Телефон какой?

– Не могу я...

Милиционер покачал головой, осуждающе, точно я подвёл его, не оправдал ожиданий.

– Горностаев! – неожиданно зычно гаркнул он. – Горностаев!!

Дверь открылась, в неё наполовину просунулся круглолицый сержант в серой шапке с кокардой.

– Задержанного а гальюн проводи!

Вышли в коридор. Свернули у дежурного направо. Горностаев топал сзади, беззлобно подталкивая меня в спину.

– Стой! – приказал он. – Тут!

Он лязгнул дверным засовом, железным, ржавым, похожим на затвор трёхлинейной винтовки. Распахнул дверь, пихнул меня кулаком в спину. Туалет, – хотя нет, милицейскому нужнику скорее подошло бы слово «клозет» или «сортир», был не больше кладовки. И, конечно, без окон. С внутренней стороны замка не оказалось. Горностаев с той стороны грохнул затвором. Сморгнулся трубно и засвистел.

Я выругался, плюнул в унитаза, взлохматил волосы. В коридоре Горностаев, надо признать весьма музыкально, высвистывал про цыганку-молдаванку, что собирала виноград. Неожиданно меня осенило – должно быть так на Моцарта обрушился его «Реквием», на Шекспира «Гамлет», на Леонардо... Додумать про да Винчи не успел – медлить было нельзя.

– Эй! Сержант!! – заорал я, пиная в дверь. – Тут женщина!

Свист оборвался.

– Где? – пауза. – Что? Кто?

– Тут у вас женщина! Голая! – крикнул. – Отстань от меня! Убери руки!

Я затопал-зашумел, изображая рукопашную схватку в тесном помещении. Горностаев торопливо загремел затвором.

– Где?! Где?

Я выскочил в коридор, шальной и взъерошенный.

– Где?! Где она? – сержант сунулся в уборную. – Стоять! Ни с места!

Я дал ему под зад ногой, вломил от души. У нас это называлось – пендаль с разворотом. Горностаев беззвучно нырнул в сортир. Я захлопнул дверь, воткнул засов. Вот так, вот так! Главное, чтоб не стал стрелять сквозь дверь. Из сортира донёсся мат. Выстрелов не последовало.

Я понёсся по коридору, свернул. На ходу заорал сонному дежурному:

– На помощь! Быстро! На Горностаева голая женщина напала!
В галюне!

– Голая?!

– Да! Совсем!

Дежурный выпрыгнул из-за загородки. Глаза круглые. Тщедушный, с тощей шеей, на ходу расстёгивая кобуру, милиционер зайцем поскакал по коридору. Путь был свободен. Срывая входную дверь с петель, я вылетел на улицу. Злой чайкой взвыла пружина, бухнула дверь. В тёмном, как угольная яма, дворе чернел «воронок», рядом угадывался силуэт человека с оранжевой точкой в районе губ. Отличная мишень для умелого снайпера. Человек стоял широко расставив ноги, звонкое журчанье выдало занятие незнакомца. Не сбавляя скорости я промчался мимо.

Топот дробным эхом метался по переулку. Гнать, держать, бежать, обидеть! Упругая кровь пульсировала в висках в такт посвисту сержанта Горностаева – раскудрявый клён зелёный лист резной – сердце туго билось в грудной клетке: да – влюблённый, эх смущённый пред тобой. Пред тобой! Смуглянка, мать твою, молдаванка! Как она могла? Не знаю этого. Этого! Пьяница-пьяница за бутылкой тянется. Этого человека! Не знаю-не знаю-не знаю...

Вой милицейской сирены взрезал ночь. Я рванул быстрее. Свернул, залетел в первую подворотню. Метнулся меж приземистых домов. Неужели тупик? Перемахнул в два приёма дощатый забор. Вой повторился, уже ближе. Громче. Понять, откуда доносится сирена, я не мог – казалось, воют чернильные тени меж домов, бездушные звёзды в чёрном небе.

Впереди замаячило зарево – площадь, редкие машины, вкрученные в фанерную тьму лампы. Мостовая упрямо дыбилась и спотыкалась. Я снова вылетел к автобусной станции. На остановке было пусто. Вбежал внутрь станции, в зале ожидания ни души. На закрытом окошке кассы какая-то бумажка, надпись на латышском. Сирена завывала совсем рядом. Оглянулся – милицейский «газик» вылетел на площадь и затормозил у остановки. Белые и синие сполохи метались по стенам домов, по замёрзшей площади, рассыпались прыткими зайчиками в битых стёклах и хрупких лужах.

Дверь в буфет была приоткрыта, оттуда бубнило радио. Пере-

давали какие-то латышские новости. Я заглянул – рыжая буфетчица протирала тряпкой своё стеклянное хозяйство.

– Слэ-эгс! – гавкнула, не оборачиваясь. – Закрыто!

Я неслышно проскользнул внутрь, закрыл за собой дверь. Замок предательски звякнул металлом. Буфетчица тут же обернулась. Меня она узнала сразу – я понял по лицу. Эмоции – недовольство, удивление, гнев – сменили одна другую, как в мультфильме. В тот же момент из зала ожидания донёсся топот сапог и голоса. Буфетчица повернулась к окну, «воронок», с включёнными фарами и милицейской мигалкой, уткнулся в фонарь у входа.

«Шалман проверь!» – приказал кто-то. Буфетчица, не сводя с меня взгляд, недобро усмехнулась и скрестила руки на груди. Вот сволочь! – я рыпнулся к другому окну, там, покуривая, бродила серая ментовская шинель.

– Тебя ловят? – спросила рыжая, масляно улыбаясь.

Вот ведь сволочь! За ней, рядом с полкой, украшенной частоколом из глиняных бутылок рижского бальзама, я увидел дверь. Чёрный ход! Подбежал, оттолкнул буфетчицу – та лишь фыркнула – распахнул. Там была кладовка. В темноте мерцали бутылки в ящиках, стояли какие-то коробки, из мятого цинкового ведра свешивалась тряпка. Рядом, в углу, топорщилась белобрысая швабра. Я повернулся, умоляюще взглянул на рыжую стерву. Должно быть, вид у меня был действительно жалкий, буфетчица снова фыркнула и толкнула меня в кладовку. Захлопнула дверь. Я выдохнул, руки мои тряслись, от беготни перед глазами плыли красные круги. Опустившись на корточки, я прижался ухом к створке.

– Здорово, хозяйка!

Я узнал голос Горностаева. Бухнула входная дверь. Сапоги по-хозяйски протопали в моём направлении, остановились совсем рядом.

– Здорово, – ответила буфетчица. – Ловишь криминальничков?

– Если бы! – он хохотнул. – Пацана не видала?

– Многих видала, – игриво ответила. – Пацанов и постарше.

– Ну ты... – Горностаев заржал. – Слышь, Лайма, нацеди пятьдесят капель герою правоохранительных органов. За счёт заведения.

Что-то стеклянно звякнуло, тихо забулькало. После секундной паузы Горностаев крикнул, ещё через секунду запел. У сержанта оказался не лишённый приятности голос.

*– Он говорит: в Марселе та-акие кабаки,
Та-акие там ликёры, такие коньяки.
Там девочки танцуют голые,
Там дамы в соболях...*

Буфетчица перебила:

– А что малец тот? Убил кого?

– Да, не. Сбежал, сопляк. Замели с «хулиганкой» – безобразничал на Комсомольской.

– Дрался?

– Да не! Орал. Теперь, дураку, года два намотают – а ты, Жучка, не балуй.

– Что?! – беззвучно вскрикнул я и тут же поперхнулся кладовочной темнотой. Хорошо ещё, что сидел на карачках – от этих слов сержанта земля ушла из под ног. Два года! За что?! Горностаев, похоже обладал телепатическими способностями.

– Побег из-под стражи. Спротивление при...

Он запнулся, я услышал как чиркнула спичка о коробок.

– ... при задержании, – сержант трубно выдохнул дым.

Горностаев ещё что-то говорил, что-то про статьи уголовного кодекса, про колонии для малолетних преступников; господи-господи! – я впился зубами в кулак – до боли, до крови (хоть и не видел крови в потёмках, но ощутил солёное с железным привкусом – впрочем, то мог быть и пот – ведь у него тоже солёный привкус, не так ли), и свитер промок от пота и жарко прилип к спине – господи, как же так? Я ж ничего никого не убил-не ограбил, как же так?

Жуткие тюремные истории, толкаясь, полезли из памяти в мозг: ожили, заплясали, корча рожи, бритые зэки – жилистые и злые, точно бесы, с ног до головы в синих крестах-церквях, топыря-коряча пальцы с выколотыми перстнями, щерясь стальными осками кривых ртов. Урки-уркаганы, понты пиковые, шныри, да волчары тряпочные. Шлифует братва мурку – шепчет чуйка бей по бане – в цвет, в масть – бей! А Вася Ржавый сел на буфер, были страшные толчки, оборвался под колёсья, разодрало на клочки. А мы его похоронили. А прямо тут же по частям...

Я сполз на пол. Я задыхался. Горностаев за дверью продолжал

бубнить, но разобрать слов уже не удавалось – череп налился тугой пульсирующей болью, череп превратился в жаркий, гудящий колокол. Литой молот раскачивался и бил, бил, бил. Бил чугунным боем. Ритмично, как адский метроном. А что ты, падла, бельмы пялишь? Аль своих не узнаешь? А ты мою сестренку Варьку мне ж напомнила до слез.

Ясно представились мне – с предельной резкостью, до шероховатых мелочей, – заборы с колючей проволокой по верху, сторожевые вышки, охранники с оловянными кокардами. Псы в пене, рвущие оскаленные пасти. Снег ли дождь, косой линейкой. Может град. А вот – скотские вагоны, стальные запоры; по доскам, по коричневой краске мелом написаны буквы, цифры – тайный шифр неволи – мы видели такие вагоны, из окон сквозь решётки торчали руки, коричневые пальцы царапали воздух, пытаюсь поймать паровозный дым, солнечный свет, что ещё? – время? А внутри тесный смрадный ад, мерзкий, вроде чёрной помоечной жижи, чтоб про такой написать нужен свой Алигьери, исколотый синими крестами и храмами, с железными фиксами во рту, с заточкой в сапоге.

*Извлекли спокойненько
Из петли покойника.
Стало в морге солнечно,
Гутен морген, сволочи!*

Дверь распахнулась, на пороге, в ореоле пыльного света, вышалась буфетчица.

– Вылазь, – сказала. – Уехали.

С унижительных карачек я кое как поднялся. Мутило, голова раскалывалась. Бережно и плавно, как по льду, я выплыл из кладовки.

– Попить можно? – попросил – звук, почти свист, вышел сухой, как сквозь бамбуковую дуду.

Из початой бутылки «Нарзана» буфетчица налила полный стакан, протянула. Одним глотком я влил в себя тёплую шипучую воду. Газ ударил в нос и гортань. Сами собой выступили слёзы.

– Спасибо, – я поставил стакан на прилавок. – Простите меня. Пожалуйста...

Меня начал бить озноб – ни с того, ни с сего: минуту назад я умирал от духоты. Руки тряслись, запахнув куртку, я сунул ладони под мышки и, нахохлившись, побрёл к выходу.

– Погоди...

Я обернулся.

– А кто она? Та. Про которую ты...

– Какая разница, – устало улыбнулся. – Теперь-то...

Отстранённо, точно не со мной и будто тысячу лет назад, всплыли мутно: мои крики и пение, вечерние окна, улица, силуэты острых крыш с чёрными трубами, лай собаки.

– Инга, – произнёс, словно пробуя на вкус, и повторил, – Инга.

Её имя, будто волшебное заклинание, коим пользуются ведьмы для оживления мертвецов и прочих своих мерзостей, да, я вслух произнёс имя-слово-два слога и тут же будто заглянул в бездонную чёрную дыру: смесь горя и безвозвратной потери, квинтэссенция никчёмности жизни вдруг накатили на меня – я даже поперхнулся.

– Инга, – твёрдо сказал, точно вбил гвоздь.

Голова моя стала пуста какой-то абсолютной пустотой, так бывает в утреннем кафедральном соборе – пусто, гулко и холодно, лишь эхо шагов где-то под самым сводом между балок. Я огляделся, точно видел всё впервые, словно учился заново видеть. Лампы, потолок, стены. Столы и стулья. Пол.

– Поди сюда, – позвала буфетчица.

Я послушно подошёл. Она сняла с полки бутылку водки. Мне никак не удавалось вспомнить её имя, что-то латышское, что-то вроде Рута или Уна, а, может, Олита. Или Марута? Нет, Марутой зовут, звали, мать Инги, моей бывшей Инги.

– Слушай... – догадка змеёй вползла в мозг. – Ведь это же она милицию вызвала!

– Кто?

– Господи! Какой же идиот! Какой же...

Мы сидели напротив друг друга за столом в углу. Буфетчица заперла входную дверь, выключила свет. Между нами мерцала бутылка и два стакана, гранёных, но не стандартных на двести грамм, а миниатюрных, будто уменьшенных, – с таким в руке ощущаешь себя Гулливером.

Фонарь с улицы разливал сизые лужи по полу, по столам. Помещение буфета мне всё больше и больше напоминало тёмный аквариум. У Арахиса был такой, вёдер на сорок, а, может, и на все пятьдесят – из толстого плексигласа; Арахис его не чистил и стекло изнутри зарастало зеленоватой мутью, в которую тюкались розовыми губами ленивые вуалехвосты. Я зачем-то начал рассказывать буфетчице про аквариум. Я снова был пьян. Но теперь вместо куража, вместо бесшабашной эйфории, меня одолела смертная тоска. Словно расплата за то веселье. Словно я погружался всё глубже в тягучую малахитовую муть.

Буфетчицу звали Лайма. По латышски это значит счастье. Чем дольше мы сидели, тем больше это имя подходило ей. Лайма. Я ей рассказал про Ингу, всё рассказал. Про наш остров летний, про нашу новогоднюю ночь на замёрзшей Даугаве. Про её предательство. Рассказал и про майора Воронцова. Поначалу мне показалось неловким откровенничать перед буфетчицей, ведь я рассказывал ей обо всём – в подробностях и деталях, вы понимаете про что я – если уж говорить, так говорить без утайки, правильно? Как на духу, как на исповеди. Я никогда не исповедовался, но представляю себе это именно так – душу наизнанку вывернуть да ещё и потрясти, чтоб до доньшка. Буфетчица слушала, иногда подливала водки в стакан. Я говорил, делал глоток, говорил снова – и всё глубже погружался в малахитовую темень. Шорохи и шелесты долетали с улицы. Редкая машина проезжала или запоздалый пешеход проходил под окном. Иногда ветер задувал в окно и тогда стекло звонко и нервно дрожало.

Я поднял стакан, отпил и поставил, я даже не заметил, как она накрыла своей ладонью мою руку – точно поймала кузнечика, нежно накрыла. Нежно – вот так. Водка стала тёплой и кислой на вкус – зачем я продолжал пить, я не знаю, должно быть, мне хотелось убить себя, но на решительные действия у меня не осталось воли. Есть такая гравюра у немецкого художника Дюрера, называется «Меланхолия», там мрачный ангел сидит, подперев кулаком голову, сидит скучает, а вокруг всякие инструменты валяются без дела – рубанок, циркуль, рейсфедер, баночка красной туши, глобус. Насчёт, глобуса, впрочем, не уверен. В углу картины ещё один ангел, юный совсем, не старше первоклассника, он мрачного тормошит, тянет за рукав – айда, мол, в футбольяну или штандар, или в вышибалу (у нас

она «жопки» называется) – не знаю во что там ангелы в Германии играют. А мрачному всё равно, смотрит вдаль.

Буфетчица слушала внимательно про Дюрера, я сам уже не помнил, к чему я эту гравюру приплёл. Её ладонь лежала на моей щеке и было не понять, то ли щека у меня горит, то ли ладонь её ледяная; двумя пальцами – указательным и средним – она прихватила моё ухо. Прихватив, она ласково теребила его и от этого в моей голове возникал шуршащий звук, похожий на морской прибой. Порой отсвет фар скользил по потолку, по пустым столам, по её лицу. Жёлтые всполохи вспыхивали и гасли, и тогда казалось, что это мы куда-то движемся, что буфет, подобно барже, отчалил и поплыл неизвестно куда. От этого пьяного света и лицо её менялось, нет – преображалось, вот верное слово. Преображалось – да. Становилось то смиренным и трагичным, как икона, то колдовским и зловещим, вроде фресок Врубеля, написанных на стене сумасшедшего дома. Я уже толком не понимал, кто сидит напротив. В какой-то миг мне привиделась Инга, в другой – моя мать, а вот сгустилась тень, и лицо её стало серебристым, русалочьим. Скажи мне, наяда-нимфея, что творится со мной, что происходит? Да-да, я слышу шелест прибора, шёпот гальки, но к каким туманным островам мы плывём, скажи мне?

Малахитовые тени гуляли по потолку, сползали по стенам, растекались по полу. Там – внизу, сизыми пятнами (видел всё боковым зрением) раскрывались остролистые лилии, распускались орхидеи, мясистые цветы, похожие на собачьи морды. Расползались водоросли, оплетали-опутывали ножки столов и стульев жёлто-зелёные ленты ламинарий и сочные побеги ярких элодей, мои щиколотки, икры и бёдра стягивали щупальца океанской людвигии – она-то как оказалась в нашем сухопутье? – однако стало ясно, отчего я не могу пошевелиться. Догадался я и о другом, но виду не подал – не так-то я прост, моя коварная буфетчица, моя порочная ведява, не так наивен. Блаженный лик её исказился – она поняла о моей догадке. Как воду морщит ветренная зыбь, как низвергнутый ангел превращается в демона, как чернели и корчились святые на белых стенах горящих церквей – буфетчица-наяда-нимфея приоткрыла мокрый рот и подалась ко мне. Беззвучно упала бутылка, немые стаканы покатались по столу, лениво. Под водой всё обретает плавность и грацию, я

успел заметить серебристую рябь – она вспыхнула, пробежала по потолку и погасла.

Догадка, да! Наконец-то появился смысл, наконец всё встало на свои места. Жизнь обрела логику – а, может, как раз и не жизнь, а наоборот. Моя догадка, да что там – озарение – мне вдруг стало ясно (как писали в романах – кристально ясно), что произошло на самом деле: тем летним днём я утонул. Совсем утонул — насмерть. И всё, что последовало за этим, оказалось не более чем сном. Фантазией, вымыслом, оптической иллюзией. Инга, остров, любовь – всё, от и до. И майор-особист, и милиция, и вот этот подводный буфет с зеленоглазой хозяйкой – всё! Сплошная фата-моргана. И уж если начистоту – никто из живых людей понятия не имеет о смерти, ни малейшего. Может, таков он и есть – загробный мир?

Ловкие щупальца скользнули под мой свитер, щекотно пробежали по спине – аллегро-анданте-пианиссимо. Одна, холодная, проворно протиснулась под ремень, звякнула пряжка; лица я уже не видел, лишь губы, губы тёмные – свекольные, мокрые. И дух морской, как от выброшенной прибоем травы – горечь и соль, да ещё приторный душок, как от мёртвых лилий. Она потянула меня вниз, на пол, нет – на дно, куда ж ещё, на дно, конечно. Раскинув руки крестом, голый лежал я среди ракушек и кораллов, по углам темнели оборванные якоря и чугунные пушки с потопленных фрегатов, из расколотых амфор текли серебряные финикийские драхмы, затонувшие вместе с галерами из ливанского кедра золотые дублоны мерцали в распахнутых пиратских сундуках. А что же утопленник может чувствовать – спросите вы – что в самом деле? Всё — отвечу я, всё и даже сверх того. Ведь он уже не живое существо, а нечто запредельное, чуть ли не посланец таинственной страны Офир, куда стремятся все мореплаватели, парусные и гребные, огибая коварные рифы Фарсиса и Геркулесовых столпов.

Ундина навалилась на меня, тяжело дыша, сиплым шёпотом затараторила по-латышски. Что? Что? – пробормотал я, словно её слова сейчас могли иметь хоть какое-то значение. Она выпрямилась, быстро стянула через голову свою кофту. Запуталась в лифчике, рывком его отбросила. Бледные груди двумя шарами нависли надо мной, я беспомощно взял их в ладони. Что с ними делать, я не знал. Она выдохнула горьким жаром мне прямо в рот, подалась вперёд и,

застонав, осела. Я тихо пискнул и зажмурился. Чей-то внятный голос произнёс торжественно в моей голове – это на самом деле происходит с тобой – здесь и прямо сейчас.

* * *

Всю следующую неделю и ещё пять дней я провалялся в гриппе. Он пришёл из Европы, какая-то новая бацилла с изящным эпителием «лондонский», против этого гриппа старые пилюли оказались бессильны и больных лечили горячим молоком с мёдом. Температура моя зашкаливала под сорок, мать говорила, что я даже бредил. Если я не бредил, то спал. Остальное время лежал пластом, пялясь в потолок. Или пил молоко с мёдом и потел. Пил и потел снова. Под конец болезни меня тошнило от мёда, пот мой вонял воском, а в комнате разило как на пасеке.

Впрочем, в гриппе обнаружился и позитивный нюанс: болезнь сбивала фокус моей памяти, размазала и отодвинула события, которые случились со мной накануне. Тот день, тот вечер и особенно та ночь виделись мне чередой неубедительных сцен, расплывчатых и стыдных, вроде тех замызганных фотографий, что старшеклассники, гогоча до румянца, показывают друг другу в туалете на перемене.

Выздоровление после тяжкой хвори похоже на рождение. Верней, на возрождение – на резерекцию. Не то что бы совсем птица-феникс, но вроде того. Должно быть, так ощущал себя Лазарь: встань и иди! – приказал ему Христос, и тот встал и пошёл. Вышел обалдевший из склепа, разматывая истлевший саван и пованивая мертвечиной на всю Вифанию.

Примерно таким вот Лазарем выплыл из дома и я. Бледным, прозрачным и тихим. Вроде линиялого лугового василька, что выскользнул из толстой книжки писателя Толстого про Анну Каренину – роман читался прошлым летом на веранде, у реки и на лугу. Роман, безусловно, женский – про любовь, но поучителен и читателю противоположного пола – взрослым мужчинам и мальчикам-подросткам: вывод один – женщинам верить нельзя. Другой толковый писатель так прямо и написал: О женщины! Вам имя вероломство!

Я был пуст и лёгок. Почти невесом. Пуст как школьный глобус, лёгок как высушенный майский жук. Я вышел и зажмурился от

света, от внезапности эдакой яркости. От солнца, от тепла и ветра. Да, там – снаружи – уже во все лопатки неслись по небу лохматые облака. Лихой апрельский ветер гнал их перпендикулярно линии горизонта. Нагло задувал в штанины, пузырил рубаху. Уже всюду пахло тополиной горечью почек. В нос лез приторный дух ранних одуванчиков – их сочные цветы желтели повсюду. Даже пробивались сквозь трещины в асфальте.

Птицы, похоже, обезумели. Причём все разом – карканье, щебетание, курлыканье и посвист сливались в нервную какофонию. Ласточки, стрижи и другие мелкие птахи носились над головой едва не задевая волосы. Вороны и грачи кружили чуть выше, взволнованной стаей.

Я остановился. Застыл, ослеплённый и оглушённый. За время моей болезни весна уверенно перетекла в настоящее лето. Обойдя гаражи, очутился на волейбольной площадке. После зимы в бетоне появились новые трещины, а между столбов вместо сетки была натянута верёвка, с которой свисали толстые ковры траурных расцветок. Ковры пахли сырой собачьей шерстью. С площадки открывался вид на лопуховое поле, среди яркой крапчатой зелени белела часовня. Та самая, где нашли Гуся, с крыши которой прыгала зимой Инга. Имя показалось мне странным, словно непонятное слово на чужом языке. Я произнёс его вслух – Инга. Ни память, ни сердце не отозвались. Ничем – ни грустью, ни горечью. Я повторил – Ин-га – ничего, просто два слога.

Со стороны железной дороги долетел гудок, дым невидимого паровоза плыл белой ленточкой к станции, до меня шёпотом донеслось его лилипутское пыхтенье. За прозрачной рощей, среди размытой акварельной зелёнки первой листвы с чёткостью перьевого рисунка выделялось здание вокзала. Вокзальная башня сияла свежеразкрашенной крышей — неожиданно ярко-малиновой, раньше она была уставного защитного цвета. Башенные часы показывали без пяти два.

Часа через полтора неспешного блуждания я оказался на той стороне реки. Миновал костёл, старое кладбище, парк. Корявые чёрные дубы едва подёрнулись зеленоватой дымкой. Неожиданно выбрел к автобусной станции. Заглянул в окно – буфет работал. Без мыслей, без цели открыл дверь и зашёл внутрь. Посетителей не

было, если не считать старика-крестьянина. Он сидел за столом, напротив на стуле стоял тугой мешок, завязанный грубой бечёвкой. Казалось, что крестьянин пьёт пиво с мешком. Буфетчица узнала меня, подмигнула.

– Привет... – сказал, подходя, я не мог вспомнить её имени.

– Налить? – спросила она, интимно подавшись ко мне.

Я кивнул, хотя пить желания не было. Буфетчица уверенно выставила рюмку на стойку, точно выводя пешку в ферзи, плеснула водки. Шепнула что-то. Крестьянин молча цедил пиво, глядя на мешок. Я придвинул рюмку, украдкой косясь на буфетчицу. На ум пришла история французского драгуна и вдовы с улицы Траншэ – у всего своя цена, мадам, одна рюмочка стоит два су, а две – четыре. Я выдохнул и залпом влил в себя тёплую водку.

Без содрогания вообразить, что полторы недели назад у меня действительно было «что-то» с этой неряшливой пузатой тёткой, я не мог. Вопреки этому, ещё до наступления темноты, я очутился у буфетчицы дома, в её спальне. Более того – в её кровати, среди скомканных простыней и мятых подушек. Липкий и потный, я лежал на влажном матрасе, придавленный её горячим и большим телом.

Спальня – без окон, она была не больше кладовки и не шире гроба. Раскинув руки, я запросто мог дотянуться до обеих стен. На прикроватной стене висел ковёр с рогатыми оленями, гуляющими по солнечной поляне. Вокруг поляны рос дремучий лес, за ним на романтическом утёсе белел рыцарский замок с башнями. Мои пальцы гладили гордых животных, больше всего мне хотелось умереть прямо сейчас.

– Не егози! – строго шептала буфетчица. – Как кроль прямо.

Она наваливалась. До боли стискивала бёдра, останавливая мои судорожные движения. Панцирная сетка кровати мучительно стонала. Матрас, казалось, был набит колючей соломой вперемешку с речной галькой.

– Смирно лежи, – жарко выдыхала она, медленно оседая на мне.

– Сама я. Сама.

С простой солдатской тумбочки пыльной лампой светил ночник, похожий на коренастый гриб-боровик под алюминиевой шляпкой. На ножке проступало полустёртое клеймо – немецкий орёл с венком в когтях. Свастикку кто-то соскрёб. Я задыхался, шумно втя-

гивая воздух сквозь зубы, неумолимо приближался к сладострастной агонии. Смесь похоти и стыда, отвращения пополам с вождением – животным, скотским – увы-увы, концентрация явно не дотягивала до летальной: выражение «умереть от стыда» оказалось очевидным преувеличением.

– Делай тут! – буфетчица прижимала мои ладони к своим скользким от пота грудям. – Делай! Делай!

Я делал – послушно мямл её огромные груди, бледные и мягкие, как свежие булочки. Тискал и сжимал пальцами соски – она постанывала неестественно высоким, каким-то девчачьим голосом и повторяла – делай, делай!

Когда всё закончилось, она соскочила с кровати, босая протопала в коридор. Там шумно, точно в пустое ведро, загремела вода. Я вытянул из-под себя простыню, кое-как прикрылся. Она вернулась, бодрая и живая, мокрые волосы на лобке напоминали спутанный клубок медной проволоки.

– Что за маскерат? – она произнесла это слово через «е» с «т» на конце и сдёрнула с меня простыню.

Непроизвольно я прикрылся ладонью. Официантка засмеялась, закурила. Нашла какую-то чашку с кровавым отпечатком губной помады по краю, стряхнула пепел щелчком. Поставив чашку на тумбочку, приблизилась вплотную к кровати. Затянулась, бесстыже разглядывая меня сверху. Она возвышалась как колокольня, как крепостная башня: мощные лошадиные ляжки, белый живот, рыжий пук на лобке.

– Не дрейфь, – выдохнула слова с дымом. – Потрогай!

И бёдрами подалась вперёд. Я послушно выставил руку, прижал ладонь к её животу. Он был тёплый и совсем мягкий, точно грелка с водой.

– Ниже...

Моя рука поползла, коснувшись волос, остановилась.

– Ниже...

Неожиданно я вспомнил её имя – Лайма. Лайма! Двинуть вниз руку было выше моих сил, нечто похожее я испытал давным давно на похоронах деда: сперва бабка и отец, потом мать, а после даже Валет подходили к гробу и целовали мертвеца в лоб. В сизый, как яичная скорлупа, лоб. Тогда я подумал, что если меня заставят это

делать, то я, скорее всего, умру – от страха, разрыва сердца или от чего там ещё умирают в таких случаях. К счастью, обо мне тогда никто не вспомнил. Кладбищенский эпизод стал сюжетом ночных кошмаров, снился он с незначительными вариациями, обычно родня тянула или толкала меня к гробу. Но даже во сне поцеловать покойного деда мне не удавалось – всякий раз в миллиметре от сизого лба я просыпался.

– Не надо... – пробормотал я, убирая руку. – Потом. Не хочу сейчас.

Я натянул на себя простыню, холодную и влажную.

– Не хочешь? – повторила буфетчица. – Кралю свою забыть не можешь?

Я дёрнул плечом – мол, вот ещё.

– Снова к ней пойдёшь, – не спросила, сказала утвердительно Лайма. – К коханочке своей.

– Не собираюсь даже.

– Пойдёшь-пойдёшь, – она вдавила окурок в чашку. – На брюхе поползёшь.

Села на край кровати. Торопливо я отодвинулся к стене, скосив глаз на мраморную ляжку. Буфетчица наклонилась, от неё воляно табачной кислотой, а к поту примешивался приторный дух, «Дзинтарс» – узнал я – такими же душилась мать. В моём горле шершаво застрял ком. Лишь бы не целовала, господи, только не целоваться.

Целовать она не стала, погладила по щеке ладонью.

– Упырья кровь, – сказала. – Ты знаешь, кто дед твоей крали?

– Знаю, – я вспомнил мрачного старика в телеге. – Видел даже. Носатый хрыч такой.

– То другой – Марутин отец. Юфт зовут. Хутор его на озере, на Лаури. За Висельной горой. А я про Кронвальдса.

– Про фашиста?

– Да это бы ладно, половина Латгалии с ними была. А после войны – в лесных братьях. Мосты взрывали, поезда под откос пускали.

– Её дед тоже?

– И дед, и... – буфетчица запнулась, прислушиваясь.

За стеной кто-то тихо заблеял, завозился. Лайма быстро поднялась, шлёпая босыми пятками, вышла. Приглушённо из-за стены до-

нёсся её голос, похожий на куриное квохтание, потом снова кто-то заблеял. Прижав ухо к ковру, я прислушался: овец она там держит, что-ли.

Буфетчица вернулась, молча легла рядом. Закурила, выдула дым в потолок, зло стряхнула пепел на пол.

– Лайма...

Я тронул её руку, осторожно, мизинцем. Она мрачно пялилась вверх, сосредоточенно, будто над нами висело звёздное небо с интересными созвездиями и галактиками. Мы лежали плечом к плечу, тесно прижавшись. Как пара селёдок в банке. За стеной снова слышалась возня, кто-то тихо зачмокал.

– У тебя там овцы? – спросил, хмыкнув. – Да?

– Нет, – она затынулась. – Бабка моя. Бабушка.

Мне стало душно, я почувствовал как лицо наливается жаром – вот ведь стыд, ведь старуха там всё слышала. Как мы тут... И кровать, кровать эта проклятая, и стоны всякие – вот ведь срам, господи!

– Глухая она, – угадала мои мысли буфетчица. – Ей почти сто лет. Хочешь?

Она подставила окурочку к моим губам, я вытянул шею и затынулся. Потом ещё раз.

– погоди, ещё дай, – глубоко вдохнул в третий раз.

Я не курил две недели, пока болел. От трёх глубоких затяжек голова поплыла: каморка качнулась, тёмный потолок наклонился, хворый свет ночника оказался почти янтарным, почти волшебным. Стыд сменился безразличием – старуха-то, поди, совсем глухая. Да и какая разница, если разобраться, какая разница.

– Девчонкой она в замке служила, – сказала буфетчица.

– Кто? – я не сразу понял, что она про свою бабушку говорит.

– А перед войной, той, первой, ей приснился странный сон: пришёл к ней бродячий птицелов, достал из клетки канарейку и говорит – вот тебе канарейка, иди к часовне, там подземный ход. Как спустишься вниз, отпусти птицу и следуй за ней – куда она полетит, туда и ты ступай. Через тайный ход канарейка тебя приведёт в грот. Там сундук, а на сундуке змея. Ты змеи не бойся – она проглотит канарейку и позволит тебе открыть сундук...

– А там золото, конечно, – перебил я. – Брильянты.

– Нет.

– А что?

– Утром бабка проснулась, а на кровати канарейка сидит...

– Да ладно!

– Бабка догадалась, что не птицелов то был, а бес. Хотел её так заманить в подземелье на съедение змее голодной, что сторожит сундук. Бабка открыла окно и выпустила канарейку на волю.

– А в сундуке-то что?

– Она выпустила канарейку, а на следующий день началась война, – буфетчица замолчала, потом добавила. – А в сундуке том – сердца невинные.

– Не золото? Вот всегда так!

– Дурак, – насмешливо сказала она. – На месте нашего замка стоял другой – древний, его немецкий рыцарь построил. Крестоносец. Вернулся из похода с сокровищами награбленными, говорят, богаче его в округе никого не было. Он призвал мастеров из разных стран – французов и итальянцев, чтоб ему замок построили. Самый красивый, и с тайным подземельем для сокровищ. Известь замешивали не на воде, а на молоке. Окрестные крестьяне под страхом смерти каждый день привозили по одной кадке молока. Когда мастера достроили замок, рыцарь устроил пир. В ту же ночь ему явился дьявол, сам Сатана. Мастера эти знают все секретные ходы, – сказал дьявол, – все твои тайные сокровищницы. Убей их, а сердца отдай мне! За это получишь моё покровительство: никто и никогда не посмеет посягнуть на твоё богатство. Рыцарь выполнил приказ Сатаны, он заколол спящих мастеров, вырезал их сердца и сложил в сундук. Тот сундук он отнёс в склеп, а там уже его ждала змея.

– Какой бред... – произвольно вырвалось у меня.

Я почти не слушал, мне вспомнился Гусь, несчастный и одинокий. Никому на свете не нужный, так же как и я. Его там нашли, в этих катакомбах, замёрзшего насмерть с пустой водочной бутылкой и картонкой из-под снотворного. И никакого тебе Сатаны, никаких сундуков, набитых сердцами, – жизнь гораздо прозаичней: ты одинок и до тебя нет никакого дела не то что дьяволу – никому. Ни родителям, ни брату, ни Инге, ни даже вот этой толстой буфетчице. Никому.

– Озеро при замке крестьяне прозвали Красным. За любую

провинность рыцарь наказывал крепостных: пытал и казнил – отрубал руки-ноги, головы. Кровь стекала в озеро и вода становилась багровой. Днём за рыцарем везде следовала чёрная тень, все в округе знали, что это чёрт. А когда наступала ночь, чёрт спускался в подземелье и там записывал на лошадиной шкуре все грехи рыцаря.

– Кровью?

Лайма не обратила внимания.

– А гора Висельная раньше называлась Девичьей горой. Под горой той была мыза, там девки лён трепали. А по вечерам забирались на гору, песни пели, в «Хромую лису», в «Стаю уток», «Лапса дарза» играли. И про жестокого рыцаря болтали – мол, не видать ему рая, будет он висеть в аду вниз головой. Одна из девок, желая выслужиться, донесла на подружек. Рыцарь тогда приказал сколотить на Девичьей горе виселицы, а девок повесить. Так они и висели, пока вороны не истребляли...

Лайма запнулась. За стенкой снова заблеяли, я тут же представил древнюю старуху, жуткую, вроде ведьмы – нос крючком, клык во рту.

– ... пока вороны не истребляли всё мясо до костей, — закончила Лайма.

На бедре я почувствовал её пальцы, они совершали щекотное путешествие в сторону моих гениталий.

– А знаешь, как звали того рыцаря? – спросила она, спросила почему-то шёпотом, горячо дыша мне в самое ухо. – Знаешь?

Я не знал, но, разумеется, догадался.

Борис САНДЛЕР

ДЕНЬ ПАМЯТИ В ГОРОДКЕ АМНЕЗИЯ

*И назвал Бог свет днем, а тьму ночью.
И был вечер, и было утро: один день.*

Берешит 1 : 4-5

Случилось так, что обстоятельства или судьба забросили меня в городок Амнезия, где я остался уже навсегда. Жителями этого замкнутого пространства, в основном, были люди, большую часть своих лет прожившие вне городка: там они учились, обзаводились семьями, делали карьеру, словом, варились в огромном котле человеческой суеты, который носит красивое название – «цивилизация».

Как случилось, что я выпал из кипящего котла цивилизации – я не помню; факт, что теперь я живу в городке Амнезия, так, как принято здесь, без малейшего намерения выделиться среди других жителей, или, упаси боже, им противостоять... Зачем? Мне здесь всего хватает, и мне ничего не нужно. Как говорится, живой – и слава Богу.

У жителей нашего городка есть все удобства внешнего мира – магазины, развлекательный центр с кино, театром и кофейней; не говоря уже о двух больницах и кладбище по соседству – высокая стена прямо рядом с крематорием, в которую замуровывают урны с прахом. Время от времени на стене появляется новая квадратная табличка из черного мрамора, с выгравированным на ней именем и только одной датой – днем и годом, когда человек умер. Да, еще одна важная деталь: у каждой религии есть свой участок на этой стене и своя ритуальная служба.

Жители городка Амнезия живут только днем сегодняшним. Что это значит? Очень просто: мы не помним нашего «вчера» и не хотим знать про наше «завтра». Каждое «сегодня» начинается с пробуждения ото сна и заканчивается погружением в сон. Утром, как только открываются глаза, начинается новое «сегодня», и все,

что с нами происходило до этого, исчезает, полностью стирается из памяти.

Здесьние жители, в основном, дружелюбный народ. Они принимают гостя сердечно, от радости не знают, куда бы его усадить, несут ему все самое лучшее и вечером укладывают спать на мягчайшие перины. Однако есть одна загвоздка: наутро хозяева просыпаются и... обнаруживают у себя в доме незнакомого человека. Тут, согласно законам нашего городка, они сразу вызывают полицию, и полицейский уводит «гостя». Поскольку полицейские тоже живут только днем сегодняшним, они, бедняги, на другой день уже не знают, кого арестовали. Свидетелей, конечно же, нет, дело передают в суд. Суды в городке Амнезия длятся иногда годами, потому что время от сегодня до завтра – как черная дыра, кто в нее попал, тот пропал.

Сегодня в нашем городке особый праздник – День Памяти. Единственный день в году, когда жители могут по своему желанию посетить Мельницу памяти – специально отведенное место в самом центре городка. Снаружи Мельница памяти выглядит как обычная ветряная мельница – большое круглое здание из красного кирпича, с остроконечной крышей и четырьмя распростертыми крыльями. Но это не просто красивое архитектурное сооружение; Мельница памяти – это функциональный центр, можно сказать, предприятие, поважнее крематория и стены колумбария. Мельница машет своими крыльями день и ночь, без остановки. Крылья вращают огромные мельничные камни, которые перемалывают воспоминания жителей в пепел.

Я пришел на Мельницу сразу после завтрака и встретил там десяток желающих отправиться, как и я, в день вчерашний. Не подумайте, что это такое уж легкое путешествие, не для каждого оно проходит гладко. Поэтому вся процедура происходит под наблюдением врача.

В пятнадцать минут одиннадцатого я вошел в здание Мельницы. В круглом зале меня встретила молодая симпатичная женщина в голубом халате. Она пригласила меня присесть напротив нее и направила в мой правый глаз маленький сканирующий аппаратик. Через мгновение она знала обо мне все, что сам я давно позабыл. Она это увидела на экране компьютера.

Женщина улыбнулась мне обаятельной улыбкой и спросила, есть ли у меня какое-нибудь пожелание, что-то особенное, что бы я хотел вспомнить из своего прошлого. Я ответил ей улыбкой, которая, впрочем, не была столь же обаятельной, и сказал:

– Если бы я сам мог припомнить хоть что-то, я бы сюда не пришел.

– Простите, – смутилась женщина, – я только недавно начала здесь работать.

Она поднялась со своего места, давая мне понять, что я должен следовать за ней. Мы вошли в круглый верхний зал, полный сияния и воздуха. Она проводила меня к двери, – точно такие же двери были расположены в зале по кругу – и ввела в полутемную комнату. После яркого сияния мои глаза не сразу привыкли, однако я разглядел стоящее посреди комнаты кресло. Возле кресла располагался низенький, как будто ему специально подрезали его три ножки, столик. На круглой стеклянной поверхности столика виднелся узкий высокий стакан с какой-то жидкостью.

– Присаживайтесь, – сказала моя проводница, – в кресле вам будет удобно.

Тем временем она достала из кармашка узкий пульт и что-то на нем нажала. Я сразу почувствовал как мои ноги ниже колен, расположившиеся на мягкой подушке, медленно поднимаются вверх; при этом спинка кресла вместе с моей спиной начала медленно опускаться. Удивленный, я посмотрел на молодую женщину. Мой взгляд, очевидно, вопрошал: что означают эти манипуляции? Однако чудеса только начались. Я заметил, как ее палец снова нажал кнопку на пульте, и в ту же секунду под моим телом – от затылка до щиколоток – принялись крутиться колесики и шарниры, разминая мое тело. Несколько мгновений спустя, когда я уже полулежал в кресле, мое напряжение от неожиданных превращений прошло; мои натянутые жилы и нервы получили освобождение от утомительного давления, под которым находились мои тело и плоть. Я тихонько вздохнул.

– Выпейте, пожалуйста, – услышал я ее мягкий голос, и она протянула мне со стола стакан с жидкостью – это наш фирменный коктейль «фата-моргана».

Я почувствовал, как меня обволакивают звуки музыки. Они

были тихие, но при этом настойчиво ввинчивались в мой мозг, и оттуда перекочевывали в жилы, наполняя все мое существо особым теплом. Так я себя чувствовал только однажды, когда первый раз в жизни прикоснулся губами к губам Мары. Это даже не был поцелуй, скорее, попытка попробовать вкус поцелуя. Мы вглядывались друг другу в глаза; я смотрел, как расширяются ее зрачки, становясь все больше, пока не почувствовал, что наши губы соприкоснулись. Когда это произошло, я провалился в глубину ее глаз. Продолжалось ли это мгновение или длилось целую вечность? Мы оба задрожали и снова стали теми, кем были – учениками 5 «А» класса.

Мы сидели на узком диванчике в квартире Коли Новикова. Он тоже был учеником нашего класса. У него был день рождения, и он пригласил к себе почти весь класс. Коля всего полгода назад переехал в наш город. Его отец, офицер, «вел кочевую жизнь», как говорил сам Коля. Мы быстро с ним сдружились. Мы были одного роста, но в отличие от меня он был крепко сбитый, с сильными руками и ногами и с очень прямой, как натянутая струна, спиной. Я же был его полной противоположностью: тощий, с длинными руками, как будто приштиленными к узким плечам. Его мечтой было полететь в космос, именно тогда в наш язык вошло это слово — «космонавт». Понятное дело, Коля уже видел себя среди братьев-космонавтов. Я же так высоко не летал даже в мечтах. По правде говоря, я вообще редко задумывался о том, кем я могу стать в будущем. Разве что один раз на уроке литературы, когда мне пришлось писать об этом сочинение. Я написал тогда, что хочу стать чистильщиком обуви, как наш сосед дядя Лейзер...

Дядя Лейзер был инвалидом войны, у него не было обеих ног. Его рабочее место было прямо напротив входа в Дом офицеров. Ему даже не нужна была скамеечка: он сидел на маленькой, сбитой из нескольких дощечек платформе на четырех железных подшипниках. Перед ним стоял деревянный ящик, в котором дядя Лейзер держал свой инструмент: две щетки, узкую бархатную тряпочку, чтобы «наводить глянец» и несколько коробочек с черным сапожным кремом гуталином, поскольку почти все его «клиенты» были офицерами. На ящик ставили они свои офицерские ноги в черных сапогах и не забывали прибавить сальную шутку, которая казалась им чем-

то вроде братского хлопка по плечу: «Лейзер, ты когда ссышь, ноги расставляешь?». Лейзер не обижался, напротив, он смеялся вместе с ними, потому что «советский офицер всегда прав!» – пояснял он.

Я знал все это потому, что жена Лейзера не раз просила меня «забрать» его и привезти домой. Сам Лейзер ехал рядом со мной, опираясь и отталкиваясь от кирпичей двумя короткими валиками, а я нес его деревянный ящик и чувствовал себя оруженосцем. На нем была армейская гимнастерка, уже поблекшая, с чужими пуговицами, которую он, похоже, никогда с себя не снимал. Иногда дорога качалась под его тележкой, потому что офицеры из дружеских чувств нередко угощали ветерана. Несколько раз мне приходилось поднимать дядю Лейзера с земли – либо его тележка отказывалась ехать по гальке, либо чистильщик обуви засыпал на ходу и переворачивался...

Когда наша учительница Светлана Александровна прочла мое сочинение перед классом, класс хохотал. Светлана Александровна, однако, похвалила меня за то, что я очень правдиво и трогательно описал инвалида войны; даже грамматических ошибок совсем мало сделал, подчеркнула она. Под конец Светлана Александровна добавила: «Это очень хорошо, что ваш товарищ помогает инвалиду войны, который проливал кровь за нашу родину. Но все же не годится, чтобы советский школьник, пионер, мечтал стать чистильщиком обуви».

И снова по классу разнесся шепот и злой смешок. Вдруг с парты, где сидела Мара, донесся ее голос:

– Но кто-то же должен быть чистильщиком обуви...

Мы учились с Марой с первого класса, но до сих пор я ее не замечал: обычная девчонка среди других девчонок нашего класса, даже без косичек – коротко стриженная, так что черные волосы едва прикрывали ее тонкую шею. Когда ее слова прозвенели как колокольчик на короне феи и разнеслись над притихшими головами учеников, я посмотрел на нее другими глазами. Я в общем-то только тогда ее и увидел – ее круто изогнутые брови и вздернутый, вечно красный от постоянных простуд, носик; ее губы: верхняя, слегка припухлая как будто цеплялась за верхние зубы, немного выдававшиеся вперед. Но стоило Маре молниеносным движением провести кончиком языка по губам, как бы разрезая их, как они смыкались.

Я сидел на две парты ближе к доске чем она и в другом ряду, рядом со стеной; поэтому я мог хорошо видеть Мару со своего места, упершись плечом в стену. Одна проблема – моя соседка Клара. Я сидел с Кларой за одной партой, но не потому, что хотел с ней сидеть – упаси боже! – а потому, что Светлана Александровна, будучи классным руководителем нашего 5 «А», меня с ней посадила.

– Клара отстаёт по математике, – пояснила учительница, – ты будешь ей помогать.

Клара, разумеется, тут же заметила мою необычную посадку и стала ко мне приставать, чтобы я сказал, на кого я без конца смотрю уже третий урок подряд.

– Я не смотрю, я думаю... – постарался я от нее отделаться.

Но Клара, как назойливая муха, от меня не отставала; хуже того, она специально, громко, так чтобы учитель слышал, сказала:

– Ты мне мешаешь... Ты мне мешаешь слушать урок.

Понятное дело, Ефим Борисович, наш географ, тут же услышал иотреагировал в своей манере, как он всегда делал в таких случаях. Он вызвал меня к доске, на которой висела большая физическая карта Советского Союза и спросил:

– Ну, и как называется самая южная точка нашей страны, и где она находится? – Ефим Борисович протянул мне длинную деревянную указку с отломанным кончиком.

Я подошел к карте и начал беспомощно рыскать глазами по ее южной части. Мой взгляд безуспешно искал этот заброшенный уголок, о котором я и понятия не имел, ни где он находится, ни как он называется. Я карабкался на коричневые горы и падал в зеленые долины... У меня за спиной носился возбужденный шепот, который должен был мне помочь в моих блужданиях над просторами Советского Союза. В другой раз я бы точно стал вертеть головой, вглядываясь и вслушиваясь в спасительные сигналы... Но только не теперь, потому что я бы точно наткнулся на изогнутые брови Мары. В ее глаза я не мог смотреть. То есть, я видел их, но не отваживался остановить на них взгляд. И только теперь, на узком диванчике в Колиной маленькой комнатке, я в них взгляделся и понял, что пропал. Я перестал дышать. Я только слышал, как стучит во мне кулак, чтобы я открыл дверь... Я вспомнил, как дядя Лейзер однажды показал мне свой правый кулак и сказал: «Смотри, какой большой у меня ку-

лак, вот такое же большое у меня сердце. У каждого человека такое сердце, какой у него кулак!». Я посмотрел на сильный кулак дяди Лейзера, весь в ссадинах и кровоподтеках на косточках пальцев от частых падений на мостовую, и увидел его сердце. Я сжал пальцы, и посмотрел на свой кулачок – белый, гладкий и слабый – без единой царапинки. Вот такое было у меня и сердце...

Дверь моего сердца отворилась, и я услышал:

– Не знаю что на меня нашло... Забудь... Мне больше нравится Коля...

Как я уже говорил, Коля пришел в наш класс за полгода до этого. Очень скоро нас свел с ним один случай, после которого мы стали лучшими друзьями. В то время из хлебных магазинов вдруг исчез главный продукт – хлеб. Когда в лавку привозили хлеб, надо было быть в числе первых – иначе хлеба не достанется. Тот хлеб вовсе не был хлебом, а своего рода смесь кукурузы, отрубей и «чтоб-я-так-знала-беды-как-я-знаю-что-это», – вздыхала моя мама. Она всю ночь простаивала в очереди, а я оставался с маленькой сестренкой дома. Утром я сменял маму, потому что ей надо была бежать на работу. В тот день, когда привезли хлеб, началась такая давка, что меня едва не превратили в лепешку. Хуже того, меня вытолкали из очереди и из магазина. Как раз в этот момент возле хлебного крутился Коля. Увидев меня всхлипывающего, – рубашка растерзана, штаны передернуты, – он мне крикнул: «Не уходи! Я сейчас!». И исчез в черной толпе... Вскоре Коля, так же как и я чуть раньше, был выброшен из лавки, раскрасневшийся и вспотевший, но с буханкой хлеба за пазухой. Он почти втолкнул мне буханку в руки и коротко бросил: «Надо уметь толкаться!»

И вот я услышал от Мары, что не я, а Коля нравится ей. Тихие Марины слова еще долго звенели у меня в ушах. Они проделали в моей голове дыру, но из головы не вылетали. Я подумал: «Конечно, одно дело сказать, что чистильщик обуви тоже нужная профессия, а другое, когда тебе нравится чистильщик обуви. Чистильщик обуви это даже не пилот, и уж тем более не космонавт...»

Дядя Лейзер сразу заметил перемену во мне, что со мной что-то случилось, и по дороге домой спросил: «Эй, парень, что у тебя стряслось?» Я не знал, что ответить, разве что признаться, что прикосновение губ Мары меня ошпарило как кипятком, и что ее слова

оцарапали мое маленькое несчастное сердце. Однако вслух я из себя выдавил: «Ничего»...

Дядя Лейзер остановился. Он посмотрел на меня снизу вверх, и зажмурив глаза, произнес:

– «Ничем» стакан не наполнишь! Должно же что-то булькать... А у тебя, я гляжу, булькает ой-ой!

Дядя Лейзер был прав. Во мне кипел гнев на моего приятеля Колю, хотя в чем он был виноват? С другой стороны, я думал: «Если бы Коля не пришел в наш класс, Мара бы не загляделась на него. Ждать пока его отца снова куда-нибудь переведут – глупо! Может рассказать ему обо всем? Он же мой лучший друг? Но мое злое бульканье так и рвалось наружу...

Прекрасные обволакивающие звоны начали стихать, как волны отступают в море. Солнечные пятна, прежде игриво сиявшие на воде, были поглощены песком. Осталась только пена, но и она вскоре растаяла как снег.

Мои глаза открылись без желания. Хотел бы я вспомнить, что со мной, с Марой и с Колей произошло дальше... Почему прервалось видение? Может одного стакана «фата-морганы» недостаточно?.. Но обаятельная молодая женщина была непреклонна:

– Нет. Вам больше нельзя... Ни глоточка. Это повредит вашему сердцу.

Я посмотрел на свою правую руку, пальцы на ней сжались в кулак. Но и теперь мой кулак выглядел слабым и вялым.

Мельницу памяти я покинул, сидя на кресле-коляске, которую толкал черный молодой человек с библейским именем Иаков. Было уже далеко за полдень. Летнее солнце проделало большую часть своего пути через городок Амнезия. На широкой дорожке в парке, который мы теперь пересекали, было довольнолюдно. В воздухе носились звуки праздника. Жители торопились ухватить последние часы Дня Памяти и провести их с удовольствием: пойти в кино, где сегодня крутили популярные фильмы их молодости или отправиться в театр. Афиши, развешанные по городу, объявляли, что сегодня будет идти первое и последнее представление мелодрамы «Незабудки», поставленное местной любительской труппой.

Сердце у меня сжалось. Как видно, процедура восстановления памяти принесла с собой не только радость и ностальгию, но и боль. Память и боль – парочка от Бога, которая напоминает постоянно, что мы все еще на этом свете. Завтра этот день будет стерт из памяти. Останется только непонятная ноющая боль.

Проезжая в своей коляске мимо скамейки, я увидел на ней Мару. Я обрадовался. Она любила проводить День Памяти за чтением ее любимого Чехова.

– Как хорошо, Мара, что я тебя здесь встретил.

– Я знала, что ты будешь возвращаться этим путем, – она закрыла книгу, вставая.

– Как видишь, ко мне приставлен телохранитель, его зовут Иаков.

Я хотел было тоже подняться с моего кресла и отослать Иакова обратно на Мельницу памяти. Ясное дело, он не останется там долго без работы. Однако я почувствовал его сильную руку у себя на плече и вынужден был сесть обратно.

– Простите, мистер, но мне приказано проводить Вас до дома.

– Очень хорошо, – поддержала его Мара, располагаясь с правой стороны от коляски, – в моих глазах ты не перестанешь быть джентельменом, даже если останешься сидеть. Расскажи мне, лучше, что ты сегодня увидел на Мельнице памяти?

– Ты не поверишь: я вспомнил свой первый поцелуй...

– Только и всего? – удивилась Мара, – кто же это была, счастливейшая из женщин?

– Ты, Мара! – чуть ли не выкрикнул я, – это было в пятом классе... На дне рождения Коли Новикова, помнишь?

Она спокойно пожала плечами и сказала:

– В пятом классе? Я припоминаю, что тогда был какой-то шум вокруг меня и Коли, выдуманная история, как будто нас видели целующимися у него дома... Это даже дошло до директора...

– Неужели? – в свою очередь удивился я, – кто же распустил эти дурные сплетни?

– Я не помню... Ведь это ты был в том времени...

– Да, но я слишком рано вернулся в сегодняшний день.

– Вот поэтому я не люблю туда ходить. Там все придумано, что-

бы люди страдали. Уже четыре года, как я прошу тебя не ходить на эту Мельницу, особенно с твоим слабым сердцем...

Ее рука, которую я держал, задрожала и выскользнула из моих пальцев. Я не пытался ее удерживать...

– Успокойся, Мара... Мара!..

Я услышал басовитый голос моего провожатого Иакова:

– Я могу вам чем-то помочь, мистер?

– Мы только что встретили мою жену, Мара ее зовут. Она шла здесь рядом со мной...

– Нет, мистер, я никого здесь не видел... Вероятно, вы заснули и увидели ее во сне.

Я замолчал. Пятнадцать минут спустя мы уже были в холле здания, где я живу. Меня ждал сюрприз – вахтер наклонился ко мне и тихо сказал:

– В вашей квартире вас ожидает человек по имени Коля Новиков.

Вахтер извинился, что он позволил гостю пройти без моего разрешения. Коля Новиков... После стольких лет! Сегодня прямо настоящий день встреч.

Я поблагодарил Иакова и велел ему возвращаться обратно на Мельницу. Я вошел в лифт и нажал кнопку моего этажа. Лифт едва тащился, и в моей голове проносилось сотни вопросов: как он меня нашел? Что его ко мне привело? Неужели желание встретится со старым школьным приятелем?

Коля стоял у окна. Он сделал шаг мне навстречу. Я не видел его лица. Только его военную форму с генеральскими погонами. Мы обнялись – одной щекой я почувствовал колючие звездочки на его плече, а другой – как горит у него ухо.

– Товарищ генерал-лейтенант! – выпалил я, запыхавшись, как будто не въехал на свой шестой этаж на лифте, а взбежал по лестнице.

– Генерал-лейтенант в запасе, – поправил он меня, – приходит время, когда тебя переводят в запас, что значит: пускай себе живет, лишь бы не мешал.

Как видишь, я тоже в запасе... Но ты-то своего добился.

– Не совсем. Я мечтал о голубом небе, а пришлось всю жизнь ползать на земле.

– Ты был танкистом, – и у меня вырвалась известная песенка из нашего детства: «три танкиста, три веселых друга, экипаж машины боевой...»

Я пригласил его сесть к столу и бросился к электрическому чайнику, чтобы сделать чаю.

– Прости, Коля, более крепкие напитки здесь запрещены.

– Да я понимаю, ничего не надо... Я на одной ноге, как говорится. Все свои «сто грамм» уже я тоже выпил... – он постучал пальцем в грудь – мотор работает уже не очень.

– А ну, покажи мне твой кулак, – сказал я ему командирским тоном.

– Зачем? – удивленно посмотрел на меня Коля.

– Один инвалид войны когда-то меня учил, что кулак человека имеет одну величину с его сердцем.

Улыбнувшись, Коля выполнил мою команду и сжал кулак – твердый, сильный. Вздувшиеся жилы выпукло проступали под кожей, покрытой глубокими шрамами от ожогов.

– Железные танки тоже горят, – сказал Коля, как бы отвечая на вопрос, и добавил: – мои танкисты пели: «От Кушки до Афгана всего один лишь шаг...»

– Кушка! – взорвался я, – самый южный пункт на границе с Афганистаном!

Поймав себя на воспоминании, я принялся развивать мысль дальше:

– Раз уж мы снова в пятом «А», хочу тебя спросить...

– Спрашивай, пока я здесь.

– Может, ты помнишь: кто распустил отвратительный слух, что ты и Мара...

Коля перебил меня:

– Ты и вправду хочешь знать?

– Конечно!

Он заглянул мне в глаза, и я снова увидел того Колю Новикова, который только что вырвался из озверевшей толпы и протянул мне буханку хлеба, как свой величайший трофей:

– Я... Я уже не помню. Только я должен был из-за этого уйти из школы. Директор так посоветовал моему отцу, чтобы не поднимать шума...

– Да неужели... Совершенно стерлось из памяти... С тех пор как Мара ушла...

– Да я слышал... Четыре года назад... – он на мгновение запнулся и тихо продолжил: – Я должен сказать тебе это сейчас...

– Что?

– Тогда, на моем дне рождения в пятом классе, я случайно подглядел, как вы с Марой целовались... – Он на мгновение задержал дыхание и закончил: – Ты счастливый человек: не каждому дано помнить и пронести в сердце через всю жизнь вкус первого поцелуя...

В комнату вошел Иаков. Что он делает здесь? Я же его просил, чтобы он возвращался на работу.

– Иаков, ты разве не видишь, что у меня гость?! – я едва сдерживал свой гнев.

– Я никого здесь не вижу, – спокойно ответил он и протянул мне стакан, – вам надо это выпить и лечь спать. У вас был сегодня тяжелый день.

Уже лежа в постели, я подумал: «Мара как всегда права... Воспоминания изводят сердце. День Памяти проходит, и ему на смену придет новое «сегодня». Один день – без прошлого...

***Борис Сандлер**, известный еврейский прозаик, родился в 1950 году в молдавском городе Бельцы. Был профессиональным музыкантом, а после окончания Высших литературных курсов при Литинституте им. Горького (Москва, 1981-1983), работал на молдавском телевидении, где вел программу на идише «На еврейской улице».*

В 1992 году Б.Сандлер репатрируется с семьей в Израиль. Работает в Еврейском Университете (Иерусалим); возглавляет издательство «Лейвик-фарлаг» и издает единственный в мире детский журнал «Кинд-ун-кейт».

С 1998 г. по 2016 главный редактор старейшей еврейской (идиш) газеты «Форвертс».

Издал 15 книг прозы и стихов. Книги и отдельные произведения писателя переведены на русский, английский, немецкий, французский, иврит и другие языки. Лауреат ряда престижных премий в Израиле, Канаде и США.

Живет в Нью-Йорке.

Владимир ПОЛЕТАЕВ

НЕБО ВОЗВРАЩАЕТСЯ К ЗЕМЛЕ

Читатель журнала «Времена» впервые встречается с именем и творчеством этого высокоодаренного юноши, о жизни которого, к несчастью, приходится говорить в прошедшем времени. Он покончил с собой в 19 лет из-за неразделенной любви...

Из воспоминаний Льва Озерова:

Владимир Полетаев родился 27 августа 1951 года в Саратове в семье Григория Самойловича Гершензона (1920 – 2002) и Надежды Владимировны Полетаевой (1923 – 2013). Выпускник 567-й московской школы, он стал студентом Литературного института имени Горького. Обучался на отделении художественного перевода. Изучал грузинский язык – мечтал перевести многое из грузинских поэтов. Его успехи позволяли с большой надеждой смотреть на его будущее. Он писал оригинальные стихи, и некоторые из них были опубликованы. Погожее утро сулило погожий день...

Грузинская тема нежно и властно вошла в оригинальные стихи Владимира Полетаева. И дело не только в стихах на темы грузинской истории и современности. Дело в погруженности в атмосферу грузинской действительности, в ее культуру. Никто не станет отрицать влияния на Володю русской поэзии. Он много читал, над многим успел поразмыслить. Рано определились его симпатии и антипатии в русской поэзии прошлого и нашего веков. Но при определении мира поэзии Владимира Полетаева явственно проступает его учение у поэтов Грузии. Рано воспринятые, они впечатляюще отразились в слове, русском слове Владимира Полетаева.

Он работал над переводами, как сам говорил, «с любовью к оригиналу и с величайшей почтительностью к моим предшественникам – учителям».

На одной из дискуссий на филологическом факультете МГУ (год 1968) я его и услышал впервые. Он, десятиклассник, говорил, как мне показалось, ярче, глубже, а главное – более самостоятельно, чем старшие по возрасту студенты и аспиранты. После дискуссии



я предложил Владимиру Полетаеву на правах гостя посетить мой семинар поэтов-переводчиков в Литературном институте. Он пришел, как обещал. Он стал посещать семинар, а затем и остался в нем, поступив в институт и участвуя одновременно в семинаре по переводу грузинской прозы, руководимом А. Н. Беставашвили.

Вначале была увлеченность не собой, а поэзией. Он умел слушать и претворять в дело то, что услышал. На семинарах Владимир Полетаев был деятелен, принципиален, подчас резок. Порой он очень удачно подхватывал мою мысль, развивал ее. Это было не всегда. Он, вероятно, не все принимал из моих высказываний, возможно, и отвергал некоторые из них. Истины ради это надо признать. Он не принимал того, что не стало еще его убеждением, и я уважал его за это. Он был в начале своего полета. Он рос, он много обещал. Мы должны оплакивать его раннюю смерть.

В нем воплотились некоторые важные черты самого молодого поколения художников слова.

У него был ломкий голос, который то звучал юношеским неожиданным баском, то – вдруг – дискантом. Но ломкий этот голосок был неистово-яростным, когда речь шла о дорогих его сердцу духовных ценностях. С горячностью он отстаивал свои взгляды на поэтическое творчество, на искусство перевода. Его прозрения и его огрехи и заблуждения чередовались с той же неожиданностью и непоследовательностью, что и звучание его голоса. Он упорствовал,

но – до момента, когда сам приходил к сознанию бессмысленности этого упорства, и тогда же он открывал в себе новые возможности движения к цели.

Пушок еще только пробивался на его подбородке, но он его закручивал уже в бороду, хотел быть внешне взрослей. Худощавый, совсем тростинка, забываясь, он сутулился, а при виде девушек выпрямлялся. Литератор в нем определился ранее, чем человек, умственное развитие шло впереди физического.

Он показывал мне свои стихи и переводы, на семинаре мы обсуждали их. Но ни я, ни родители Владимира Полетаева, ни друзья его не подозревали о размахе его работы. Архив показал, как много он успел совершить попыток и как некоторые из этих попыток воистину прекрасны. Это были ранние поэтические побеги.

В свои неполные девятнадцать лет Владимир Полетаев успел вдосталь прошагать по равнинам русской поэзии и поэзии мира. С ним интересно было говорить о поэтах пушкинской плеяды и о Блоке, о Хлебникове и Цветаевой, о переводах «Витязя в тигровой шкуре» и «Мерани», о новых работах по теории литературы и журнальных новинках... Тетради молодого человека, его пометки на книгах, письма, а главное – его стихи, подготовительные работы к статьям и самые переводы говорят о пытливости, живом уме, полемической страсти и нешуточных познаниях.

А ЖИЗНЬ ЕГО БЫЛА ПРОСТА...

Из воспоминаний Георгия Маргвелашвили:

За два года до смерти московский школьник Володя Полетаев записал в свой дневник: «До чего же хорошо, когда живешь на белом свете!.. И падает снег... И тебе семнадцать лет (а расти мне, кажется, расхотелось)... Пишется легко, не в том дело, что много, но легко, словно ведешь разговор с кем-то и вдруг начинаешь слышать свой голос как бы со стороны». И там же: «Жить надо с открытым сердцем и протянутыми навстречу руками».

Расти пришлось совсем немного, хотя написано было много. А голос его слышен уже только нам, навстречу которым он шел с открытым сердцем и протянутыми руками... С каждым годом все больнее и горше сознавать, что гибель поэта опередила его истин-

ный литературный дебют (при жизни лишь три его стихотворения были напечатаны в «Московском комсомольце», в феврале шестьдесят девятого). И вот в 1971 году читатели «Литературной Грузии» в июльской книжке журнала под традиционной рубрикой «Свидетельствует вещей знак» увидели двенадцать наиболее характерных стихотворений Полетаева, а самого Володи уже не было – его жизнь оборвалась за год до этого, в апреле семидесятого. Последние его переводы с грузинского датированы февралем и мартом того же года.

Еще в 1967 году (в последнем классе школы) он писал заочной иногородней подруге, делаясь своими планами относительно литинститута: «На переводческом факультете существует несколько языковых отделений. Я выбрал грузинское. Буду изучать грузинский язык, а также историю грузинской культуры и собственно историю Грузии. Всем этим я интересуюсь уже давно, и возможности заниматься этим серьезно – обрадовался. Грузинская поэзия, как древняя, так и современная, – одна из богатейших в мире. Работа предстоит большая и интересная».

Владимир Полетаев был на редкость цельной личностью. Юношеский максимализм и бескомпромиссность были в нем не порождением возраста или данью ему, а врожденным свойством его человеческой натуры и поэтического таланта. Соединение этих черт с добросердечием и душевностью создавали черты облика гармоничной, открытой любви и добру, бескорыстной и щедрой, многосторонне развитой личности. Чувства красоты и добра, жажда знаний и деяния создавали в нем единую культуру духа, гармоничную и возвышенную.

*Вот отзвук тютчевского лада:
сквозь шум неторопливый бора
под осторожным ветерком
я голос услышал, который,
казалось, так мне был знаком...
...И звуками вплетаясь всеми
в гуденье каждого ствола,
струилось медленное время
сквозь наши души и тела...*

Главным законом его духовного роста и поэтического мужания были естественность и простота, легкость и непринужденность самого движения. Это была естественность, обыкновенность именно того порядка, о котором писал Пастернак: “Под посредственностью обычно понимают людей рядовых и обыкновенных... Между тем, обыкновенность есть живое качество, идущее изнутри, и во многом, как это ни странно, отдаленно подобно дарованию. Всего обыкновеннее люди гениальные, которым сверхчеловечество кажется нормальной нравственной мерой, суточным рационом существования. И еще обыкновеннее, неопишимо, захватывающе обыкновенна природа. Необыкновенна только посредственность, то есть та категория людей, которую составляет так называемый «интересный человек».

Черты обыкновенности, естественности и правильности, охваченные здесь, это вместе с тем и проекция черт будущего портрета Владимира Полетаева. Годы, в которые он рос и формировался, в какой-то мере способствовали кристаллизации этих свойств. В 1956 году ему было пять лет, а в 1964-м – 13. Через три года он уже писал стихи. Поражающие гармонией движений души и пера, мысли и изреченного чувства и жеста. Ни родители, ни товарищи, ни школа ничего ему не навязывали – в этом не было нужды, он впитывал добро и красоту, знания и навыки по потребности своей же натуры – чистой, ясной, здоровой. Помимо наследственных задатков культуры и интеллигентности, он был прекрасно воспитан именно в той свободе и тою свободой, которая сама вырабатывает себе нормы разумной необходимости, правильности, социального самочувствия и человеческого достоинства. Это относилось к его душе и уму, а позднее и к естественной эманации их – стихам. Он рано это осознал и сказал об этом:

*Судите пристально и строго,
без лести каждую строку,
но не твердите, ради бога,
что должен я и что могу.
Мне суд друзей – не осужденье,
но пусть не путают слепицы
строфы свободное рожденье
и акушерские щипцы.*

Чудеса природы, и той самой, «захватывающе обыкновенной», и природы человеческих – детских, отроческих, юношеских – взаимоотношений, входили в него ежедневным «рационом существования», а потом уже ложились в стихи, «в белоснежную тетрадь», превращались в слова, готовые, в свою очередь, стать законной и естественной частицей существования, природы, всеобщей гармонии, «лада мира»:

*...Но вы забыли, что в итоге
стихи становятся травой,
обочинами вдоль дороги
да облаком над головой.
И мы уходим без оглядки
в неведение и простоту,
затем, что древние загадки
разглядывать невмоготу.*

Нетрудно примыслить, сколько бы он еще сказал. Но все, что он уже сказал, было сказано, как на духу. И, оглядываясь на его путь, на его короткую жизнь, на сказанное им, хочется вновь и вновь повторять слова из им же сложенного о себе:

*...а жизнь моя была проста
во власти чистого листа,
во власти благостной, во власти
нетерпеливого пера,
в неумолкающем соблазне,
а жизнь моя была щедра.*

* * *

Свобода, да, о вечная свобода,
свобода жить, свобода умирать.
И белый снег – какая благодать –
с январского повалит небосвода...

А там весна и грохот ледохода,
ручьям и рекам – русла выбирать...

Потом страда – спины не разгибать...
Ржи золото, деревьев позолота –
всё позади. Уже ноябрьдохнул.
Пригорки листьев вместо листопада,
пустых кустов колючая ограда,
деревьев голых чёрный караул
и первый снег. Раскрытая тетрадь
белым-бела, как смертная рубаха...
Свобода жить. Свобода жить без страха.
Без страха жить. Без страха умирать.

* * *

Кружился снег, стократ воспетый,
кружился медленно и строго,
и под полозьями рассвета
плыла январская дорога.

Неприбранная мостовая
лежала в белом беспорядке,
мучительно напоминая
об ученической тетрадке.

Ах, сколько снега, сколько снега,
какая чистая страница –
пройти, не оставляя следа,
и в пустоту не оступиться.

Ах, детство, детство, моё детство
моё фарфоровое блюдце,
мне на тебя не наглядеться,
мне до тебя не дотянуться.

Над розовыми фонарями,
над фонарями голубыми
кружился снег, и губы сами
произносили чьё-то имя.

* * *

...живу по горло в январе,
в неслыханном его затишье,
и шарканье в парадном слышу,
и чей-то кашель во дворе.

Запоминаю каждый шорох,
оглядываюсь на бегу,
а над рекой дымится город
в тяжёлом ёлочном снегу.

А там, за выгибом реки,
уже темнеют переулки –
озябшие особняки,
как музыкальные шкатулки.

* * *

Ах, как накурено в тёмном подъезде,
ах, как натоптано, ах, как темно.
Чёрная лестница, белая песня –
чёрное, белое – словно в кино.

Прямо из горлышка – горько и сладко,
жарко и холодно – пей без остатка!
Катится вечер, гремя и звеня,
девочка в губы целует меня!!!

* * *

Февраль фарфоровый, хрустальный,
и гуттаперчевый февраль.
Легко всплывала над устами
дыханья – белая спираль.
И по спирали, по спирали
слова лукавые всплывали –
прозрачней мыльных пузырей.
и плавали вдоль фонарей
и фонарей не задевали.
Ты говорила: не хочу,
и вырывалась, и смеялась,
и снова к моему плечу,
заплаканная, прижималась...

* * *

Вот снег неумелый и мокрый
по горло дворы завалил.
О, привкус живительной охры
на синьке февральских белил.

А большего нам и не надо,
такая у нас благодать,
такая простая отрада
снежки в мирозданье кидать.

* * *

Окно выходит на задворки,
на жестяные гаражи.
Учебник в почерневшей корке
на подоконнике лежит.

А дальше – жёлтые ограды,
подслеповатые дома,
и воробьи не в меру рады,
что вот кончается зима.

А ты молчишь, меня не слышишь,
едва страницы шевелишь,
и вдаль на облака и крыши,
за раму чёрную глядишь.

А там, гудками пробивая
окраинную благодать,
легла дорога окружная –
не развести, не разорвать.

* * *

Мне бы жить легко и неторопко
в подмосковном городе одном,
где деревья, стриженные в скобку,
до утра гуляют под окном.

Сахарок размешивать в стакане,
по ветру пустить черновики,
а потом на выцветшем диване
развалиться, скинув башмаки.

Погляжу, а улица всё та же –
хорошо асфальту и траве,
да собаку рыжую поглажу
по лохматой, мудрой голове.

* * *

Ну что ты? Видишь, мир господень
сегодня снова беззаботен,
а улицами – листопад
и у него такие струи,
и у него такие струны,
такую музыку струят!
А где-нибудь в Замоскворечье
найдётся двор, найдётся вечер,
найдутся нежные слова,

смывающие все заботы.
Свет расплывётся, голова
закружится... Ну, что ты? Что ты?

* * *

А у нас на Зубовском бульваре
рупора играют во дворах.
А у нас на Зубовском бульваре
дождь вразброд и окна нараспах.

Дождь вразброд и улица – вкосую,
светофор вкосую на углу.
Женщину поющую рисую
осторожно пальцем по стеклу...

Не наказывая, не прощая,
тихо наклоняется ко мне...
молодость моя или чужая –
женщина, поющая в окне.

* * *

Небо начинается с земли,
с лепета последнего былинки,
с огонька случайного вдали,
с жёлтых Якиманок и Ордынок.

Как страницы, листья шелестят.
Где-то рядом, где-то очень рядом,
слышишь, подступает листопад,
мы с тобой стоим под листопадом.

Задыхающаяся жара
торопливо обжигает щёки,
дождь зарядит с самого утра,
глухо забормочут водостоки.

Дождь зарядит с самого утра.
Эта осень на дожди щедра.
Капли расплывутся на стекле
небо возвращается к земле.

* * *

...когда приметы листопада
закопшатся там и сям,
когда незваная прохлада
уже бежит по волосам,
когда над городом упорно
играет чёрная валторна,
и на развалинах жары
пируют старые дворы,
и розовая хуторская,
разученная наизусть,
закружится, и я смеюсь
и рук твоих не выпускаю,
и недоделаны дела,
а ты проста и весела...
А небо хлынуло потоком
и нам загородило путь,
и так легко его потрогать –
вот только руку протянуть...

* * *

...оно написано лиловым,
оно еще не стало словом,
случайный выдох или вдох,
прозреньем поднятый врасплох.

Оно возникло как разгадка
того, о чём давным-давно
шептала детская кроватка
и лампы желтое пятно.

А как потом бывает сладко,
когда лукавая тетрадка
смежит лукавые глаза,
когда погаснут голоса
божественного беспорядка...

И не разгадана загадка...

* * *

Вот это пруд, а вот сторожка,
а это я с тобой иду,
иду по вымокшим дорожкам
в больничном вымокшем саду.
Не бойся девочка, не надо,
нас не оставит никогда,
ни бормотанье листопада,
ни эта серая вода.
Холодных облаков движенье,
неровный голубой проём –
всё это только подтвержденье,
что никогда мы не умрём...

Михаил КОВСАН

КРЫСЕНОК

Рассказ-притча

Ты видел, царь, огромного идола, громадного идола перед собой, его сиянье могуче, его вид ужасен. У этого идола голова из чистого золота, грудь и руки из серебра, живот и бедра из меди. Голени из железа, ноги – часть из железа, а часть – из глины. Ты видел: откололся камень без рук, ударил идола по ногам из железа и глины и раздробил их. Рассыпались железо, глина, медь, серебро, золото, став, как мякина на летнем току, ветер унес – следа не осталось, а камень, идола раздробивший, стал огромной горой, собой всю землю заполнив.

Даниил 2:31-35.

Придумать первую фразу – вещь трудная, часто почти невозможная. Особенно после такого эпиграфа, без которого этот рассказ невозможен. Тем более, какой эта фраза может быть о крысенке? В этот день наш герой прогрыз первую дырку? Прекрасно. А затем подробно со знанием дела рассказывать, где прогрыз, как и зачем, и о том, что крысиный восторг мышиною возне не товарищ.

Не надо придумывать. Пусть начнется, как тексту самому угодно начаться.

В городе, который любят осторожной любовью – как бы не уколоться о шпиль или ограду, городе великолепных фасадов и жутких мокрых подвалов, в городе крысиного цвета, по которому ходит некая женщина с крысиной косичкой, на которую, окрысившись, смотрят мужчины, гимназисты и мальчики, городе, о котором написан одноименный один из самых замечательных русских романов, в котором нет ни единого образа крысы или даже крысенка, в этом го-

роде, за длинноты приходится извиниться, в этом городе с крысами никогда по-настоящему не боролись.

Наверное, потому что блестящей сырой красоте невозможно существовать без мокрых крысиных подвалов, где их хозяева обычно и рождаются, и умирают. Однако, не все. Бывали такие, которые, людьми притворяясь, в блестящей красоте, возвышавшейся над подвалами, поселялись, впадая в многозначительные маскарады, на которые никто крысой не наряжался.

Конечно, когда крысы безбожно наглели, открыто бегая по дворам, или, того хуже, младенчика или труп объедали, яд им везде посыпали. Но – забывалось: заботы, нелегкая жизнь, до следующей катастрофы.

Ежедневно в городе в большом количестве рождались крысята. Большинство погибало под ударами палок или сапог, умирало от трудностей жизни крысиной, но самые стойкие и удачливые выживали. Не самые умные и сноровистые – живучие самые. Отделившись от матери, призванные великие дела громко вершить, крысята родителями не интересовались, хотя те им, резвым, удачливым, вечно голодным, хорошо тренированным, конкурентами не были.

Это собака с цепи может сорваться. Крысу на цепь не посадишь. Когда не травят, они пространство собой до краев заполняют. У не-травленного поколения шансы собой заполнить город и мир фантастические. От этого ощущения и сходят с ума, ликуя, беснуются, всё и вся пожирая.

Чем больше грызешь, тем зубы острее. Не для того ли элитный подвал – учиться грызть умело и ненасытно? Зубы можно так наточить, что перегрызешь окаменевшие сваи, на которых держится холодная безбожная красота. Рухнет – всё станет подвалом, никто крысиным ядом травить не посмеет. С этого часа они во всём всегда будут правы. Никто на их правоту посягнуть не посмеет. Пусть прячутся по углам. Спасаются бегством. Пусть отравленные задыхаются в собственной рвоте.

Так у крыс, им никогда сны не снятся. Ни о будущем, ни о прошлом. Сны и крысы? О чем вы?

И слова в скобках им никогда не являются. Слова в скобках обожают лысые писаки с длинными с тех еще времен волосами по обочинам лысины. Слова в скобках – вещь слишком гнусная. Вроде

к делу не слишком и относящаяся. Так, реплика по дороге от рождения к смерти.

Странно. Именно в этом городе следовало бы писать книги о крысах: художественные, документальные. Ведь здесь нет ни одного человека, с крысами тесно и непосредственно не общавшегося. Почему не написаны? Писатели обленились? Как не в этом абсурдном городе, вечным страхом объят, писать книги о тех, кто от страха перед реальностью избавиться не способен?

А когда до мокрой слизи морок абсурда выморит всех, настанет великое крысиное время, великое крысиное племя восторжествует.

Страх? Чего он боится? Ему ли бояться? Шнурки на ботинках развязываются у глупцов и растяп. А завязанное морским узлом никто не развяжет. Гайки закручены. Намертво скручено. Свинчено абсолютно надежно. Вопрос «зачем?» в лексиконе не предусмотрен.

И это, как глупцы предрекают, внезапно посыплется? Тихо карточным домиком. Громко. Как домино.

Не смешите. Лучше рот закрыть поспешите: влетит — такое поймашь, век будешь помнить. Но мы милосердны: мучительный век твой короток будет.

Чтобы убедить себя: всё именно так, последние слова вслух произносит. Так. Именно так. Страх неуместен.

А за спиной скала вырастает. Огромная, основание в насмешку — крошечный пяточок. Сам то ли лежит под скалой, ожидая падения, то ли на самом верху: памятником открытым ветру и взорам. Где скала? Где ее видел? Память сдает? Или, не видя, скалу сочинил? Черная. Там, где открыт, рядом с ним жалкий куст. А там, где лежит, с гигантских скальных боков на него страх скалы свисает тяжелой лианой.

Страх скалы, хоть под ней, хоть наверху? Или бояться он не умеет, как не умеет смеяться? Посмеиваться, подхихикивать — сколько угодно. По-настоящему смеяться? Никогда не умел? Разучился?

Снится. Памятник открывают. Эпидемия. Никогда столько не открывали. Было: взрывали. Теперь: воздвигают. Историческим персонажам. И беллетристическим. Хищникам и земноводным. Может, лучше взрывать? А новые запретить? Но чем-то должны они тешиться.

Памятники открывают. Этот – ему. Спелёнат и перевязан. Тихо. Без помпы. Без телевизора. Должно выглядеть ненарочито, буднично даже, для него – совершенно случайным. Не слишком уместная, не предвиденная инициатива.

– Что? – Хмуря брови.

– Зачем? – Конец разговора.

Пусть земля слухами полнится. Пусть из уст в уста разнесется. Пусть тайное станет явным. Трансляция – ему одному. Никаких приглашенных.

Привычно рыщет пристальным взглядом, на сектора толпу рассекая, выискивая не только знающего, но и способного крикнуть: король омерзительно голый.

У бронзового покрытого – начальствующие иерархично, скрытое волнение изображая. Среди них отделенно, привычным пятном, не касаясь друг друга ни жестом, ни взглядом – ряженные, ливрейное почтение изображающие. Не холодно. Не морозно. Ничто разжиженные мозги не морозит. Зато сморозить каждый способен: святых выноси.

Скульптор и архитектор – чуть в стороне, нервное вдохновение изображая. Архитектор – в такую площадь много не втиснешь, хотя, может, нет гербовой – не надо ни на какой? Но скульптор! Как решился лепить то, что он сам долгое время из себя лепить не решался: вытянув пальцы, всей кистью, рукой, всей душой – вдаль, вдохновляя. При случае надо бы познакомиться.

Сзади общественность – скомканно, изображая энтузиазм. Наметанным взглядом вслед за камерой скользнул по толпе, выделяя не выделяющихся. В отдалении – оркестр и парад. Вокруг – оцепление. С погодой не угадали, но тучи разогнаны. Дождя нет. Сыро и мутно. Небо – крысиная шкура. Собрались задолго. Мука ожидания урочного часа. Преобладают чиновники, превысившие потолок компетенции.

Крысиными лапками шуршит тишина. Хоть бы музыку какую включили. Вне кадра – тошный лай, муторное скуление. Мелкопакостная собачонка. Только этого не хватало. Сказать, чтоб остановили немедленно. Не действие – скулеж. Нельзя. Узнают, что смотрит. Музыку вместо лая и тишины крысиной, идиоты, включите. Наконец. Догадались. Интересно, кто догадался? Узнать. Сколько оста-

лось? Сказать, чтоб не сгоняли слишком задолго. А то всё проклянут. Туалеты – проблема. Узнать: привезли? Поставили? Открыли? Работают?

Он любит яркую праздничность. Цвет до краев самим собой переполненный. Трава должна быть ярко-зеленой. Небо – ослепительно синим. Кровь – пронзительно алой. Здесь всё серовато. Может, экран искажает? Яркость туман пожирает?

Надоело. Приснилось во сне. В дом проникла змея. Как и откуда? Безвредная? Ядовитая? Об этом не время. Сейчас нужно убить. Потом разбираться. Чем убить, как? Подумалось: обратиться. В кого? Киплинг, змея и мангуст, на крысу похожий. Мангуст — это Африка. А здесь? Значит, крыса.

Во сне из сна тянул холодок. Не страха – но неуверенности. Что делать? Крысу где взять? Как справиться со змеей? Не жить же с ней вместе. Друг с другом. Морда в морду, как в зеркале, меняющем очертания. Ненавидяще глаза в глаза – ледяно, не мигая. Не змея – но змееныш. Не крыса – крысеныш. Не двигаясь. В бой не вступая. Выпячиваясь друг на друга коленками из распутившейся штопки. Глаза навывкате. «Раб, лупись», – приказывает хозяин, давший пятнадцать копеек. Дома копеек для него, внука кухаркиного, не было никогда.

Долго, до скончания сна бесконечно смотрит на змееныша и крысеныша, почти близнецов. Запомнятся. Сквозь сны протащить – не забудутся. Великолепная память. Помнит даты, имена, помнит и лица. Стихотворение – два раза вслух: навсегда. Текст, язык не знаком, полчаса – лист.

Не спрашивай, для чего. Откуда – не спрашивай. Спрашивай: что с памятью делать, ведь бесполезна. Сравнить, сопоставить, выводы, причинно-следственную связь обнаружив и цепь размотав, предсказать, предвидеть – нет, не его. Многоходовки не для него. Лучше не братья. Кто умел, тому он не верил. Врут. Цену себе набивают. Сторонился. В силу войдя, держал дистанцию или отталкивал.

Иногда чувствовал: увязает в настоящем, словно в болоте. Засасывает, утаскивая в пучину и заключая в зеленые, не лопающиеся пузыри. Тогда исчезал. В глуши, в горах или лесу, вне своей жизни пытался думать о будущем, на миг забыв настоящее. Иногда от него освобождался. Но место будущего оставалось пустым. Лежал часа-

ми в звенящей беззвучием тишине, выпадая из устоявшейся жизни, одинокий, словно пауза в разговоре, но будущее не снисходило, не открывалось. Наедине с собою терялся. Привык быть тем, кем быть научился. Тем, кем желают видеть другие. А наедине встречал чужака. Не знал о чем с ним говорить.

Друзей не было. Дружья – это обманка. Дом – обманка. Обманка – семья. Приписывали любовниц – колбасой пса манили. В зеркале тоже – обманка. На самом деле нет его, не существует. Исчезнет – и не заметят. Сочинят, заполнив призрак словами, сочиненному и поверят.

Снится. Памятник ему открывают. Постамент, конечно, гранитный. Он, узкотелый, узколицый и узколобий, в бронзе несколько шире, полнолицей немного и – сократовский лоб. Чуть лживо, однако, похож. Немного приукрасили, но узнается. Главное из коротышки – окурком его называли – сделали слегка выше среднего роста. Не переборщил скульптор. В меру солгав, польстил неназойливо. В узкую щель, не задев, проскользнул. Шаг вправо, шаг влево – издевательство, насмешка, глумление. Зеленоватое, назойливое, комариное. Памятник узок. Слово из щели забил тонко и узкофонтан, гранитно и бронзово застывая. И это понятно. Площадь ведь небольшая.

И на постаменте – КРЫСЕНОК.

Золотом. На века.

Люди из телевизора не знают, что трансляция ему одному. Хотят, как лучше – премии, звания – из крысенка для публики творца человека.

Снится. Открывают памятник. И тепло. А хотелось иначе. Не угадали. Хочется, чтоб зима. Не холодно – люто. Как хоронили вечно живого. Пар изо рта. Медь оркестровая замерзает. Шапки под подбородком завязаны. Цигейковые. Из полубосяцкого детства. Цигейковый поднятый воротник шарфом снизу подвязан. И во рту – мокрость цигейковая. Что такое цигейка? Глянуть. Мех овцы. Стриженный. Крашенный.

Стоят. Мерзнут. Открытия с нетерпением ожидают. Нетерпение? Не отсюда. Обреченно. Ожидают, когда тряпка к подножию, обнажая, восхитительно упадет.

Он видит во сне всё это, словно в окне, через стекло, на котором дождевые капли застыли и в котором его лицо отражается. Смутно, знобко, размыто. Все картины, все сцены – большими кусками. Кто-то фокус наводит. Он сам? Или другой, не предлагая – навязывая. Этого не потерпит. И – лжи. Должно быть доложено ясно, четко и лаконично. Суть. Подробности – сугубо по требованию.

И во сне думает он о том, о чем и всегда, отсекая всё, что вне его опыта. Думает, как срежиссировать настоящее, чтобы прошлое выдать за будущее. Припадая к корням, день и ночь грызть их и грызть, пока изо рта желуди не посыплются, светло-коричневые, блестящие, с зеленой головкой, которую приятно свернуть. В чашечке – капелька: будущее знакомо, чисто, прозрачно, словно прошлое после очистки. Ее-то мы обеспечим. Обучены. Не впервой. Будущее прекрасно. Увидите, когда доживете. Без всяких «если». Ни в чем не уверенное словечко исчезнет, в самую себя уйдет, растворится.

В зимнем варианте откроются и разойдутся по белым неубраным улицам, роняя дымящиеся лепешки скудных мыслей, гадких, тошнотных, на снег.

Долго шарит взглядом в поисках не провала – его быть не может – заминки, неточности, не явной, такой, чтобы ответственному за открытие при случае, склонившись, дружески, вкрадчиво намекнуть. Так, чтоб не ясно: откуда узнал. И знает ли что-нибудь, или от фонаря. Не сидел же тот, впрямь, подглядывая, на фонаре. Не всеведущий, не всевидящий. Хотя, черт его знает. Может, на каждом метре глаза и уши свои понатыкал.

Долго шаря и не найдя, во сне размышляет: не пора ли проснуться? Вдруг откуда-то хлынуло: ощущение стыда за родителей при чужих. Неуклюжие, немолодые, в чистой, но скверной одежде, пахнущие затхлой, неотмываемой и непроветриваемой коммуналкой. Ссор в доме не было. Ворчание и ропот их заменяли. Стыдился того, чего стыдиться нельзя. Противно. Узел не развязывался и не разрубался. Мог со временем лишь, истрепавшись, ослабнуть. Не исчезая.

От него ничего не зависело. Изменить их не мог. Его холодную вежливость, его отчуждение не заметить было никак невозможно. Оставалось одно: с этим жить. Им и ему. Что без слов и невесело делали. Нет, он их не презирал. Это было бы слишком. А сильные эмоции, как он родителей, его сторонились.

Прошлым с кем-нибудь поменяться, а еще лучше, вовсе его отменить. Чтобы пустое место нужным заполнить, а его при необходимости более подходящим сменить. Отменить, но не добела вычеркнуть. Например, отдать брату родному. Но брата не было. Приходилось тащить груз за собой, не в силах от него отделиться.

Те, кого про себя мамой и папой не называл, когда он еще с трудом себя создавал, к чистоте приучили. Может быть, зря. Среди помоечных грязных котов и вонючих бродячих собак крысенку, привыкшему к чистоте, нелегко.

В старости к себе бывшему юному относишься как к близкому, но другому, шагающему вразвалочку, бравлируя свободой, хотя так идти неудобно. Иными вспоминаешь врагов и друганов, кого ты сторонился и кто сторонился тебя, и тех, кого ты, мелкопакостная собачонка, облаивал, держась в отдалении. В прошлое не ушло, за шкаф не закатилось. Продолжается, слегка резкость утратив. Подростковые комплексы никуда не деваются. Стушевываются, замирают. Чтобы в неподходящий час объявиться.

С ранних лет полюбил пустое пространство. В их единственной комнате коммуналки, хоть вещей было немного, надо было протискиваться, самому уменьшаясь. Его и так было немного. Уменьшаться – как унижаться.

То, что его в самом тесном пространстве было совсем ничего, давно не беспокоило. Теперь он вытеснял самых огромных. Те рядом с ним съеживались, уменьшаясь в объеме, теряя и вес и место в пространстве, которое само по себе выстраивалось под него. Он в центре, на периферии, вокруг – остальные.

Новые лица его раздражают. Надо присматриваться, учиться понимать, что они выражают, соответствуя произносимым словам или противореча. Поэтому вокруг него те, к кому в детстве, юности или чуть позже привык. Строят, шпионят, воруют, делают то, что и все. Не раздражая. А катастрофа, обвал требуют сфокусироваться, целенаправленно думать, решение принимать. Туалеты – их завезут, но забудут открыть. И с этим он и никто в мире ничего поделать не может.

Он терпелив. Другие, мучаясь, понимая необходимость, набираются терпения, и оно их увечит, распирая, пока они, выскакивая, теряя всё, не взрываются. Ему ничего: ни знаний, ни мудрости, ни

терпения – ничего набираться не надо. Будучи терпелив, никогда – в его уличном детстве всякое приключалось – голову не терял. Ни трус, ни храбрец. Всё в меру сероватости, врожденной ли, обретенной. Ни великих мечтаний, ни страхов слишком постыдных.

Умел долго ждать. Словно записка в бутылке или джинн в древнем сосуде, ждал когда разобьют. Кто? Как? Дождется? Качеств победителя не было. Приходилось обходиться теми, что были. Знавшие в те времена, когда и в глаза его звали Окурком, дивясь игре случая и причудам фортуны, сорвавшим банк лузером его почитали. Всем отомстил. Воздал по заслугам. Больно воздал, тяжело. Тогда, когда стало по силам. Лузер он был не простой, но очень фартовый. Один раз ошеломительно выпавшего лотерейного билета для такого возвышения маловато.

В отличие от оригиналов, которых в его молодости было хоть пруд пруди, стремившихся в единую цепь соединить несоединимые причины и следствия, в одну телегу впрячь не только с ланью коня, но и еще бог знает кого, он медленно, терпеливо подбирал парные причины и следствия, намертво единыя.

Взбаламученное море бурлило. Море невиданных возможностей и непостижимой глубины. По мнению многих, с которыми его совпадало, бурлило намного сильнее, чем море можно позволить. И тем, кто морем гнушался, и тем, кто боялся, было не устоять: ураган всех уносил. Выбора не было: в море бурно и грязно, на берегу жутко и невозможно.

Избыток пены, бесчисленность сора. Таким было море. Там и пристроился, плавно взмывая и опадая. Качку он не любил. Но удачно к ней приспособился, отыскивая в мусорной пене жемчужные зерна. Он их копил, не спешил на нитку низать – ни жене, ни любовнице. Было ему не до них.

Ныряющие за жемчугом – их презирал – погибали. Даже погрузившись в воду по горло, продолжали дискуссии: море со временем схоже или время на море похоже. Их оплакивали. Их воспевали. И забывали.

А его – его будут помнить! Всем посмевающим забыть – отомстит. Не орел – заметив, сорваться и заклевать. Не тигр – выждав, броситься и задушить. Крысенок – долго, сладко грызть падаль.

Похоже, крысенок есть категория отрицания.

Убивали другие. Вот и того, который, сигарету ногой затоптав, в лицо ему плюнул: Окурок! За что? Никто и не помнил. Сколько в тесном не добровольном общежитии таких мелочей. Плюнул – и прилепилось. Но долг известно чем красен. Через десятилетия – терпелив – того под общий радостный визг затоптали.

Дольше всех выживали державшиеся среди мусора на поверхности. Было за что зацепиться. Доски, бревна, фанера, обломки, ошметки – всё, что от закончившегося хепеннинга с берега полетело.

Многие исчезли, потеряв явные признаки бытия. Первыми – фантазеры, уверовавшие в истинность собственных сказок, не способные явь от прекрасноты отличить. Когда те его доставали – ощеривался. Мелкие острые зубы действовали безотказно. Знал, кому их предъявлять, а кому, не разжимая губ, улыбаться. Никого не трогал. Но следы мелких зубов до конца дней с их тел не сходили. Если, конечно, сразу не умирали.

Барахтаясь в волнах, теряешь ощущение непрерывности времени, распадающегося на куски: вверх – вниз, завтра – вчера. Все что-то в море искали. Глаза разбегались. Искали все – нашли единицы. Кто знал, что он ищет, зрение сфокусировал, ко времени равнодушный и терпеливый, и куски времени склеивать научился.

А может, не так? Может, главным было другое? В отличие от других, он не был тщеславен. И в себе не копался, пытаясь новое отыскать. Не нарцисс. Ни в прозрачную воду, ни в собственные мрачные глубины он не заглядывал. Не славы жаждал – но мести. Мстил за то, что досталось. За стыдное детство, убогую юность, насмешки, за жидкие волосы, за то, кем среди чучел случился.

Барахтались собаки и львы, и мыши с котами. Вместе с ними крысенок пену из сора взбивал. Афродита? Пахло духом другим и плотью иною. Барахтался, вынюхивая безопасное место, откуда, вдохнув и осмотревшись, можно продолжить пену взбивать.

Неожиданно для себя он сыскал то, чего не искал. Почему именно он выиграл в лотерею? Версий было великое множество, и они друг друга в правоте не ущемляли. Со временем все ему стали известны. Другой бы над ними залиvisto хохотал. И он бы смеялся, если бы умел это делать.

За время превращения в памятник многому научился. Достиг

сияющих вершин цинизма и лицемерия. Когда-то бывал раздражен и насмешлив. Вначале раздражение научившись скрывать, насмешливость оставляя, доучился вообще не раздражаться. Научился вперед не заглядывать, назад не озираться. Сочинения на тему: «Станет ли Пьер декабристом?» или «Кем будет Онегин?» с детства его угнетали. Предвидеть, предсказывать, заглядывать в будущее и сочинять не любил. Глупость. Пустое.

А время шло, муторно, мелочно, мукой сквозь редкое сито просеивалось, редко-редко задерживалось на поверхности что-то значительное.

Известности не желал. Но сперва она, а затем уже слава, на радость или беду – кто поймет, кто отличит? – сама его разыскала. Произошло это внезапно, неожиданно, вдруг. Поначалу даже слава сама нелепости удивилась. «На что он мне? – думала слава. – Покуражусь и от замызганного мной удалюсь». Не тут, однако же, было. Прищемил хвост. Не отпустил, к стене прижимая.

В одночасье масштаб изменился. Резко – в глазах зарябило. Понадобилось время – зрение сфокусировать, словно после удара по голове. И, конечно, мелкие хитрости, чтоб не заметили. С тех пор с особой тщательностью маскировал подробности своего бытия, напряженно выкатывая взгляд исподлобья, радостным, веселым цветом его приукрасив.

Тех немногих слов, которыми обладал, которые сами прибились, до времени вполне доставало. Порой было больше, чем нужно. Так, «пена» неизменно требовала расхожести, к употреблению обязательной: «После отстоя пены требуй долива!» Такая мета времени речевая. Так тогда теми принято было. Своего времени, места и круга не сторонился. Напротив, обозначал и подчеркивал. Речей не произносил, книг не писал. На что множество слов? Расхожие? Вот и прекрасно!

Когда же слава пурпурным крылом осенила, или, если угодно, подмышками пощекотала, словарный запас надо было резко расширить. Новые слова были нужны, чтоб из ясного и простого выщучивалось туманное и пустое. Справился быстро, полюбив из шума времени вылавливать выраженьица и словечки, на которые, как на блесну глупую рыбу, улавливал публику, отчаянно желавшую уловиться. Не косноязычность же предъявлять?! Героической эпике

звонкая лаконичность пристала. Не даждь ми дух празднословия!

Научился из морды крысиной лицо сочинять, пронзительным взглядом в фокус мелкие черты собирая. Морщинась, сочиненное к взгляду неуклюже пристраивалось, не слишком надежно к нему прилипая. День-деньской делать лицо было непросто. Но не такое учили изображать, собственные слабости одолевая. Лишь открытой улыбки, как ни силился, делать не научился. Сильных эмоций никогда не испытывал. Когда нечто похожее приключалось, недоумевая, крайнюю неловкость испытывая, незаметно для окружающих проглатывал непережеванным.

Чем больше в предложенный обстоятельствами образ входил, тем меньше было желания и возможности выйти. Как-то захотел на короткое время – не получилось. Больше и не пытался.

Собравшимся на открытие хотелось в привычной манере, слегка склонив и вытянув голову к собеседнику, вкрадчиво втолковать, как важно открыть памятник лично ему. Не писателю или художнику, а ему, человеку в общем-то без профессии, такому же, как они, человеку простому, из семьи очень простой, любящему блюда и песни простые, не любящему ничего, что предпочитают чужие.

Часто вкрадчивость его была ядовитой. Вытягивалось лицо, глаза, как некогда говорилось, становились стальными и буравили собеседника, словно дрель – тончайшим сверлом. Чтобы дырочка была незаметна, но глубока, и очень болело. Долго-долго болело, чтобы просверленный помнил, каково под его раздражение попадать. Взглядом своим очень гордился, его действием немислимо наслаждался. Если кто-то осмелился бы спросить, чем больше, сексом или же взглядом, и он решился на безумную откровенность, у взгляда соперника не было б. Вопросу бы удивился. Несоизмеримо!

То, что никого не любил, не волновало. Давно знал: не для него. Но настораживало: не способен возненавидеть. Старые ненависти худо-беднотлели и грели. Но новые не являлись.

Устал. Точней, во сне соизволил устать, чего наяву не бывало. Расслабился, сторбился, в кресле огарком свечным оплывая.

Не видели его трущим глаза или зевающим. Такого не совершал. Не чихал, не кашлял и не сморкался. Откашляться достойно в кулак – человечинку проявить – можно, скорей, даже нужно. Как

словцо. Как скорбная интонация, соответствующая обстоятельствам. Готовился. Ни с кем не советуясь, репетировал. Иногда здорово получалось.

Но сон, в отличие от яви, неуправляем. Во сне случилось наяву не случавшееся. Проспал самое главное. Открытие, сдергивание полотнища не увидел. Проснулся: камера – на парад. Смирно! К торжественному маршу, поротно, на одного линейного дистанции, первая рота прямо, остальные направо, на плечо, равнение направо, шагом – марш! Парад в единую картину сшивался. Без шва нарисованную на огромном холсте.

Картинку переключили. На высоком постаменте гранитном бронзово замер на задних лапках монологичный художник власти – крысенок: узкотел, узколиц, узколоб. В левой лапке передней, кривовато неистово вздернутой, – крест, похожий на выбивалку: пыль из ковров добывать. В правой лапке передней, прямо вздернутой агрессивно, – меч, похожий на нож, которым мясо пластают. На груди – хирургическим следом сияние от Калашникова: забракован за милитаристский излишек, от отлитой скульптуры отрезан и зачищен заподлицо.

Памятник. Не мертвому! Крысенку – живому!

Крест и меч. Камо грядеши?! Знамо куда! Это вам не красное знамя в одной руке и кривая тупая сабля в другой!

И хвост! Тянущийся неизмеримо, вьющийся бесконечно, ошметки времени по пути попирая, уходя в хтонические сырые глубины веры, надежды, любви. На бронзе следы непонятные. Спермоточивый крысенок. У этого крысенка, бронзово загорелого, бывают только победы. Поражений у него не бывает.

Не крысенок из сказки. В сказках крысят не бывает. Разве что в роли персонажей совершенно разнузданных, гнусных. Этот был настоящий крысенок с сильным телом и крепкой психикой, не подверженный меланхолии и греховным соблазнам, не искушаемый рефлексией и alter ego не заводящий, не желающий эволюционировать ни в кого, тем более, в человека, обожающий спорт и порядок в душах, телах и государстве, крысенок из подвала прекрасного замка, фасадам обращенного к реке и всему гордому миру.

Река шлет крысенку туман. А мир посылает проклятия.

Все вокруг взорами ласкают его истово, исступленно. Тянутся

прикоснуться к его чудесной металлической плоти, пророчествующей величие каждому своему, удостоенному сияние его бронзы увидеть.

Но почудилось: попал в западню. Заманили. Сыром. Тухлым мясом. Неважно. Крысоловка захлопнулась. И, помучив, голодом поморив, немощного, несчастного умирающего освободили. Научили на задних лапах стоять, в бронзу непонятно зачем обратили. Вот и стоит. Смотрит. Не может глаз отвести. От того, что ему видеть не надо.

Снизу доверху золотое крысенку, в профиль на обмылок похожему, в бронзе отлитому, отчаянно откадило. Дым рассеялся и парад завершился. И будто к мавзолею в годы былые огромная очередь, неся переполненные пузыри мочевые, к памятнику немерено потянулась.

Куда, за кем и зачем поскачет, подвалов сырых гимн напевая, на собственном хвосте Медный Крысенок? Где опустит? На кого хвост востроносо поднимет?

Показалось: не памятник – маленький краснокаменный зиккурат, черной полосой рассеченный. КРЫСЕНОК – отчетливо отчаянно красным. И – желание, умную, неприятную тварь пожалев, «кры» сколупнув, «бе» вколупнуть. Мол, БЕСЕНОК.

О нем по-настоящему написать. А то... Бесы не в избытке, но были. Мелкий бес как-то случился. Но бесенок всем не чета. Только что в лоб крысенку – что по лбу. Будет юношам, обдумывающим житье, не успевшим вехи сменить, сапоги замочить, тема для сочинения: «Феномен Крысенка в истории нового времени». Это вам не мелкобуржуазные лягушата, барахтающиеся в молоке, масло взбивая.

Толпясь в хвосте, а подходя, выстраиваясь друг другу в затылок, мимо «на караул» проходя, вытягивают из самого нутра, из живота, из гениталий дрожащие языки и, поднявшись по лесенке, держась за перила, чтоб не свалиться, под бронзовым хвостиком бронзовое пятнышко, изначально остального светлее, лижут исто-во, самозабвенно.

Это во сне возбудило. Чего давно не было ни во сне, ни наяву: ни сил, ни времени на возбуждение не было. Не то, что раньше, когда и на это его доставало. Это не было вспышкой. От одной спички

не загорался. Даже в период гиперсексуальности изобильно прыщавой.

Возбуждению удивился. Именно так. Не обрадовался – удивился. От экрана отпрянул, будто тот желание похищал. Или потому, что показалось: смотрит репетицию собственных похорон. Черчилль прав. Заранее тщательно всё продумать. Сценарий – в деталях. А то, как всегда, всё перепутают. Туалеты завезут и не откроют.

Подумал – представилось. Речи. И в каждой: земля ему пухом. Зачем ему пухом? Пусть давит. Пуховые одеяла он не любил.

С непониманием и удивлением к тем относился, в ком буйствовали табуны дерзких желаний. Если некто из табуна поспокойней в него и вселялся, то на того жесткая узда находилась. Подумав об этом, внимательней поглядел на экран, соображая, какая связь между этим действием и ним.

Нить потеряв, мысль блуждала в потемках. С одной стороны слабо светилось, что никакого, с другой — как же, сам понимаешь. А он, словно мысли сдавшись на милость, с ней не мог сладить никак. Любил четкость и ясность. А во сне всё смутно мерцало, на резкость не наводясь.

Желание и смерть переплелись. Словно причины и следствия тех чудачков, которые, в море нырнув, утонули. Канули в хаос. В отличие от них, вещи, события, мысли – всё раскладывал в четком порядке.

Подумав, от экрана отпрянул, будто от зеркала, в котором увидел что-то не страшное – неприятное, вроде крысенка, усиками глумливенько шевелящего, прозрачно намекая на неотвратимость случившегося. Из зеркала, из нескончаемой глубины смотрел на него крошечный грязный, страшно боящийся пауков, которых вокруг великое множество. Они памятник паутиной со всех сторон облепили. Да так, что его вовсе не видно. Тонкая сеть и жирные пауки. От омерзения отворачивается, а когда заставляет себя снова взглянуть, на прежнем месте сквозящая пустота. Ни памятника, ни пауков – ничего не осталось.

Еще миг назад памятник был и крысенок-бесенок над толпой возвышался, птицы кружили, лаяли собаки и кошки мяучили. Каждый в сопровождении собственной тени. Голуби друг с другом, вор-

куя, делились: «Откуда этот болван?» Скрипуче перекаркивая одна другую, дискутировали вороны: «Идол? Зачем и откуда?»

Что они каркают? Чтобы он в панику впал? Не дождутся, карты-вые! Грахх? Какой из братьев? Или же. Крахх?

Утверждают: вороны – самые умные птицы, интеллектом с крысами спорят. Чего только не делают, хлеб насущный себе добыва-вая. И себе подобных оплакивают, сидя на ветках вокруг долго жить приказавшей, сперва каркая, а затем скорбным молчанием поминая.

Вспоминает, как впервые решился. Предупреждали: тупик, сунешься – не вернешься. Другие: не бойсь, не с таким справлялись – прорвемся. Вначале даже весело было, страшновато, но бесшабашно, хоть сыро и пахло не очень. Напористость и сметливость, трезвый расчет и авось – внутрь постепенно вдвигался. Через пару лет стал ощущать: дальше всё тяжелей, назад – вовсе никак.

Двигаться необходимо. Стоять нельзя. Подумают: сдох. Крысятник. Живого на клочки разорвут. На одном месте, не двигаясь, долго не простоишь. Испугало: назад пути нет. Как предупреждали. Может, попробовать? Как-то прорваться?

Еще через несколько лет о том, чтоб вернуться, речи уже быть не могло. Плечи в стены вросли – не развернуться. И задом, рачьи – никак. Только вперед: плечи до крови стирая. Оставшиеся на свету издевались. А он продолжал, дыша мокрой землей и гнилью, в густеющей темноте втискиваться в тупик, в стены втираться.

Он еще жив. Надо двигаться. Остановиться – сожрут.

Когда-то рядом был черный преданный пес, его Банга, именем собаки Понтия Пилата из «Мастера и Маргариты», разумеется, за глаза называли. Знал, виду не подавая. Пес от старости умер. Стонал и молил взглядом помочь. Попросил пристрелить и унести закопать. Так остался один, нового заводить не желая.

Нет и не было чашки любимой. Пьет из любой. Сорт чая ему безразличен. Книг нет – только необходимые, не прочитать никак невозможно. Нет любимой одежды, о стиле нечего говорить. Раздумывает: что бы любимое завести?

Так не бывает. Сначала заведи. Потом что-то, может, полюбится, избранное из ряда подобных. Но на разглядывание, выборание, предпочтение он не способен. И с чашками, и с людьми, с которы-

ми главное – безопасность и преданность. Чтобы в критический час подумал не о себе (преданность), а о нем – в спину нож не вонзив (безопасность). Хотя кто знает заранее о чужом, как тот поступит. В самом себе нет уверенности стопроцентной. Что ж говорить о других. Что-то ныне чашки далеко увели. Зряшное дело пустое.

С каждым годом жизнь становилась скучней. Волновавшее прежде не волновало. Возбуждавшее – не возбуждало. Ни на кого больше не гневался, ни тихо, ни громко. Чем дальше, тем больше приходилось брать на себя, однако свободного времени становилось всё больше. Его и скуку тщательно маскировал, и этому научившись. То, на что раньше тратились месяцы, теперь дни занимало. Раньше занимавшее дни ограничивалось часами.

Слушал аудиокниги, сочинения великих историков. Чем больше мир живых становился скучен и неприятен, тем больше тянуло к великим, среди которых на кладбище местечко присматривал. Доносившиеся оттуда (из колонок и кладбища) слова поражали твердостью и однозначностью сложившейся в историю жизни. А то мало ли что может случиться на пути от рождения к тому, что ждет и его.

Завидовал чудаку, почти ровеснику своему, жившему с мамой-старушкой в халупе. Врут, на ее пенсию жил, летом грибы собирая. Решал задачи, которые до него никто за сотню лет не решил, отвергая награды и прячась от журналистов, которые, выведав сорт любимых пирожных, носились – скормить и запечатлеть, по дороге вытащив пару ничего не значащих слов.

Он завидовал. А маразм крепчал и сгущался.

В минуту тяжелой зевотою рот, душу тоской раздражающей скуки ему хотелось, впервые в жизни вскочив, заорать, связки срывая, иерихонской трубой зареветь, чтоб пали стены, упали заборы и из могил хоть кто-то живой и здоровый поднялся и, подойдя, положив руку ему на плечо, сказал: «Брат, ты даешь. Совсем не крысенок». Но мертвые, держась за свою жизнь и за смерть свою, и могилу, призывы его игнорировали.

Казалось: вот-вот, что-то случится.

Знал, что от кого ожидать. Знал меру лжи и меру наглости, знал меру глупости сидящих, как на углях, рядом с ним и против него. О них он знал слишком много, чтобы смягчающим душу ил-

люзиям предаваться. И сам иллюзий вызывать у сидящих не собирался. Пусть и они знают меру лжи, наглости и лебезения. Знания меры глупости требовать было, увы, бесполезно. Слишком умных, однако, с детства он не любил. И откровенных дураков тоже не жаловал.

Комары, жужжа, вьются всегда. И он когда-то жужжал. А теперь вокруг него вьются, желая услышать, что скажет. И говорил, что хотели услышать. А думал, никому не говоря, что мера зла в мире всегда одинакова, во веки веков постоянна. Изгонишь отсюда, в другом месте выползет, змеясь и смеясь, кожу меняя.

Дожив до этого сна, до памятника крысенку, он знал: люди лишь страусы, прячущие не только голову, но всего себя в песок слов, власти, опилок, чего угодно, только не видеть того, чего видеть не в состоянии. Потому что, увидев, оставив песок, сунут куда-нибудь голову, чтоб оторвало. Так что песок – спаситель: ограждает от видения оторванной головы, с которой подмышкой несутся по улицам, словно курица по двору.

С каждым днем становилось всё меньше способных хоть малый кусочек отломить от его одиночества. Знал, что завтра их еще будет меньше. Зато больше решения не имеющего. Туалеты завезут и не откроют. Можно орать или молча снимать-назначать. Ничего не изменится. Нужно смириться. Льдам не прикажешь не таять, а краснокнижным тиграм размножаться активней, браконьерам не попадаясь.

Привык ко всему. Быстро и навсегда. Как с болью в спине: лечения не было.

Прекрасно знал, чего ожидали. И соответствовал, словно в зеркале, в ожиданиях отражаясь, обратившись в призрак, в обман голографический, умевший словцо уронить, чтобы его услужливо с пола подняли. Всё прежним маршрутом, в прежнем темпе и с прежней бессмысленностью. Крысенок в норке, шеvelя усами, грызет сырную корку. Долгая агония, бесконечная. По крайней мере, для тех, кому за ее пределами жить не придется.

Было два круга. Очень большой круг. И круг очень малый. Семья – очень малый, порой совсем исчезающий где-то там, в зыбучих песках. Большой – служба, над ним в гору служения вырастающая, двумя победными пальцами раздваивающаяся на вершине: было

и будет, когда его больше не будет. Репетицию «не будет» смотрел, размышляя: кем угодно можешь ты притвориться, но, родившись крысенком...

Мысли мелькали, как отблески лезвия гильотины, прошлое от будущего отсекающей. Мелькали – исчезая, растворяясь в немыслимости невообразимой.

Отпрянул, ладонью жидкие волосы, плохо лысину маскирующие, тщательно приласкал и отпрянул: экран с крысенком желание похищал, замещая смертью, процессией похорон, после которых никому ни за что не отомстишь. Отпрянул, подумав: всё сложнее пустяками себя развлекать, отвлекаясь на глупости.

Подумал во сне, в полуреальности увязая. Пора просыпаться. И, продолжая спать, он проснулся. Хотелось орать и рыдать, зная во сне: невозможно. Не потому, что нельзя. Во сне никто не увидит. Ни орать, ни рыдать не умел.

Вовсе не осень. Патриархом себя не считал. Его автора не читал. Были более актуальные тексты. Но часы вокруг истребил. Невозможно слышать, как тикает жизнь, неизвестно куда утекая. Присматривался: нет ли дряблости кожи. Прислушивался: не появилась ли дробность шагов. С собственной марионеточностью он пообвыкся: обстоятельства дергали – прыгал, бегал, крутился.

Войны не было. Но гибли солдаты. Подводные лодки тонули. Здания рушились. Падали самолеты. Кровавые мальчики. Много. Ночами не посещали. Боялись? Спал мало и крепко. Пробыться не успевали?

И памятник крепко стоял, уверенно и надежно. Отбрасывал тень – по времени суток. В полдень тень исчезала, или когда солнце тучи скрывали. По праздникам разгоняли, но тень не являлась. Это его волновало. Нет тени? Памятник – фикция. Извели, замучили гады крысенка.

Страшный сон. У кого не бывает?

Вообще-то, сны не любил. Они отвечали взаимностью. А этот двойной, сон во сне – единственный в его к тому времени прожитой жизни.

Он не был писателем, но решал, кому жить, а кому умереть. По началу ощущал себя самозванцем. Но и это прошло.

Сон приснился во сне. Снился-снился, словно в явь сон обратился. И наяву в крысенке бронзовом, хвостом гранит попирающем, который к тому времени замироточил, завелись крысы живые. Они новое поколение смышлёных смешливых крысят породили, с зубами грызущей мощи невиданной. Отгрызли хвост попирающий, на который кумир опирался.

Рухнул Крысенок. Разбился. Рассыпался.

Раздался грохочущий хохот. Бессмысленный и беспощадный. Брезгливый.

Михаил Ковсан – прозаик, поэт. Автор комментированного перевода ТАНАХа на русский язык, ряда книг по иудаизму и литературоведческих статей.

Автор многочисленных публикаций в интернете, двух книг прозы и трех поэтических сборников.

Живет в Иерусалиме.

Владимир СОЛОВЬЕВ

POZZOSACRO: ИЗМЕНА – ЭТО ТАК ПРОСТО

Женский сказ на фоне мужской ревности

*Надо быть полным идиотом,
чтобы считать меня загадкой.*

Годар. Безумный Пьеро

*Единственным приемлемым
решением было бы отменить
прошлое*

Иэн Макьюэн. Искушение

- Теперь-то что? Мы скоро умрем, – говорю я.
- Ну, уж так и скоро! Следы преступлений ведут в будущее.
- Преступлений? Не преувеличивай.
- Прелюбодеяние – преступление, – настаивает он.
- Какой ты мстительный!
- Не мстительный, а мнительный.
- Ну, злопамятный. Памятозлобие.
- Это Фрейд?
- Не угадал. А тогда мы и женаты не были. Могла я делать с моим телом, что хочу?
- И что же ты с ним сделала? – говорит он и, не дожидаясь ответа, который я и не собираюсь ему давать, уходит прочь. Если он когда-то устроил мне на целую ночь скандал из-за пустяшного, спяну, поцелуя с его приятелем, то представляю, что было бы... – нет, пусть лучше мучается неизвестностью и ловит меня на проговорах и противоречиях. Да и как сказать? Стыдно. Опоздала с признанием. Или никогда не поздно? Хочу уйти на тот свет невинной? Почему сказала, что скоро умрем? Статистически нам жить и жить, да

еще при здешней медицине и фармацевтике. Из суеверия – чтобы заговорить судьбу и жить дольше? Который год блуждаю впотьмах, в неведении и сомнениях, говорит он, лучше знать, чем не знать и гадать на кофейной гуще. Знание умножает скорбь, напоминаю ему о словах его предка.

Я остаюсь одна: он – налево, а мне, выходит, направо, не плестись же за ним, коли от ворот поворот? Все здешние тропы мы с ним исходили вдоль и поперек, хотя в дюнах запросто заблудиться, но стоит взобраться на холм, виден залив и куда идти. Людей здесь не встретишь, кроме нас с ним, опасаться некого, а лани, еноты, белки, бурундучки и прочая мелкая тварь бегут тебя сами едва завидев. По пути попадаются грибы – красные, чистые-пречистые, откуда червям взяться в песке? Одна беда – когда спущусь к дикому пляжу, голяком не поплаваешь, как я люблю, да и он не прочь поглядеть на жену-обнаженку. И мне в кайф, что он глядит. Эксгибиционистка? Есть малость. Но только с ним. Страх как застенчива. Он – единственный, кого не стесняюсь. Даже мамыши стеснялась, когда в баню вместе ходили, потому что отец занял ванную комнату и там жил. Это потом, когда мамаша умерла, у меня возникло посмертное чувство вины перед ней, для которого есть какое-то словечко в психоанализе, но я его не помню и знать не желаю, как и весь этот фрейдизм, сводящий сложнейшие движения души к элементарной все-таки сексуальной механике туда-сюда, даже если выучить все позы по Камасутре. Он мне говорит, что именно для таких простушек и ханжей как я, психоанализ и существует, чтобы вывести их на чистую воду и рассекретить – еще чего, мое останется со мной. Да и какие у меня секреты – так, пара-другая умолчаний, не выкладывать же ему всё как перед богом. Почему я обязана ему признаваться – в чем? Вот, вспомнила: некролатрия – любовь к предкам, идолизация умерших родаков. Чтобы и у меня так? Помню, ходили мы с мамашей неприкаянные, замерзая в ночной Москве, когда пьянчуга отец выгонял нас из дома. Такое – навсегда. Остальное – лажа. А он все время тянет на мою мать и говорит, что моя любовь к ней *postmortem* – это тоска по материнской любви, которой у меня никогда не было. Много он понимает в своем сытом, безмятежном, мещанском, еврейском, совковом детстве!

И чего это на него находят приступы ревности?

– Зачем тебе это?

Это уже вечером, когда сидим в ресторане.

– Ревную – следовательно, люблю.

– Ревнуешь – следовательно, не существуешь, – перевираю вслед за ним не помню чей афоризм. – Ревность выела все остальные твои чувства. У тебя вся любовь свелась к ревности. Если бы не ревновал – разлюбил бы.

– Если бы не любил – не ревновал бы. Ревность – неотъемлемая часть любви. Люблю – ревную, не люблю – не ревную.

– Дуреешь от ревности.

– Это даже не ревность. Ты вправе распоряжаться своим телом – никаких претензий. Но как муж, я вправе знать, как ты им распорядилась. Можно изменить мужу, мало ли что, но нельзя ему об этом не сказать.

– Мы с тобой в разломе или как? – спрашиваю на всякий случай.

– Не знаю, – говорит он. И добавляет, усмехаясь: – Ни мира, ни войны.

Цитатен с головы до ног. Оправдывает это тем, что всё сказано задолго до него, и он не так талантлив, как его великие предшественники.

Ресторан в Монтоке – не какая-нибудь там кафешка, а супер, один из лучших на Лонг-Айленде, но мне достается размороженный омар, полностью очищенный от внутренностей и без морской воды внутри, а он, как всегда, уплетает мне на зависть своего мягкопанцирного краба и угощает меня. Делаю вид, что отказываюсь, но он кладет кусок мне на тарелку – хоть какая-то компенсация за моего отморозка. Еще утешает меня:

– Ты только вообрази, что испытывает омар, когда его живьем кидают в кипяток – есть невозможно.

– Мы же едим! – и вспоминаю рестораны в Мейне, где омаров готовят без никакой жалости к ним – зато какие вкусные, сочные, а внутри панциря зеленые внутренности, которыми я брезгую, а он обожает: «tomalley», печенка, самый деликатес! Цимес, он говорит.

– Потому и едим, что отключаем свое воображение, – говорит он. – А в морозильник здесь кладут на несколько минут, чтобы отсоединить их нервные окончания, хотя омар – из простейших, как клоп, а мозг – крошечный.

– Зато кровь – голубая: аристократ!

– А у кузнечика – белая.

– Кто может точно знать, что испытывает омар? Ты лучше представь, как тебя самого кидают в кипяток, простейшее ты или не простейшее, все равно.

– Вот ты и кидаешь меня в кипяток уже четверть века.

Никак не ожидала, что он так вот, без всякого перехода, вернется к своей любимой теме. Думала, он тогда на лесной тропе выпустил пар и успокоился. Скандал на ровном месте.

– Проехали, – говорю. – Что у тебя за желание всё портить? Мы здесь отдыхать или выяснять отношения? Скандалы остались в Нью-Йорке.

– Но ты же и начала! Сама сказала, что имела право делать со своим телом что хочешь.

– Не телом, а жизнью. Ты не расслышал. Тело – не мой лексикон. Ни тогда, ни сейчас. Ты забыл, какая я была дикая? Как у нас с тобой всё медленно продвигалось. Ты всё позабыл, ты меня теперь уже не помнишь. У тебя, что, старческая амнезия? Склероз? Не равновато, дружок? Ты меня больше не знаешь.

– И чем дальше, тем знаю меньше. На смертном одре, если буду в сознании, не узнаю вовсе.

– Ты меня разлюбил, – жалюсь я, потому что в самые тяжелые моменты его любовь была единственной поддержкой, пусть сама в него не была влюблена, но, в конце концов, наверное, полюбила, а тут все враз рухнуло. – Ты недооцениваешь, в какое отчаяние приводят меня твои оскорбления и гнусности. Сегодня полдня пролежала как пришибленная. Жить не хочется. Какой там секс! Я же девочка была и никогда не думала о себе, как о теле.

– Девочка – да, но половозрелая. Пубертатный период позади. Девочка-имаго. Я и держал тебя за девочку, берег, боялся сделать бо-бо – как я был, наверное, нелеп в твоих глазах! Ты сама втянула меня в себя. Так бы я до сих пор провозился у входа.

– Это я в тебе и ценила больше всего – что не набрасывался на меня, как зверь. И лицо у тебя доброе, даже когда ты кончаешь.

– С кем ты меня сравниваешь? – подозрительно спрашивает он.

– Я еще не научилась читать. А в книгах всё описано. Одна беда – ты можешь заласкать до смерти, пока перейдешь к решитель-

ным действиям. До сих пор. А началось у нас, только когда я сама захотела.

– Ты давно хотела.

– Что естественно – ты возбуждал меня губами и руками. Забыл, до чего мы доходили?

– Любил тебя больше, чем хотел тебя – потому и тянул. А ты больше хотела – не обязательно меня, потому и не выдержала.

– Это были случки. Или как говорит твой Бабель, животные штучки.

– Не у меня. Но даже у тебя к сексу примешивается чувство, а к чувству секс.

– Нет, у меня это было отдельно: желание и влюбленность.

– О чем жалею – что отпустил тебя в Питер целой. И буду жалеть всю жизнь. Но кто мог думать? Что ж, тебя и оставить без присмотра на пару-тройку недель нельзя? А если бы я поехал с тобой и был рядом? Прозевал шанс.

– Ты им воспользовался, когда я вернулась – дальше терпеть не было сил. Ни тебе, ни мне. Целомудрие – самое неестественное из всех сексуальных извращений. Твоя коронка. Сколько ко мне подваливало, а дала тебе.

– Как бы хотелось тебе верить!

– А почему раньше верил? Никаких сомнений в моей невинности. Ты ни разу ни о чем не спросил меня, я все тебе честно написала в том письме, ты не задал ни одного вопроса. Ни в чем тогда не усомнился.

– Лох был, – говорит он грустно.

– А сейчас? Что это теперь на тебя вдруг находит?

– Прозрел. И не вдруг. Теперь я неглупый дурак. Но тогда упустил момент истины. Мы оба его упустили. Если бы я спросил тебя тогда прямо, ты бы всё выложила как есть. Теперь, может, я и не стою истины. А тогда, да – я тебя возбудил и развратил, а взять не решился.

– Спасибо, что не давил на меня. Только когда мне самой стало невмоготу. И почему ты думаешь – только не вибрируй, пожалуйста, вопрос сугубо гипотетический, – что я оказалась бы менее доступной для случайной связи, если бы мы с тобой уже прошли через это? Где гарантия? Загнать джина обратно в бутылку? Надеть

на меня пояс верности? Сначала распечатать меня как женщину, а потом запечатать обратно?

*– Положи меня печатью
на сердце твое,
печатью –
на мышцу твою.
Ибо сильна, как смерть,
любовь,
как ад – безжалостна
ревность...*

– Это стихи, пусть великие, но некстати. Ты не ответил на мой вопрос.

– Ну, верность первому любовнику, я знаю... Не оторва же ты.

– В том-то и дело, что не оторва, и ты прекрасно это знал, а сейчас всё забыл и подозреваешь меня в сплошном непотребстве. А тебе не кажется, что мое целомудрие, как ты любишь говорить, – дополнительное табу, через которое трудно перешагнуть? Пуглива была, как лань. Может, даже хорошо, что я уехала в Питер нетронутой?

– Еще как тронутой! Я же тебя всю перещупал, обласкал и перещеловал.

-- Живого места не оставил, – смеюсь я.

– Вот именно! Подготовил и сдал из рук в руки неведомому мне дыроколу, который огуливал тебя в Питере, где ты проходила первые уроки любви. Питер – фон, декорация, задник, а на авансцене великое таинство любви. То, на что у нас с тобой ушло больше года, вы с ним ухитрились за пару недель.

– Месяц, – поправляю его я.

– В общей сложности – года полтора, – складываю в уме.

– Снова прокололась! Ну и как тебе твой первый опыт? – говорит он.

– Не смей меня оскорблять!

– А что тут оскорбительного? Выше наслаждения бог человеку не дал. Ты, что, не женщина?

– Женщина. Твоя, неглупый дурак, женщина. А ты не можешь простить мне, что я женщина.

– Не могу смириться с этим. С твоей физической доступностью другим по причине твоей влюбчивости – стоит тебе гостеприимно раскинуть ноги. Не то, что тебе кто-то всаживает, а что тебе это позарез и ты на седьмом небе, когда тебе заярявают.

– А ты случаем не итальянец? Все женщины – шлюхи, и только моя мама – святая.

– Я думал, ты – другая, а ты – как все. Плотская. Примат гени- талий над всем остальным. Все женщины одинаковы.

– Ты же сам пользуешься мной как женщиной, и одновременно – экий бред! – отказываешь мне в праве быть женщиной.

– А ты пользуешься мной как мужчиной. Для того мы и созда- ны богом.

– Так что тебя не устраивает? Природа человека?

– Природа женщины.

– Ничем не могу тебе помочь. Это ты – ханжа, а не я. Ты – соб- ственник. А я не настаиваю на праве собственности на тебя, сам рас- сказывал мне о своих походах налево, волочился за каждой дыркой.

– Зато ты – молчок. И я тебя не предавал и не обманывал. Ты знаешь все мои похождения, а я твои – нет.

– Но если их не было? Не о чем рассказывать. Я тебе говорю правду.

– Даже когда врешь? Хочешь убедить меня, что цианистый ка- лий – не яд, а витамин.

– Тебе делать нечего! Хоть бы увлекся кем! Вон через стол оди- нокая блондинка – ничего себе. Тебе сойдет. Я вижу – ты уже поло- жил на нее глаз. В твоём вкусе.

– В моём вкусе только ты, остальные – без разницы. Кордебалет больше не возбуждает. Только – прима. Ты одна такая индивиду- альная и таинственная, что я до сих пор не могу прийти в себя. А разгадать тебя – подавно.

– У человека могут быть тайны. От самых близких. Почему мне нельзя иметь свою тайну? Или даже тайны?

– Потому что твоя тайна от меня для тебя не тайна.

– Ты не понимаешь. Есть тайны даже от самой себя. А тебе – всё выложи, как на ладони. Как в католической исповедальне или на этой дурацкой кушетке. Я не о сексе. Меньше всего о сексе. А у тебя все сводится к сексу. Ты не знаешь, что такое любовь.

– Куда уж мне! Зато ты слишком много знаешь. Столько знать – ничего знать. Как один наш общий друг хвастал, что знал больше сотни женщин, а я ему сказал: «Знать сто – не знать ни одной». Нет, это ты не знаешь, что такое любовь. Любовь – одна, навсегда, на всю жизнь. Как у меня. На несколько любовей человека не хватает – не вмещается. Любовь и так больше человека. Как пламя. А твоя любовь и не любовь вовсе, а любовь-морковь! Любовь-обманка. Влюблялась в каждого встречного-поперечного. Перечислить? Как кобель у каждого дерева. И почему в моих приятелей?

– Не только в твоих приятелей – свет клином на них не сошелся. С Александром ты и знаком не был.

– Александр? А, это твой первый в Питере? Бог миловал. Еще чудом мой сын – это мой сын, а не его.

– Как тебе не стыдно? Он не был первым.

– А кто?

– Ты! Первым и последним. К сожалению. Никакого женского опыта. Ты так ненасытен, я оглянуться не успевала. Ходила вся тобой затраханная. А сколько абортотворений я сделала!

– Все от меня? – И тут же: – Прости, прости: я – кощунник.

Вот что еще его грызет!

– Зачем я пошла замуж? – плачу – нет, плачусь – я. – Не за тебя, а вообще. Вспоминая все тяготы семейной жизни – ну почему у меня не хватило воли и мужества остаться незамужкой?

– Супружество таит в себе немало мучений, но целибат не таит в себе никаких удовольствий.

– Устарел этот гребаный доктор Джонсон! Целибат и супружество – не антонимы. Чтобы сношаться, необязательно выходить замуж. Зато больше разнообразия и никаких супружеских табу.

Эту мою жалобу – что у меня никакого больше опыта, только с ним – он воспринимает как уловку, чтобы обвести его вокруг пальца, попытку выдать ложь за правду или хотя бы сделать ложь правдоподобной. Правдоподобие взамен правды.

– Из тебя никудышная вруша.

– Ты мне совсем не веришь? – спрашиваю его всерьез.

– Лучше бы ты не писала мне тогда из Питера про своего Сашку и не говорила годы спустя про Нодара.

– Лучше бы, – соглашаюсь я. – Но я написала и сказала. Сейчас-то что делать?

– Об остальном же ты помалкиваешь.

– О чем?

– Вот этого я как раз точно не знаю, а только подозреваю. Или прозреваю. Особенно теперь, когда ты проговорила, что была влюблена в Нодара. Это – месседж, он перевернул во мне всё.

– Ну, уж всё!

– Нет, правда, почему ты не сказала сразу? Больше я тебе не верю. Могла и спяну. Это тебе запросто. Тогда ты вообще без тормозов. Потом пожалела, что дала слабину, да поздно. Почему ты мне все время пересказываешь какой-то поганый сюжет Апдайка то ли Чивера, где расслабленная вином и солнцем женщина отдается соседу, которому ни в какую не дала, будь в нормальном состоянии? Почему тебя так колышет этот драйв? Когда нас с тобой разлучили в Сванетии, ты, наверное, здорово надринкилась. А почему тебя так возбуждает эта гадкая фильма о связи замужней женщины с первым-встречным?

– Но там связь так и не состоялась.

– Оба были готовы к ней, но их прервали. Прерванный акт.

– Какой акт! Между ними ничего не было. Она обо всем рассказывает мужу, хотя не о чем рассказывать.

– Потому и рассказывает, что нечего рассказывать. А если было бы? Рассказала? Ты тоже рассказываешь мне о том, чего не случилось, хотя могло случиться, да? Или недорассказываешь? А для чего еще Нодар тебя спаивал? И вытащил в машине свою висульку?

– Не просчитал ситуацию. К тому времени сам вырубился и мало к чему был способен.

– Хотел, чтобы ты его возбудила? Слишком много вопросов.

– Это для тебя вопросы. Искусство и отвечает на такие вопросы. Или ставит их. И возбуждает не по личным ассоциациям. А воображение на что? Почему меня волнует «Анна Каренина», хотя у меня, в отличие от Анны, нет постоянного любовника – этого ты отрицать не станешь?

– Вот – опять проговорила, – опять ловит он меня. – Я никогда и не думал, что у тебя есть или был постоянный любовник, а так – по случаю, разок-другой. Ты хочешь казаться более невинной, чем есть.

– Это ты хочешь, чтобы я была невинной, – молчу я. – И чтобы соответствовала твоим инфантильным представлениям.

– Тебе нужна стерильная женщина. В смысле стерилизованная. Или резиновая, – говорю я. – Ты отрицаешь во мне женщину, которой регулярно пользуешься, как женщиной. Я, что, виновата, что так устроена и иногда увлекалась?

– А ты обо мне подумала? Я прилетаю в Грузию в командировку, чтобы написать про «Грузию-фильм», а ты крутишь роман с человеком, которого все в Грузии презирают. Ты о моей репутации подумала? Они решили, наверное, коли ты такая, то у меня рога на лбу срослись. Неужели до тебя не доходит, что ты меня срамила и позорила. Ты и есть мой позор. Господи, как ты меня надула, как подвела, как подставила! Вот почему и меня так волнует «Анна Каренина», но я себя идентифицирую с ее мужем.

– Ломишься в открытую дверь. Это давно уже шаблон. Что ни фильм или спектакль, все против бедной Анны. Где-то, помню, зал стоя аплодирует, когда она кидается на рельсы. А последний фильм весь в ее осуждение: как она могла изменить такому достойному мужу и отдаться этому пустышке Вронскому, которого, к тому же, не любит! А в противовес – Татьяна Ларина, которая остается верна нелюбимому мужу и отказывает Онегину, хотя любит его с детства. Я тоже сочувствую Каренину, но «мне отмщенье, и аз воздам» – пусть бог судит, а не люди.

– До бога не докричишься, ему нет дела до человека. Не в осуждение Анны, а в сопереживание ее несчастному мужу. Он – это я, я – это он.

– На Каренина ты не тянешь, как и я на его жену. Никогда я тебя не подводила, – успокаиваю его, как могу. – Наоборот, всегда защищала, когда на тебя наезжали. Романа никакого у меня в Грузии не было. Разве я виновата, что Нодар был в меня влюблен?

– Это ты была в него влюблена, но сказала мне об этом только недавно, когда он уже давно в могиле. Туда ему и дорога.

– Какой ты кровожадный! Там всем места хватит. Большинство человечества там, а здесь – меньшинство. А тогда я думала, ты знал, что я слегка втюрилась – что здесь такого? Тебе он тоже нравился. Мы так хорошо говорили с ним о «Задонщине», о «Слове о полку Игореве», о летописях, он переводил древнерусские тексты на грузинский.

– Но он не совал мне хер в руку!

– И мне не совал. Он просто расстегнул ширинку и вынул член.

– Как это ты ухитрилась разглядеть в темноте его шишку? Это же было ночью в машине, когда нас разъединили на этой клятой свадьбе в горах у сванов, сам, идиот, напросился! Ври да знай меру. Ты сама сказала, что он взял твою руку, ты ничего не подозревала, думала, что он дружески, пока у тебя в руке не оказался его член. «Похож на твой». На мой? На пригляд? Наощупь? Или? Похож на мой у тебя в руке или на мой у тебя во влагилице? И как часто ты брала мой член в руку? Всей пальцескопией занимался обычно я.

-- Я сразу отдернула руку. Нодара совсем развезло. Машину остановили и вывели его блевать.

-- А после в жопу пьяный он протянул тебе член, похожий на мой, чтобы ты его отсосала? Сама так сказала.

-- «Отсосала» я не говорила. Об этом и речи не было. Я никому не отсасывала. Даже тебе. И делать это не умею и учиться не хочу. Член – это совсем не то, что мне хочется в рот.

-- А что он от тебя хотел? Чтобы ты восхитилась эстетикой его пениса? Как у твоего любимого «Давида». И почему ты мне рассказала эту историю только через два месяца, когда он приехал к нам в Москву с ответным визитом, и я собирал на него гостей, но никто не хотел идти из-за его подмоченной репутации. Оказывается, он еще автор каких-то соцреалистических пьес. А я еще, уламывая друзей, говорил, что это его тезка: мало ли Нодаров в Грузии! Такой, как он, один: сочетание советского карьеризма и восточного интриганства.

– Не только. Настоящий интеллигент, влюбленный в русскую литературу. Но у нас на кухне в Москве он как-то потускнел: ну, чисто, пентюх. Да и выговор у него стал какой-то очень уж грузинский, с сильным акцентом, которого я не замечала в Грузии. Там у всех такой акцент – вот и не замечала. Будто он хромал не только на ногу, но и на язык.

– Ах, да! Я и забыл, что Нодар прихрамывал, как другой твой дружок – университетский парторг, тот еще козел был! Грузинская влюбленность по аналогии с университетской: оба – колченогие! А школьный учитель, твоя первая любовь? Что ты в нем нашла? Еще тот интриган, собственного покровителя вытурил с кафедры, потому что тот еврей и беспартийный.

– Он сам был еврей, да еще какой! Типичный, с типичной фамилией!

– Зато коммунист и по паспорту проходил за русского, хотя на самом деле наполовину русский еврей, на другую – итальянский еврей, дедушка из гарибальдийских тысячников, которые после разгрома приплыли на утлых лодочках в Крым и переженились на еврейках аборигенках.

– Откуда ты знаешь?

– Я на всех, в кого ты влюблялась, досье собрал. В душе макаронник, по паспорту русак, чистокровный еврей, с недовырезанными полипами в носу, а потому как бы с французским прононсом. Да еще лупоглазый и с ранней лысиной. Самоуверенность нувориша. Хороший еврей лучше хорошего христианина, плохой еврей хуже плохого христианина. Общеизвестно. Что ты в нем нашла?

– Ты не понимаешь! Луч света в темном царстве после той мерзопакости, которая была дома. А как он сам увлекался и нас увлекал разговорами о литературе, музыке, живописи. Я ходила на его уроки как на праздник. Как ты всё упрощаешь! Пусть он делал карьеру, но был предан своему итальянству и всю жизнь переводил «Божественную комедию».

– Представляю, как он перевел! С его-то вкусом.

– Ты читал?

– А ты читала?

– Чего ты к нему сейчас прицепился? Уж с ним я точно не спала!

– А с кем спала?

Заводится с полоборота.

– Я всегда была взбалмошной девицей и витала в облаках.

– Но что за вкус у этой взбалмошной девицы! Все как на подбор. Что ты в них нашла? А спустя еще четверть века я узнаю, что ты была влюблена в Нодара.

– Влюблена – не значит спала. Легкий флирт ничего не значит, никакого отношения к сексу. Каждый понимает в меру своей испорченности. И одержимости. А ты одержим ревностью, всё сводится к тому, кто, кроме тебя, побывал у меня между ног. Вот и дергаешься. Ты сумасшедший.

– Сойдешь с ума, когда вокруг недомолвки и ложь. Флирт – преамбула к сексу.

– Не всегда. Чаще всего он сам по себе. Кто бы я была, если бы трахалась со всеми, кто со мной флиртовал или я с ними?

– Шалава.

– Но ты же сам знаешь, что я не шалава.

– Не в том дело. Ты сама еще не устала от своего двуличия? Почему ты не сказала мне сразу же, на следующее утро?

– Боялась. Я же знаю тебя. Как что, в бутылку. А мы на чужой земле: международный скандал, война между Грузией и Россией началась бы еще раньше. Ты там работал, а нас бы поперли.

– Понимаю, тебе не хотелось расставаться со своим любовником!

– Он не был моим любовником. А после этой истории в машине ничего, кроме отвращения, не вызывал.

– Не уверен, что ты его разлюбила только за то, что он дал тебе потрогать свой член. А если наоборот? Ты сказала, что втрескалась в него, потому что он приволакивал ногу, как твой университетский профессор, в которого ты тоже была влюблена – Нодар после инсульта, а профессора ранило во время войны. Зато Нодаров член был похож на мой – велика честь! Ты что-то путаешь, дружок. Это я трогал, щупал, ласкал, слизывал твои гениталии. А ты – мои – никогда. Вот что меня сводит с ума: где ты обнаружила сходство его члена с моим – в своей руке или в своей?..

– Кретин! Он там никогда не был!

– Где бы он ни был, он знал, что ты промолчала и заодно с ним в заговоре против меня. Даже если принять твою версию – любую из них: пассивное участие в гнусном заговоре. Предательство хуже измены. Даже без измены.

– А какое еще может быть предательство мужа, кроме измены? Что-то я не секу.

– Влюбленность.

– Что бы ты предпочел?

– Но не измену с влюбленностью! Это уже полный здец.

– Для тебя любая измена – предательство.

– Особенно со знакомым. А меня за пентюха держите, как тогда в Грузии. Оба-два знали то, чего не знаю я. И это знание – самого интимного свойства. Через гениталии. А для тебя всё трын-трава.

– Не всё. Мы о разном. Ты о сексе, я о влюбленности.

– В кого ты только не влюблялась! Навалом! Влюбленность – это похоть.

– Нет, это чистое, платоническое чувство. Самое сильное в мире. Куда до него плотскому желанию. Я и думать не могла о сексе, когда была влюблена.

– А о чем ты думала, если не секрет?

– У тебя все на генитальном уровне.

– А у тебя на каком?

– Тебе никогда не понять, что такое влюбленность.

– Уж куда мне! Ни в кого не был влюблен, а всю жизнь любил одну врушу. И моя первая и единственная любовь одолела все твои влюбленности, хоть мы и понимаем под этим словом разное.

Лезет в свою Вику и читает мне:

– Влюблённость выражается в интенсивной потребности к сближению с другим лицом, сопровождаемое физическими симптомами. Основными причинами взаимной влюблённости выступают обоюдная симпатия и физическая привлекательность. И вот – краткая дефиниция: половое влечение. Если хочешь, это совпадает с древней еврейской традицией – извини, что ссылаюсь: мнение моих предков для тебя не указ.

– Нет, почему же, – успокаиваю его. – Интересно. И что же твои праотцы считали?

– Не смейся. Они различали три состояния души: влюбленность, страсть, любовь. Ну, страсть, понятно – желание. Нечто противоположное любви – ее антоним. Страсть – стремление к обладанию, любовь, наоборот, – к отдаче. И где-то промеж них влюбленность. Согласен, чувство романтическое, первый порыв души и всё такое, в нем есть, согласно нашим мудрецам, неосознанное духовное начало, но оно куда слабее физического. Может, тоже неосознанного. Как у тебя. Похоть примешивается к чувству или чувство примешивается к похоти – не знаю. Тебе виднее.

– В наше время мы называли влюбленностью совсем другое. Это кратковременное чувство. Я влюбчива, но отходчива.

– Ну да! Принца ждала, а сама без удержу мастурбировала, ломая себе целку собственноручно, если только тебе не порвал ее тот целинник в Питере.

– Может и сама, – думаю я вслух, вспоминая, как бешено дро-

чила, когда пришла пора. Совершила то, что положено по правилам мужчине? Хотя какие тут правила.

– Скорее все-таки ты, – успокаиваю его. – А рукой или членом – откуда мне знать? Скорее членом. Хорошо помню – один раз была такая тупая боль внутри, – говорю, чтобы сделать ему приятно, хотя, по правде, сама не заметила, как стала женщиной. И когда? Может, в детстве? Ни боли, ни крови – ничего такого. Он говорит, что я могла и забыть, но мое тело помнит: бессознательная память вагины.

Как так?

– Почему внутри? – ловит он меня. – Девственная плева расположена ближе к поверхности.

– Ты уверен? Даже если так, ты мог ее растянуть – вот она и порвалась где-то там в глубине. Откуда я знаю? Я, что, гинеколог? Сходи к гинекологу.

– Ужé. Он говорит, что плева бывает четырех форм, одна очень растяжимая, боль и кровь при первом сношении необязательны.

– До чего ты дошел – советоваться про меня с гинекологом! Псих!

– Я бы предпочел свести тебя к гипнотизеру и задать один-единственный вопрос. Ты знаешь, какой. Или детектор лжи. Выбирай.

– Еще чего! Гипнозу я не очень поддаюсь, а с детектором лжи возможны ошибки.

– Отказываешься?

– Зачем? Я сама про себя всё знаю.

– Зато я не знаю.

– Не могу тебе ничем помочь.

– Не хочешь! Распорядиться своей жизнью – это покончить с жизнью. Лично я опоздал с самоубийством.

– Я не говорила «распорядиться». Другое слово.

– Ты пользуешься моей глухотой. На правое ухо, – напоминает он, потому что я путаю и часто раздражаюсь: «Какая разница, с какой стороны я сижу!» – Или это была слуховая галлюцинация? Ладно «жизнью». Что это меняет? У тебя нет моральной реакции на собственный аморализм. Никакой! Предательство хуже измены, а хуже предательства – ложь. Даже если это ложь во спасение. Монтень считал ложь самым гнусным пороком.

– Мало ли что считал твой Монтень? Он, что, истина в послед-

ней инстанции? Не дави на меня авторитетами. А про тело я ничего не говорила.

– Пусть так: не говорила. Но проговорила. Весь смысл в проговорах. А *guilty mind betrays itself*. По-нашему, на воре шапка горит. Ты права, проговорившись: нельзя любить платонически, виртуально, метафизически, – настаивает он. – Тело – это то, чем любят. Ладно мне, но не лги хоть самой себе.

Ложь – подпитка если не счастья, которого все равно нет, то любви, которая то ли есть, то ли нет, кто ее знает. Чтобы это были только физические импульсы и порывы? Или тайные сигналы души? А где она распложена, эта душа? Кто ее видел? Чем я любила в юности, когда меня всю трясло от желания? Тело, оно вот, его можно видеть, трогать, причинять ему боль или усладить. Все остальное – метафизика. Я сказала «тело», мое тело – не его собственность, какое ему дело, кто в нем еще побывал помимо него, но до конца буду стоять, что сказала «жизнь». Что было бы, если бы люди говорили друг другу одну правду? Подумать страшно.

Вечер испорчен, мы возвращаемся в мотель с шикарным видом на океан и молча укладываемся спиной к спине в огромной двуспальной кровати, где только и заниматься, что сексом. Мы оба любим это делать не дома, а в новых местах, прерывая семейную рутину. Я все еще надеюсь, что он повернется ко мне и начнет ласкать, а я ему откажу, но он будет со свойственным ему упрямством настаивать. Не нытьем, так катаньем. Как говорят китайцы в английском переводе, хоть это и про изнасилование: *relax and enjoy*. В конце концов, я ему всегда уступаю и, если даже нет оргазма, все равно хорошо. А что мне остается? Всегда любила секс. Сам по себе. Да, похотлива, хоть и всячески отрицаю, когда он говорит, что дня не могу прожить без секса. Ему бы всё обсказывать словами!

И еще он любит после таких скандалов целовать и облизывать меня там. Пусть даже в качестве проверки – думает, что я бы отказала, если бы там был кто-нибудь еще, а мне что – полный улет. Жду с полчаса, наверное, вспоминаю девичьи забавы и перехожу на самообслужу – это при живом-то муже! Слегка мастурбирую – так и засыпаю с рукой между ног. Наутро – он жаворонок, всегда встает раньше, но обычно ждет меня – его уже нет, и я брожу по пляжу одна – в лес, в дюны не тянет. Снимаю сандалии, волны набегают и лизнут

мои ступни. А то океан набрасывается как зверь, и окатывает все тело, если не успеваю отбежать. Страшно и хорошо. Возвращаюсь в мотель вся мокрая и соленая. Он любит слизывать с меня соль. Под душ или оставить до его прихода – не навсегда же мы рассорились. Как он все-таки нелеп в своих подозрениях всех и каждого – путем тыка. Кого он любит – меня нынешнюю или меня прежнюю?

Столько лет прошло: накрылась империя, где мы жили, и теперь это разные, даже враждебные страны: Россия, откуда мы тогда прилетели, и Грузия, где все это произошло и которую он с тех пор люто ненавидит и взял сторону Кремля в войне между этими странами. В отличие от меня: я соблюдаю нейтралитет. И какая это война – так, дворовая разборка. А что, собственно, там произошло, когда мы там были? Этого он не знает – потому и мучается. Теперь мы и вовсе в третьей стране на ПМЖ, натурализованные ее граждане, и время, помноженное на пространство, – это смерть, да и лет мне уже не так мало, чтобы с юношеской страстью и болью, как это делает он, переживать тамошнее – тогдашнее! – приключение, которое то ли было, то ли нет.

А что было? В том-то и дело, что мы оба оказались в экстремальной ситуации, где «было – не было» особой роли не играет. Это его и напрягает теперь. Было – не было, в любом случае он чувствует теперь себя униженным, а главное – преданным, без разницы, была ли у меня с Нодаром физическая связь. Увы, никаких прививок привыкания, никакого возрастного иммунитета от ревности нет, и на него время от времени находят ее застарелые приступы. Кто меня за язык тянул? Уж лучше бы тот грузинский эпизод так бы и остался случайным стечением обстоятельств, как он всегда считал. Когда я ляпнула о своей влюбленности в Нодара, он почувствовал себя Дон Кихотом, который прозрел перед смертью, и ему явилась истина. Точнее, мелькнула, задев его своим крылом, говорит он. Лучше бы я призналась ему в измене, в которой он сомневается – не сомневается, но услышать от любимой женщины, что она ему изменяла, было бы ему не только в горе, но и в сласть: чистый мазохист! А начать, как в том детском стишке: «Правда, было как-то раз, но я же не нарочно...» Что ему хуже – рассказать все или ничего не рассказывать? Не знаю. Тут у меня и прилипают язык к гортани: если это когда и случилось, то я сама считала измену – ну не преступлением, так проступком

или нехорошим поступком лично против него, да и не в моем стиле, но, будучи с детства малодушной и вшивой (он прав), предпочитаю помалкивать. Пока что. Как это говорится? Раскаяться никогда не поздно, а согрешить можно опоздать. Или неосознанный девичий флирт – это и есть похоть: когда женщина моего типа сама не знает, чего хочет, но добивается всеми силами?

Не то чтобы нимфоманка, но и не фригидка, без секса долго не могу, его регулярные вливания мне любы и ненавижу кондомы, с помощью которых, он считает, человек пытается перехитрить Бога: превратить акт зачатия в искусство ради искусства – в чистое, беспримесное, неутилитарное наслаждение. В этом плюс супружеского секса, но есть и минусы – прежде всего привычка. И когда он в неистовом и коротком соитии кончает раньше меня, остаюсь неудовлетворенной и недовольной, настроение испорчено на весь день, нервы так и гудят. До оргазма меня надо еще довести, и он немного владеет искусством тантризма, смотрит на часы и думает о чем-то постороннем, пока я не кончу, и он одновременно со мной, перестав отвлекаться, но иногда не выдерживает, на него накатывает волна невыносимого вдохновения, и он выплескивает в меня фонтан малофейки, а я продолжаю беспомощно двигать бедрами, но он, испустив мучительный, предсмертный крик, застывает на мне как труп, и – жалкое оправдание – шепчет мне: «Ты меня не догоняешь» или «Я кончился, а ты жива». Что-нибудь в этом роде – каждый раз новое. А я – ему: «Отдышись сначала». Но он уже отвалил: умер малой смертью. Рассмешить он меня еще может, а уестествить, ублажить – все реже и реже. Его сексуальная кривая не совпадает с моей, а его кульминация только еще больше возбуждает. Вот именно: не удовлетворяет, а только возбуждает. Я лежу с открытыми глазами рядом с его трупом и хочу еще – только бы не отгадал мои мысли. Иду подмыться и сама себя доуестествляю. Какие у меня оргазмы были в детстве, когда мастурбировала, до потери сознания, никакой партнер не нужен, а оказалось – нужен. Вот он и подвернулся: нужный человек в нужное время в нужном месте. Мог оказаться другой – дело случая. Я не выбирала.

Может, физиологически мы не подходим друг к другу, коли ему приходится прибегать к разным ухищрениям-отвлечениям? Однажды, когда мы расстались – он уехал с сыном, который, он

считает, мог быть и не его сыном, в Коктебель – я послала ему полное тоски письмо: «Хочу тебя как простая баба». А если я просто хотела – не его, а кого угодно?

Именно в тот его отъезд, истомившись, я позвонила его другу и нашему соседу, окно в окно, и спросила значение какого-то иностранного слова, которое тот не мог знать по определению, будучи писателем-самородком, но звонок понял по-своему, а, может, и правильно, что я ему делаю авансы, и отшил: по их восточным правилам, а он кавказской национальности, дружба превыше всего. И зачем я об этом рассказала мужу? Чтобы упредить друга-соседа? Но тот благородно помалкивал – соседские отношения как ни в чем не бывало.

– И кому еще из моих друзей ты предлагалась в мое отсутствие?

Одного – самого известного, на котором бабец буквально висли – муж почти не подозревал, хотя я точно в него втрескалась, но он, как и кавказец, тоже предпочитал не связываться с женами знакомых, тем более, его подруга изменила ему с его другом – *ménage à trois*, трагедия, известная из его поэзии, ее болевая точка и его *bêtenoire*, иде-фикс. Так ли уж он был стоек? А роль случайности в нашей жизни, тем более, сексуальной? Ладно, замнем для ясности.

Эта моя история – или истории? – вообще полна умолчаний. А что мне остается? Лучше оставить вопрос, чем поставить точку. Еще лучше – отточие. Незнание лучше знания. Американская поговорка: то, чего не знаю, мне не повредит. А кто сказал: я знаю, что я ничего не знаю? Пусть лучше хнычет и дергается, как трясогузка, чем кончает с собой, не дай бог!

Он до сих пор неутомимый марафонец, мне его легко возбудить, да и возбуждать не надо:

– Ты принимаешь виагру? – искренне спрашиваю его, когда он всаживает в меня с юношеской страстью.

– С ума сошла? Когда ты рядом, мне никакая виагра не нужна. Ты – моя виагра.

– Сколько тебе лет?

– Я – Вечный жид, – намек на его семитскую ненасытность.

Неистребимое семя! Даже жаль, что у нас только один сын.

А моя гиперсексуальность всегда выражалась опосредованно, сублимированно – я оттягивалась на том, что называла «влюб-

ленностью», вкладывая в это слово сугубо платонический смысл. Это я так считала, он – нет. Как знать? Да, моя влюбчивость делает его весьма уязвимым. Всё, однако, куда серьезней, чем он может представить. У него воображения не хватит. Он до сих пор не может привыкнуть, что я ноги нараспашку и впускаю его в себя. Тем более, – другого: у него крыша поедет. Может, из-за этого удивления его любовь ко мне? Говорит, что умрет со стоячим, представляя, как у меня расставлены ноги все равно перед кем.

Говорит, что лучше бы я призналась ему в измене, чем в своей влюбленности в Нодара, который, пользуясь оставшейся у него после крошечного карьерного краха властью – точнее, ее инерцией – проявлял по отношению к нам чудеса гостеприимства. Благодаря соцреалистическим пьесам его и взяли в грузинский ЦК – сначала зав. отделом, а потом секретарем по идеологии. Но это было уже в прошлом – мы застали его в период свободного падения с вершин власти все ниже и ниже.

Поскользнулся он на одной-единственной фразе, которую вставил в московскую речь своего шефа, грузинского сатрапа Эдуарда Шеварднадзе: солнце для Грузии восходит теперь не с Востока, а с Запада. Это надо же до такого додуматься! Муж прав: в своем советском низкопоклонстве Нодар дошел до непристойности. Гордые соплеменники презирали Нодара за лизоблюдство перед Москвой, для многих он стал нерукопожатным, он стремительно катился вниз по должностной лестнице, его взашей погнали из ЦК Грузии, и он был брошен в Союз писателей, где в наш приезд занимал пост оргсекретаря. Забегая вперед, это был не конец его служебного падения. Перед нашим отвалом в Штаты он был уже редактором русскоязычника «Литературная Грузия», рудимента советской империи – когда-то журнал славился первыми, после долгого перерыва публикациями Мандельштама и Пастернака (повод – оригинальные стихи вместе с переводами на грузинский), а при Нодаре окончательно захирел: муж считает – по причине его бездарности, а я думаю, из-за наступившей в Москве гласности, когда нужда в подобных провинциальных изданиях сама собой отпала: пастернаки и мандельштамы вовсю печатались в столице. Вот тут-то Нодар и ухитрился прославиться – точнее, ославиться – последний раз, написав в своем журнале фразу «Всего нашего столетия

не хватит, чтобы оценить значение Сталина», за что его и прозвали «Эверест сталинизма». Вот, вспомнила: это он был инициатором нашей поездки в Гори, на родину Сталина, где под стеклянным колпаком стоял ветхий домик вождя всех народов.

А удар с Нодаром случился после изгнания из ЦК, и он еле выкарабкался, припадал к земле и волочил ногу, и мне его было очень жаль. Чтобы я влюбилась в него по университетской аналогии? Последними крохами былого авторитета Нодар пользовался, чтобы принять нас по-царски. Не он один: Грузия известна своим радушием, застольем, хлебосольством, а муж считал – показухой. Тем более, он прилетел, чтобы написать пару текстов для центральной прессы. Фактически, приехал один, а я при нем – бесплатное приложение. Прихватил меня, чтобы не скучала в Москве и чтобы поразвлечь. Была ли у него дополнительная мысль держать меня при себе на поводке и чтобы ни с кем не путалась в столице, потому что не очень мне доверял, а одиночество, когда волной накрывало, я, в самом деле, переносила плохо? Если так, дал маху.

– В каком смысле – влюблена? Хотела потрахаться с ним?

– Дурак! Не умный, а глупый дурак! Ты не понимаешь, что такое влюбленность! Никакого отношения к сексу! Какие у тебя грязные и гнусные мысли. Какое ты имеешь право переносить их в мое прошлое? Зачем ты уродуешь мою юность?

– Какая юность! Тебе было уже двадцать шесть, когда мы прилетели в Тбилиси.

– Все равно! Влюбленность – это романтическое чувство.

– Как у Наташи Ростовской к Анатолию Курагину, да? Бога ради! Если я влюблен, у меня стоит: ванька-встанька. А у тебя – мокро в промежности. Мокрощелка.

– Неправда!

– Правда. Мы так устроены: у меня встает, у тебя течет. Вся разница.

– Это у тебя течет!

– У меня – после.

– И до. У тебя член слезу пускает, когда пару минут стоит без дела. Очень плаксивый, слезоточивый у тебя пенис.

– Чтобы легче в тебя войти. Чтобы обоим было комфортно. Всё предусмотрено. Хвала Богу.

– Так при чем здесь тогда я, если природа?

– Это зависит.

– Это у тебя зависит. Не сотвори себе кумира из своего члена. «I love my penis», как у этого поп-рокиста, как его...

– Робби Уильямс. Если я делаю культ, то из твоей вульвы, а для тебя она – вожатый. Вот я и говорю «голова». Синоним.

– А как же тот мальчик в ванной, который показывает на свои гениталии и спрашивает: «Мама, это мои мозги?»

– «Пока еще нет, сынок», – заканчивает он. – То, что ты называешь влюбленностью, есть похоть. Ладно, физическое влечение. Вожделение. Любострастие. Если не мысленно, так подсознательно ты примеривала минжу к тому, в кого была влюблена. Поражаюсь твоей небрежливости. Влюбленность! Я слизывал там корочку с твоих трусов, забыла? А твое междуножье звал «междуречьем»? Это ты все позабыла, а не я.

Это его семейный аргумент – он боготворит меня всю, с головы до ног, а моя вагина, да, была святыней для него. Даже после того, как он решил всунуть свой многотрадальный член в мое многотрадальное лоно. До сих пор.

– Я все помню и благодарна тебе за все. После того, как отец, напившись и самоутверждаясь, размахивал перед нами с мамой своим фаллом, я возненавидела ваши члены. Если бы не ты, я бы, наверное, стала лесбиянкой.

– Еще не поздно! И не строй из себя невинность! А твоя членофобия не превратилась случаем в членоманию?

Мания, не мания, но дышу неровно. Даже в балете, не отрываясь, гляжу на то, что у танцора выпячивается спереди, а он меня успокаивает, что они специально подкладывают для таких вот нимфоманочек, как я, хотя на самом деле, чтобы не поранить драгоценное свое хозяйство во время шоу. А уж в кино с мягким порно пялюсь на мужские причиндалы, паче в зале темно. Да и когда светло, задерживаюсь около мужской обнаженки на вернисаже, делая вид, что оглядываю всю фигуру, но не могу оторваться от детородного органа. Микеланджелов Давид меня с юности завораживал – понятно, чем. Да, благодаря мужу, перестала испытывать священный ужас перед фаллосом, в который превращается эрегированный пенис, но вспоминаю теперь голого

отца, которого больше всего ненавидела за его огромный хер, которым он угрожал мне, со странным, смешанным чувством. Отец был красив, член синий, красный, ужасный, но стыдно сказать: само воспоминание возбуждает.

– Что ты порешь! – кричу я, сама не своя от стыда.

– А то, что слышишь! Зачем ты мне все это талдычишь про большие пенисы – все равно у кого: у балеруна, у киноактера, у твоего отца или твоего сына?

– Ты еще к сыну будешь ревновать!

– Это не ревность, а брезгливость к твоему свихнутому на членах сознанию. Да, ревную – к твоему отцу. Даже если тебя не касался, он – твой первый мужчина: ты вышла из его семени. И к сыну ревную, потому что он при любом удобном случае предстает перед тобой голым, а ты любишься его членом и рассказываешь мне о своих впечатлениях.

– При чем здесь я, если он эксгибиционист?

– С тобой. Почему-то со мной трусов не снимает. Могла бы хоть отвернуться.

– У тебя, что комплекс неполноценности по отношению к собственному сыну? Он же тебя всегда любил больше, чем меня. Как он обцеловывал твою фотографию, когда ты уезжал. Нет, ты совсем спятила.

– Это ты спятила на генитальной почве. Мог ли я предположить такое? То, что для меня свято, зудит, как оспа, и источает влагу не только для меня, а для любого встречного – поперечного? Твоя влюбленность – это зуд и течка известно откуда. Все остальное – надстройка, вымысел и художество, Песнь песней и Ромео с Джульеттой. Какой же надо быть ханжой, чтобы похоть называть влюбленностью! А похотливее тебя бабы не встречал – не в упрек тебе буде сказано. Нормалек. Иное дело моральная чистоплотность – как можно было предлагаться моим приятелям?

– А где мне других мужиков взять? – молчу я.

– Да никому я не предлагалась! – говорю.

– Предлагалась. И тогда уже все зависело не от тебя, а от того, кому ты предлагалась: принять предложение или нет. В тебе удивительное сочетание бесстыдства и ханжества.

– Ни того, ни другого.

– А в Грузии и вовсе стала отвязной.

– С какого такого перепугу?

Разговор глухонемых – вопрос на вопрос:

– Почему ты раньше не говорила, что была в него влюблена?
– вертает он к Нодару, который давным-давно у себя в Грузии в могиле.

– Так это же временно.

– А что не временно?

Мой обычный аргумент:

– Сейчас-то что? – и чувствую, что опять сказала что-то не то и тороплюсь утишить его подозрения.

– Почему ты не даешь прошлому умереть?

– Помнишь фильм Хичкока про меня? «39 ступенек»?

Делаю большие глаза:

– Ты – 39 ступенек?

– Я – Mr. Методу. Если умрет прошлое, умру и я.

Нет, у нас совершенно разные понятия о времени. Для меня прошлое мертвее мертвого, а для него любое, самое далекое – неуничтожимо и актуально.

Вчера для него – это сегодня. Прошлое как настоящее. Говорит, что человек умирает, а его прошлое живет: «Прошлое переживет нас – куда ему деться? Не с нами же в могилу. Там для него и места нет. Тесно». Как так? Прошлое сильнее смерти? Что он всё так переживает, хотя кардиолог предупреждал, зная его необузданную натуру: никаких стрессов! Опять я во всем виновата!

– За кого ты меня принимаешь? Что я курва какая-то?

– Нет, конечно, курвой тебя никак не назовешь. Но ты моложавая, интеллигентная, образованная, талантливая и красивая – красивая навсегда! – хоть и безвольная женщина, увлекающаяся, влюбчивая – не так чтобы без памяти, но при частом и тесном общении, как с Нодаром в Грузии, довольно сильно и даже до ослепления. Не очень соображая, кто есть предмет твоего обожания. Надо же, как на подбор: отпетые карьеристы, которые маскируют свои служебные амбиции под нечто совершенно противоположное. Одному богу известно, почему тебе везет именно на таких типов. Один говнистее другого.

Да, было дело: старшеклашкой вздыхала по учителю, само

собой, литературы, он нашу же школу кончал, но на десять лет раньше, а потом институт, армия, снова институт, по окончании которого его и распределили к нам. Я училась тогда в восьмом, самый раз для таких вот учителей – нет, не литературы, а жизни. Девчонкой была, откуда мне знать, что он за человек, хотя постепенно стало доходить, что он вешает всем нам романтическую лапшу на уши, ребята размечтались и испоганили себе жизнь, подав заявления во всякие там гуманитарные заведения с их непотизмом и кумовством, куда их, понятно, не приняли, хотя по наклонностям были технари не без способностей. Да, бес и совратитель. Но что-то в нем все-таки было. На уроки литературы приносил пластинки с Рихтером и Обуховой, диапозитивы с картин Левитана, читал нам Фета и Мандельштама, которые ни в какую школьную программу, понятно, не входили. Да, меня с ним что-то связывало – я была его лучшей ученицей, он читал мои сочинения всему классу вслух, а об одном шепнул мне на перемене: «Это лично мне», воспринимая как признание в любви, каковым оно, наверное, и было, не помню. Правда, меня несколько обескуражило, что он, будучи членом педсовета, не добивался для меня золотой медали, которую я заслужила, тогда как влюбленный в меня одноклассник (где он сейчас?) нажал на своего отца-полковника, а отец, нацепив на грудь ордена и медали, отправился в гороно качать права для незнакомой ему девчонки, из одного только чувства справедливости – и таки выкачал для меня медаль, а я за ней даже не пришла, потому что была после школы в полном раздрызге: как дальше жить? Представить не могла. Без школы, без всего этого романтического флера, без моего ВГ, как мы его называли одними инициалами. Как и многие влюбленные, я была уверена, что он отвечает мне взаимностью. А как иначе? А потом выяснилось, что в армии его развратили – «лучше нет влагилица, чем очко товарища»: каким бы не была на самом деле моя школьная влюбленность, ей по любому суждено было остаться платонической. Выручил университет, где я сразу же втюрилась в преподавателя французского, а он – в меня. Какое мне было дело до того, что он парторг всего МГУ? Любовь зла. Влюбленность – того хуже.

Хотя неправда – козлом не был, даже монографию о Роллане издал, дружил с его русской женой. А посмертно, увы, остался как переводчик второразрядных французских детективов в период

гласности, когда его из университета турнули. И ногу приволакивал точь-в-точь, как Нодар: вернулся с войны подранком – осколок изуродовал стопу. Кирзятников тогда принимали в любой вуз без никаких экзаменов, тем более партийных. Говорил, что учился в университете до войны, а на войну пошел добровольцем со второго курса, но мой умный-глупый дурак считал почему-то, что это self-myth. Как-то – я уже была замужем – позвонил, долго говорил с мужем, какие-то были у них общие литературные интересы, но я до сих пор уверена, что звонил мне, а позвать постеснялся: застенчивый. Не на того напал, вот и выкручивался полчаса. Дальше взглядов, разговоров и касаний у нас не пошло – у профессора как раз перед этим была история со студенткой, которая забеременела от него, сделала аборт, а потом повесилась: скандал замяли, в университете его оставили, но с партторгов сняли. Об этом только и речи тогда было, само собой, я оправдывала моего «роллановеда», тем более, его жена, средней руки, то есть никакая, поэтесса, была калекой, это был фронтовой брак, а теперь он за ней честно ухаживал, но вряд ли был физически близок. «Откуда ты знаешь?» – спрашивает меня муж. «Все это знали. Он был тогда притчей во языцех». А не будь этой истории со студенткой-самоубийцей, он был бы со мной посмелее? А я? Не знаю. Между нами лежал труп той несчастной идиотки.

А мой глупый-преглупый дурак всё помнит и мне напоминает. Как будто у него своей жизни нет – вот он и живет моей. Его реакция на мою девичью и пост-девичью жизнь простейшая: как ты могла?

– Как ты могла трахаться с кем-то еще, кроме меня? – так и не срывается у него с языка, а я держу его в неведении, и он не знает, моя ему измена – реальная или воображаемая? Он ничего точно не знает, зато фантазирует всюю. Его дело.

– А как я могла трахаться с тобой? – держу я наготове ответ на незаданный вопрос.

А другой – тоже молчаливый ответ:

– А как я могла трахаться только с тобой?

– Нет, скажи все-таки, какое к тебе отношение имеют мои приятели? – нудит он. – Одна только надежда, что у них мораль выше, чем твоя. Как один тебя развернул спиной к дверям и выгнал из дома: «Дождись возвращения своего мужика».

– Утрируешь. Я и не была у него, а только позвонила по телефону. Окно в окно, он ходил, как затравленный зверь. Вот и пожалела его. При чем здесь секс?

– Нет, ты подумай, какое у него с тех пор о тебе представление!

– Он всё понимает на свой манер. Как он за женой гонялся с ножом по всей квартире из ревности. Еще хорошо, ей удалось убежать на лестницу, и она четыре дня пряталась у верхних соседей.

– Ты хочешь сказать, что остальных тебе удалось уболтать? Не преувеличивай своих женских чар, милочка. Тем более, на исходе.

– Грубо. Ты тоже не первой свежести. И выглядишь старше меня. Тебе изменить не грех, а благо, – смеюсь я, чтобы разрядить обстановку.

– Грех не случается, а совершается, – говорит он загадочно.

– В чем разница?

– Для особо одаренных: грех – не случайность, а свершение. Пока не станет привычкой.

– Как так? – все равно не понимаю я.

– Кроме меня, тебя никто не любил, а если хотел, то только трахнуть, без никаких обязательств на будущее. От тебя исходили флюиды похоти. Вот мужики и шли как кобели на запах сучки во время течки. Вот что такое твоя влюбленность. Течка, – говорит он с надрывом.

– Ну и примитивный же ты!

– Нет сил терпеть – иди на улицу и сними клиента, а моих друзей не тронь, – распаляется он. – Сказать правду? У тебя комплекс моей неполноценности, а потому ревную только тех, талантливее меня, а один и вовсе гений. Ты знаешь, о ком я. Хотя каждый из нас мнит себя гением, путая вдохновение с талантом, но по гамбургскому счету гений среди нас был один. Непризнанный общепризнанный гений. Его тогда у нас не печатали, а он выпрямлялся благодаря давлению на него.

– К нему ты тоже ревнуешь?

– А ты как думала? Хотя он не из таких.

– Ты так думаешь?

– Дядя самых честных правил. В смысле с женами друзей – ни-ни. Хотя не могу сказать, что тот был у мужа совсем уж вне подозрений. Это была ревность впрок, как у Отелло к Кассио. Не

пойму, он меня, что ли, сам подначивал, провоцировал, подталкивал, подсказывал?

А спустя полгода, наверное, незадолго до отвала того за бугор, говорит мне:

– А наш гений один раз промахнулся и теперь сам жалеет. Моральный дискомфорт.

– О чем ты?

– Нарушил седьмую заповедь.

Делаю большие глаза, будто ничего не понимаю.

– Ну, ты даешь! Ладно бы остальные, но именно эту тебе надо знать наизусть. Как раз о промискуитете: не любодействуй! Одно ему оправдание – она сама уложила его в койку. У него от женщин отбоя нет.

– И ты знаешь, с кем?

– А что это тебя так разволновало? Ревнуешь? – ловит он меня.

– Ну, он мне весь интересен. Как и тебе. Сам говорил, что влюблен в него.

– Мы оба влюблены. От него исходит эманация гения. Аура. В него нельзя не влюбиться. Тебе интересно, с кем он один-единственный раз пошел против собственных правил, не говоря о библейских?

– А тебе откуда это известно?

Горячо. Почему его так тревожат мои гостеприимно распахнутые ляжки? А как иначе?

– От него и знаю. Как-то прилюдно, хоть и в узкой компании, на одном мальчишнике, каялся, когда зашел разговор на эту вечно горячую мужскую тему. Говорит, с женой какого-то приятеля-музыканта. Хорошо, что я не музыкант: медведь на ухо. Если только это не иероглиф. Кто его знает? Лучше бы он этого не говорил. Вокруг женатики, всем стало как-то не по себе – при его успехе у баб, ему бы каждая дала. Вот ты, например? – смотрит на меня вопросительно то ли с подозрением.

– При чем здесь я?

– И тут вдруг, ни с того ни с сего, про общую знакомую имярек, которая, как и ты, витает в эмпиреях, мечтательно-цинично: «Хорошо бы ее поиметь». – «А я ее как-то отъюзал», – говорит один из нас. Не я, сама понимаешь. – «Ну и как?» – спрашивает гений. –

«Ничего особенного. Как прекрасен дальний замок – приближаться нету смысла». – «Живописен дальний замок – приближаться толку нету», – раздраженно поправил его гений, но я так и не понял, на что он раздражен – на неточность цитаты или на то, что недотрога оказалась дотрогой? Да еще дала его литературному сопернику, хотя какой он ему соперник? Зато того повсюду печатали, а гения – ни-ни.

– Какие вы циники! – искренне ужасаюсь я. – И предатели. Ничего святого. Скоро дойдете до того, что будете шантажировать женщин, с которыми переспали.

– В любом случае, мой комплекс неполноценности – не мужской, а эстетический. Окружен людьми более одаренными, чем я. Зависти – ни в одном глазу. Но видел себя твоими глазами – как ты сравниваешь меня с моими друзьями. Не в мою пользу. Я об этом как-то сказал Довлатову, а Сережа у меня спёр: у моей жены комплекс моей неполноценности.

– Боюсь, я для тебя – предмет художественного исследования. Вот ты и строчишь свою ревнивую прозу, заставляя меня играть женские роли.

– Ты подходишь под любую! Не только в моих книгах, но и в чужих – книгах, фильмах, спектаклях. Всех героинь примериваю на тебя. По аналогии.

– Как мне надоела вся эта хренотень. Хочу быть самой собой.

– То, что невозможно изменить, нужно хотя бы описать. А ты напиши свою прозу – только всё, как есть!

Что я сейчас и делаю. Чтобы тайное стало явным. Хотя бы на бумаге.

– Представь, что в параллель «Былому и думам» своего мужа, Наталья Александровна написала свои воспоминания об измене ему с Георгом Гервегом. Эдакий гендерный перевертыш. Сделай то, что не сделала она. И дай почитать.

– Еще чего! Даже если напишу, почитать ни за что – никому.

– Я сам напишу. Вместо тебя и от твоего имени. И подзаголовков уже есть: «Сцены семейной жизни». Или еще лучше: «Женский рассказ на фоне мужской ревности». Можно и короче: «Гендерный перевертыш».

– Ты повторяешь ошибку всех ревнивцев, – говорю я. – Бес-

смысленно делиться ревностью с объектом ревности. Все равно, что еврею шпрехать об антисемитизме с антисемитом.

– Это звучит как признание.

– В антисемитизме? – смеюсь я. – Чурбан! Это твое свойство – чурбанизм. Меняй фамилию на «Чурбанов». Глухой и слепой. Так и не понял, что влюбленность – платоническое, духовное чувство, когда хочется обнять весь мир.

– А вешалась на шею любому.

– Пошляк!

– Что пошлого я сказал? Было бы неестественно, если бы ты тогда об этом не думала? С утра до вечера и особенно с вечера до утра.

– С вечера до утра я сплю. В отличие от тебя, у меня нет бессонницы.

– А когда засыпаешь? Когда просыпаешься среди ночи и ко мне льнешь? По утрам? Сама говорила, что лучший секс – утренний, в полусне. А тут рядом оказался такой отборный самец, а ты в самом соку – созрела для любви. По статистике, дефлорация происходит от пятнадцати до девятнадцати лет, а тебе было двадцать, когда ты отбыла в Питер. Как тебе удалось до такого преклонного девичьего возраста доносить свою плевую?

– С трудом, – говорю правду. -- Задержалась чуток. Перестарок. У меня всё было с задержкой, первая менструация только в семнадцать, меня от физкультуры даже не освобождали, а все в классе кровоточили уже во всю и меня дразнили, что я недоразвитая.

– К тому времени месячные у тебя уже были – с тобой невозможно было общаться в те дни. До сих пор в критические дни к тебе не подойти – фурия.

– Ты забыл, как однажды меня назвал? Менструальной сукой.

– Ты меня достала. Камень могла вывести из себя. Но все равно – бога ради прости. Моя вина. Здесь все ясно как божий день, а вот с твоим петербургским приключением темно, как в космосе. В Питер ты отправилась, готовая к подвигу любви без разницы, с кем. Ты была подготовлена к первому соитию и мной, и природой. Вот твой Сашок и пошел на опережение. Уж он-то знал, как подойти к таким целочкам, как ты! Говорил он тебе «Мы любим друг друга»? Сама мне написала. «Ты хочешь того же, что я». Разве не так?

– Так это же он – мне, а не я – ему!
– А неделя молчания. Ни строчки!
– Я тебе уже все написала. Всё, как есть. Как было.
– Вот именно. На пределе искренности. То письмо и есть замуфлированное признание в грехе. Как я тогда не врубился! Оно всё состоит из девичьих эвфемизмов. Точнее – бывшей девицы. Как в том стишке :

*Не грусти, что мы сохнем, старик,
Мир становится сочным и дерзким,
Всюду слышится девичий крик,
Через миг становящийся женским.*

– Не шедевр!
– Зато в самую точку. Вот ты и писала тогда, по принципу «черного и белого не называть». Не сообщать же прямо, что вы перешли заветную черту, и девичий крик стал женским. Не твой стиль. И ты была в полном праве – это высшая страсть, никакого удержу, почему ты должна упускать свой шанс? Но я должен знать. Муж я тебе или не муж? Договаривай, наконец, до конца! И почему ты вдруг перестала писать?

– А что писать? Я же уехала раньше времени. Жизни от него не было. Хотела написать, но я приехала бы раньше письма.

– А когда вернулась, не пожелала со мной встретиться. Он был прав – вы хотели друг друга.

– Это не значит, что до этого дошло!

– Вот ты снова прокололась! И захлопнулась.

– Да не дергайся ты! И не цепляйся к словам. Есть разница. Ты придаешь смутным желаниям значение свершившегося факта. Секс у тебя пунктик, ты на нем малость сдвинут по фазе...

– Не малость.

– Вот именно! А ревность превратилась в манию, культ девственности, как у первобытных племен, хотя целибат в наше время – не актуальный драйв. Ты даже сына заразил своей дурацкой ревностью, он хочет развестись с женой, а было не было – все равно: он просто начитался твоей ревнивой прозы – вот и слетел с катушек.

– Еще вопрос, кто кого заразил. Станным образом у нас это

совпало. На всякий случай, сбросил ему эсэмэску, что вся моя ревнивая художка – плод воображения, а тебе верю на все сто. Пусть это и не так. А что если наоборот? Его ревность отбрасывает обратный свет на мое ретро, на застарелую и хроническую ревность, берedit старую рану, и я переживаю его ревность как свою собственную? Ты даже не представляешь, как унижительна ревность, все эти спазмы сомнений. Зачем ты проговорила вдруг о своей влюбленности в Нодара – по твоим словам, платонической, но откуда мне теперь знать, что на самом деле? И всё за моей спиной. Помнишь у Шекспира, доверчивость расчищает дорогу заговору? Это не про Юлия Цезаря, а про меня. То, что я счел тогда за случайное стечение обстоятельств, был заговор, и чувствую себя теперь униженным, оскорбленным и преданным, а что между вами было – мне до фени. Что измена, ложь, фуфло, кидалово по сравнению с предательством? Ты меня дико подвела.

– Ну, уж дико, – думаю я. – То, что ему неизвестно, не существует. И почему, почему, почему я должна ему всё выкладывать? Нет таких правил.

– Чем это я тебя подвела? – говорю.

– Сама знаешь. Я – не единственный твой хрен. И ты знаешь, что я это знаю.

– Пытаешься меня загипнотизировать? Зря стараешься – у меня иммунитет к гипнозу, сам знаешь.

– Весь вопрос, трахалась ты с имярек до или после?

– А что бы ты предпочел? – не выдерживаю я. – Измену или предтечу?

– Измену.

– Ты это сказал!

Почему предшественник сводит его с ума больше, чем любовник? Знаю, знаю, но молчок.

Окончание – в следующем номере

Владимир Соловьев – русско-американский писатель, эссеист, журналист, мемуарист и политолог. В одиночку и в тандеме с Еленой Клепиковой напечатал сотни статей в престижных СМИ по обе стороны океана – от «New York Times» и «Wall Street Journal»

до «Московского комсомольца» и «Независимой газеты», и издал немало книг. Среди них «Yuri Andropov: A Secret Passage Into the Kremlin», «Inside the Kremlin», «Boris Yeltsin: Political Metamorphoses», «The Paradoxes of Russian Fascism».

Острые и парадоксальные, на грани фола, произведения Владимира Соловьева – такие, как написанная еще в России горячая исповедь «Три еврея», роман-биография «Post mortem. Запретная книга о Бродском» и исторический роман о современности «Семейные тайны» – неизменно вызывают шквальную полемику в среде читающей публики.

В последние три года выпустил в Москве десять книг, включая мемуарно-исследовательское пятикнижие «Памяти живых и мертвых», предсказательную книгу о Трампе задолго до его победы на выборах и «США – pro et contra. Глазами русских американцев».

Постоянный автор журнала «Времена».

Наталья ПИСАРЕВА

**ПЕРЕЧИТЫВАЯ «ВЕНЕЦИАНСКИЕ СТРОФЫ»
ИОСИФА БРОДСКОГО**

1.

Иосиф Бродский

Открыть чернила, взять перо и вновь, Иосиф,
забыть о том, что дождь по стёклам серебрится,
и что закат так нежно абрикосов,
а вечер тих. Перевернуть страницу.
Ах этот миг взаимных одиночеств,
он нас узнал, накрывши книжной пылью,
когда у будущего нет финальных строчек,
а настоящее срослось корнями с былью.
И где-то там Дворец венецианский
тоскует в полночь по теням ушедших дождей,
и спит канал вдоль улочки голландской,
хоть чем-то на Венецию похожей.
А где-то здесь, перечеркнув пространство,
что обживает сумрак постепенно,
пока ещё с завидным постоянством
пишу, надеясь на созвучие Вселенной
к тебе? К себе? Из «строф венецианских»
тяну по ниточке на собственную пряжу.
И вновь твой книжный город итальянский
зовёт пройтись по площади бумажной,
чтоб оказавшись в сказочной гондоле,
припомнить звук весла, к воде манящий,
и голос слышать днём в зовущем хоре
колоколов, чей звон окутал башню
Святого Марка, где святою мерой

отмерят срок свой каждой божьей твари,
что каждым вздохом продолжает верить,
той верой, по которой нам воздали
под этим солнцем или где-то ближе,
где выпадает жить пока что все.
(Поскольку там, где мы прожили жизнь, не выжить,
хоть здесь знакомый контур нарисуем
или напишем). Что пером, что кистью –
эффект один и тот же – мы всё те же –
вот только всё сильнее горечь истин
и чудеса случаются всё реже.
И в городе, что сам – тысячелетье,
забыв отметить точку невозврата
играет с нами прошлое столетье
в свой карнавал, перебирая даты
и этим возвращая неизбежность
не повторений, нет, воспоминаний,
когда тебе уже любая местность
становится особенно желанней
иной привычки, на которой время
и даже быт оставили примету,
и крикнув: «Здравствуй, нынешнее племя!...»,* –
поймёшь, что расставаний больше нету,
а есть, накрывший всех, небесный купол
с меняющимися форму облаками –
движенье – и другой сюжет придуман,
где мы являемся лишь частью старой драмы
и мир закручен – верх и низ – спиралью,
чуть прикоснёшься – обрываешь струны,
а весь финал перемещён в реальность
дорожки – то ли звёздной, то ли лунной –
там в хрупкой тишине скользит гондола
по водной глади, обращая в вечность
и ночь, и спящий город, на котором
свой взор остановила бесконечность
старинной книги, что скучать осталась
на мокром подоконнике вчерашнем.

Ну, а пейзаж запомнить? Что за шалость?
Он был и будет. И продлится – дальше...

«Смятое за ночь облако расправляет мучнистый парус.»
(Венецианские строфы (2))
Иосиф Бродский

2.

Всё гуще, дольше дождь сквозь облака –
такой финал у осени голландской –
(и климат влажный, и штормит слегка,
но глаз привык к размытым, блёклым краскам),
хотя тебе до красок ли, когда
душа твоя свободна и крылата,
она теперь, как ты писал, звезда
в полоске из рассветов и закатов,
где вновь – всё та же вечность – вне земли –
где до небес – всего лишь только малость –
века, что были длинными – прошли,
столетия – вернулись – и остались.
Переплелись – Венеция, Нью-Йорк
и городок (чей быт скучней и глуше),
который даже вспомнить бы не смог
прилежный ученик, умевший слушать.
...Патриархально-сельский уголок,
с названием, столь непривычным уху**, –
полсотни крыш, два озера – в кружок
и церковь, что видна на всю округу,
ещё канал да мостик разводной
украсят пасторальную картину,
и шум тысячелетий стороной
промчится здесь, как редкие машины,
едва нарушив эту благодать
своим вторженьем сквозь её пространство,
чтобы собой финал дорисовать –
всю нашу жизнь, что грезит постоянством –
и снова тишина из года в год –

тут не бывает бед и потрясений –
ну, может быть зима, (чуть снег пойдёт),
а может быть, (нечастый), гром весенний
А что Нью-Йорк? И там – снега – не те,
как пишет друг: «Мы в Новом Амстердаме,
пусть бывшем...», – но на данной широте ***
ни их, ни нас не балуют снегами
ни сам декабрь, ни, собственно, январь –
два месяца любимые у детства –
когда сулит обновки календарь
и сам велит быстрее в них одеться,
чтоб не забыть и выучить мотив,
метелью спетый ниже на полтона,
а после повторять речитатив
капли марта столь же увлечённо –
с крыш будто с неба (всё ж таки вода!),
как ты любил говаривать «водичка...»,
в которой отразится навсегда
прошедший день, что в общем-то обычно
для вечности... Стремление назад,
как и вперёд – всего одно мгновенье,
а впрочем, взгляд меняется стократ
и только продлевает изумленье,
когда в тени раскрытого окна
(с теченьем лет меняется рисунок),
плывёт корабль и за ним волна
и смотришь, и теряешь время суток.
Перечитав заветный ветхий том, ****
«Венецианских строф» коснувшись слухом,
уходишь, окольцованный кольцом
своих же строк, переполняясь звуком
нездешней Адриатики и в ней
уже не ищешь отзвука у слова...
... А вечер тих и облака темней
и дождь по стёклам серебрится снова.

* **«Здравствуй, нынешнее племя!»** – строчка из песни рок-группы «Наутилус Помпилиус»;

** **Городок Smilde (Нидерланды)**, где в настоящее время проживает автор;

*** **«Мы в Новом Амстердаме, пусть бывшем...»** – строчка из письма В. Соловьёва автору;

**** **Здесь имеется в виду двуязычное издание греческих эпиграмм** (нашли на столе И. Бродского после его смерти).

Наталья Писарева родилась в Донецке (Украина). С ранних лет пишет стихи. Работала редактором областной газеты «Класс!», а также давала «путёвку в жизнь» многим молодым поэтам – была членом жюри областных и всеукраинских поэтических конкурсов. Публиковалась в «Антологии Русского верлибра» (1990), альманахе «Истоки» (Москва, 1998), журнале «Collegium» (1993), в «Многоточии» (Международный литературно-художественный журнал (Киев, 1995).

Член Национального Союза писателей Украины. Лауреат различных премий и поэтических конкурсов. Автор двух поэтических книг – «Музыка стеклянных деревьев»; «И утро на руках держать...»
Сейчас живет в Голландии.

Михаил КОВСАН

Я ЖИВ И СМЕРТИ НЕТ

* * *

Спаси меня, бессмертный смертный Бах,
Возьми аккорд немислимый обратно,
Прости и не пойми меня превратно,
Меня ведь нет, не я теперь, но страх.

Я БОЛЬШЕ НЕ МОГУ ХОРОНИТЬ

Оплачьте меня —
я больше не в силах оплакивать,
забудьте меня —
я больше не могу забывать,
выдайте конец за начало —
я больше не властен начать,
оставьте слезы и смех —
я перестал смеяться и плакать,
уничтожьте сумрачный бред —
я существовать в бреду не могу,
я потомок царя Давида,
я потомок пророка Исаяи,
но царствовать не способен,
а пророчить Бог не призвал,
я потомок поэта Давида,
но стихи сочинять я не смею,
похороните меня —
я больше не могу хоронить.

* * *

Научиться не есть, но вкушать,
Научиться не слушать – внимать,
Научиться, всему научиться,
Только время пришло умирать.

ТЕКСТ

Как дом на слом,
крушу пером,
а, может, он меня
сплавляет,
как плот,
сверкнуло –
и цепляет
оставшие слова
багром.
Я умоляю:
«Отпусти
душу страдать,
на покаянье,
на дыбу, в ад ли,
на закланье,
сосуды отроков чисты,
сусеки грустные пусты,
все выметены слова,
с ними мелькнула слава мира,
серым-серо всё, сорно, сиро,
до неба жирная трава
забвения
здесь проросла,
мертвы озера,
ржавы лужи,
черно
тут
белый ворон
кружит,

а комаров –
мор,
нет числа.
Нет зверя здесь,
и нет ловца,
а ты, мучитель-текст,
желаешь
конца,
а всё, что живо,
жалишь,
чтобы ни крошки,
ни словца
на черный день,
на страх ночной,
когда душе
не откупиться,
она готова
не скупиться,
чтобы не быть
в миру
одной.
Весь ил, злодей,
всосал со дна,
живой воды
нет и в помине,
всё, что не кануло,
то сгинет,
свет розовый,
за ним
цвет синий
не возвратятся никогда.
Сквозь приступ
злобы,
отвращенья,
сквозь вонь
прокисших
нищих щей

шорох мышей
слышней, страшней,
чем жизнь из уходящих дней
гончарного круговращения.

* * *

Лепились звуки не друг к другу,
А к запахам цветным дождя,
И следовали по кругу
Вслед за движением огня.

Огнепоклонники лепились
К сухому треску в темноте
И мотыльками в стекла бились,
Стремясь к теплу и нагоде.

Горел огонь, пылал в восторге,
Дрожали искры на лету,
И, пламень яростный исторгнув,
Сжигал и мрак и пустоту.

А за огнем летели звуки,
И, видимые едва,
Свет в темноте ласкали руки,
И вслед дышали им слова.

Не эпилог и не сожженье,
Не умирание огня –
За запахами скольженье,
За цветом искр и дождя.

СПЛЕТАЯСЬ В СТАИ

Сплетаясь в стаи, раненые птицы
Летят на хлеб, на теплый свет в окне,
Живой воды спешат они напиться,
Сверкающей, лучащейся на дне.

Измучившись, спасаясь от удушья,
Летят, от злых скрываясь языков,
И в воздухе скользят: «Спасите души!»
И падают осколки мертвых слов.

Я ЖИВ И СМЕРТИ НЕТ

Я жив и смерти нет,
Жизнь вечная, как слово,
Коварство кастаньет,
Коричная Кордова.

Коричневый фасад
На солнце золотится,
Веков на пять назад
мечтая воротиться.

По красным кирпичам
Сойти к Гвадалквивиру,
Он, черен по ночам,
Посланье чертит миру.

Густой Гвадалквивир
течет темно, устало.
Гитара. Звон. Зефир.
Мантилья. Ножка. Ангел.

Дождь мелочно стучит
По черепичной крыше,
Пророчит и ворчит,
Он глух и хрипло дышит.

Не слышит кастаньет
Лукавства и коварства,
Он знает: смерти нет
Там, в тридесятом царстве.

ЧЕМ БЛИЖЕ, ТЕМ ДАЛЬШЕ ОТ ВАС

Юле, Соне
Чем ближе — тем дальше от вас
Вольно, невидимо, мимо,
Жертвою неопалимой
В помеченный вечностью час.

Дорогой ушедших отцов,
Путь начертавших от мира,
Не сотворивший кумира
Пророк из породы жрецов.

Неведом полночный предел,
Невольничий невод неведом,
И никому за ним следом
Не вкрасться в свободный удел.

Белеет поднявшийся дым,
Был дерзким он, стал не ранимым,
Словом, до срока хранимым,
Необратимо простым.

* * *

Всё, что не спел, не сумел,
Уже не спеть, не суметь,
Что не успел, не посмел,
Уже не успеть, не посметь.

Уже не успеть добежать,
Что не посмел, не исполнить,
Посеянного не пожать,
Допеть, если только не долго.

Джейкоб ЛЕВИН

«ЗИНГЕР» И «ДИАМАНТ»

Ученик пятого класса рижской гимназии, что в Агенскалнсе, Зигфрид Миезис подобрал отмычку к французскому замку своего соседа, портного Якобсона, которого забрали ранним утром две недели назад. Естественно, родственников у него уже не было, и теперь до раздела его имущества оставался один день. Дворник откладывал это мероприятие как мог. Но Якобсон уже две недели не появлялся в своей квартире, и соседи из всех остальных двенадцати квартир, расположенных на четвёртом этаже, с некоторой надеждой ждали справедливого раздела его имущества.

Из самых значительных вещей в квартире портного Якобсона были почти профессиональная швейная машина «Зингер» с чугунной рамой и ножным приводом и новый велосипед «Диамант», под кожаным седлом которого были две никелированные пружины из перевитых проволок. Маленькая динамо-машина, трущаяся о колесо, вырабатывала электричество для передней фары. На заднем крыле, чуть выше резинового брызговика, рубинами переливался круглый катафот. На педалях жёлтым янтарём горели маленькие квадратные фликеры. Как же было устоять Зигфриду? Именно эти две вещи в половине первого ночи, когда весь дом уснул, пятиклассник Зигфрид перевёз в свою квартиру, что была напротив. Велосипед на резиновых шинах катился тихо, чуть слышно тикая храповиком. Но у швейной машины были маленькие чугунные колёсики. Они создавали лёгкий шум, цепляясь за неровности на цементном полу. Поэтому дверь в квартире Весмы Нагле, которая страдала бессонницей, открылась и тут же закрылась. Но это уже было после того, как швейная машина «Зингер» исчезла в дверном проёме квартиры Зигфрида.

Через минуту сердце Зигфрида успокоилось и перестало так сильно стучать. Он остановился. Он перестал бояться, что разбудит спящую мать.

Зигфрид не знал, что уже два дня его одноклассница, вечно сопливая Айна Пилиня, после школы пишет своим каллиграфическим почерком без точек и запятых на маленьких бумажных квадратиках, вырезанных из школьной тетради: «плащ габардиновый серый», «шляпа фетровая зелёная», «два одинаковых подсвечника», «зонтик», «кресло», «очки»... Замок в квартире Якобсона для неё открывал ключом её дядя, дворник Антон Мейлунс. Он же и закрывал его, когда она заканчивала работу. Одинаковые бумажки с названием вещей она потом скатает в маленькие рулончики и положит в деревянный ящик от сливочного масла. Всю эту справедливую лотерею организовал дворник, он же отвечал за её проведение. Всего вещей было 159, по 13 на каждую квартиру. Привилегию участвовать в лотерее имели только двенадцать квартир четвёртого этажа. Дворник Мейлунс был весёлым, честным и бесхитростным человеком. Его любили все жильцы дома №15 по улице Акменю. Даже портной Якобсон был одним из тех, кто хранил второй ключ от своей квартиры у него.

Когда по утрам на двор привозили огромную плоскую подводу, доверху заставленную ящиками со стеклянными сифонами с сельтерской водой, он стоял рядом и терпеливо ждал, пока лошадь не опорожнит свой желудок. Он никогда не мешал лошадям. Если лошадиные «яблоки» падали мимо мешка, подвешенного для этой цели, он быстро нагибался и подставлял совок. Иначе мгновенно прилетят воробьи, начнут выклёвывать из навоза овёс и растащат всё это по двору. В такой ситуации любой дворник начал бы злословить, но не Антон Мейлунс. Он радостно говорил, обращаясь ко всем: «Lai dzivo zirga un zvirbulis un setniekam buz darba!», что означало «пусть живут лошадь и воробей, и дворникам будет работа».

Все мужчины дома №15 на улице Акменю всё же тайно подумывали о новом велосипеде, а женщины – о швейной машине. И вот всё это исчезло накануне раздела имущества Якобсона.

Когда утром, проснувшись, мать увидела «Зингер» и «Диамант» у себя в квартире, она на мгновение лишилась дара речи. Зигфрид стоял посреди комнаты и улыбался идиотской улыбкой её покойного мужа.

– Велосипед мне, а швейная машина тебе, мама, – торжественно сказал он, и слюна капнула у него изо рта.

– Что ты опять наделал, идиот! Убирайся отсюда! И уноси эти проклятые вещи! Какой позор! Мой сын вор! Даже твой глупый отец всегда говорил: «не кради, где живёшь!». Ты что, забыл, что тебя вот-вот отчислят из гимназии за прогулы и неуспеваемость? Что ты будешь делать зимой? Опять ровнять ржавые гвозди?

– Но ты же сама говорила, что зря платишь деньги в гимназию. Значит, мы на этом сэкономим.

– Сейчас же унеси это всё отсюда! Я этого видеть не могу. Я работаю в пекарне по десять часов, не присев, все время на ногах, но никогда ни одной булочки себе не взяла!

– Но ты же сама говорила, что у тебя крепкие ноги.

– Идиот.

– А ещё ты говорила, что если бы у тебя было чем, то ты бы сшила себе телогрейку из овечьих шкур. Помнишь?

Зигфрид помнил всё.

– Швейная машина овечьи шкурки не шьёт, нужна скорняжная. А ты что, притворяешься или не видишь, что я уже два года хожу ногами по этим шкуркам? Как ты думаешь, из чего сшит коврик около моей кровати? Уноси это всё отсюда, идиот!

– Прямо сейчас?

– Да, прямо сейчас! Хотя нет, стой! Ночью выбросишь всё на свалку, чтобы никто не видел!

– А как я покачу по ступенькам швейную машину?

– Как хочешь.

Мать прислонила велосипед к стенке, положила на него подушки и сверху простыню, швейную машину накрыла расшитым полотенцем, а затем по краям поставила горшки с цветками.

– У меня нет больше времени, я ухожу на работу. Не забудь, сегодня лотерея. И смотри, не проболтайся про вещи. Тогда нам нужно будет от стыда переехать в другой район.

– Давай переедем, ты же говорила, что тебе нравится Юрмала.

– Как ты мне надоел, идиот. А теперь ты ещё и квартирный вор! Позор!

Зигфрид вздрогнул, на глаза навернулись слёзы. Стыд душил его.

– Я не вор! – закричал он и в бессилии стукнул ногой по старому дивану. – Я зарабатываю деньги!

У Зигфрида были светло-голубые глаза и редкие белёсые волосы, всегда аккуратно причёсанные «на пробор». Он не был идиотом, скорее – глуповато-наивным. Он уже имел постоянную летнюю работу, она досталась ему от покойного отца. Недалеко от Понтонного моста на левом берегу Даугавы была маленькая бухта – стоящая неподвижно вода с грязной пеной, заваленный гнилыми щепками и пустыми коробками от сигарет берег, старый вросший в песок буксир и несколько наполовину затопленных древних лодок и шведских барж. Одна из них почти полностью лежала на песке. Гнилые доски от обшивки этих судёнышек когда-то были накрепко прибиты шведскими гвоздями к деревянным шпангоутам, но теперь едва держались. Вот эти гвозди и нужны были Зигфриду. Это были не круглые и не квадратные гвозди, а плоские. Такие гвозди давно были в Латвии редкостью, как, впрочем, и сами дощатые баржи. Но некоторые перевозчики грузов в Риге и в Болдераене не желали избавляться от этих древних судёнышек и по-прежнему пользовались ими. Они постоянно требовали ремонта, протекали, раздражали хозяев, вызывали смех у стоящих на берегу, но работу свою делали исправно. Плоские шведские гвозди упрямо не хотели сдаваться. Потребность в гвоздях была невелика и падала с каждым годом. Казалось, они могли быть легко заменены дешёвыми круглыми гвоздями, но это было не так. Круглые почему-то быстро пропускали воду, расшатывались и ржавели.

Ответ на это явление лежал, наверное, где-то в физике, но это не интересовало Зигфрида, он этого не знал, хотя замечал, что и копыта у лошадей тоже подковывают почему-то плоскими гвоздями. Раз или два в неделю он брал молоток, плотницкие клещи, маленький ломик и отправлялся в бухту за гвоздями. Он приносил гвозди в свой сарай и ровнял их медным молотком на чугунном колоснике от паровоза, принесенном откуда-то ещё отцом, затем прямые гвозди клал в прочный дубовый ящик и посыпал их песком. Зелёный ящик от патронов Первой Мировой войны был подвешен за верёвку к стропилам сарая. Потом он несильно раскачивал его и ударял о столб в углу сарая. «Сотрясение песка очищает гвозди от ржавчины», – так говорил его покойный отец. Иногда Зигфрид менял песок. Когда плоские гвозди приобретали товарный вид, Зигфрид связывал их вместе по пятнадцать штук.

В прежнее время отец продавал гвозди на Агенскалнском рынке по субботам, стоя, чтобы не платить за место. Он просил двадцать сантимов за связку, иногда уступал. Но Зигфрид не мог сосчитать, сколько это будет в пересчете на новые деньги, это менялось каждый день, поэтому он был доволен тем, что ему заплатят. Покупатели уже узнавали его.

Сегодня была суббота, он хотел пойти на базар. Он совсем забыл, что должна была состояться лотерея, потому что после того, что утром сказала ему мать, это было уже не таким важным для Зигфрида событием. Он вышел в коридор, прислонился к стенке и стал внимательно слушать, о чём говорят соседи. Соседи толпились у дверей квартиры Якобсона. Они уже знали о пропаже. В их глазах был вопрос: куда девались «Зингер» и «Диамант»?

Дворник, честный Антон Мейлунс, был просто раздавлен ужасным ночным происшествием. Айна со слабой надеждой и жалостью смотрела на своего дядю.

Немного ненормальная, со своей вечно обострённой честностью, Весма Нагле предлагала зайти к ней в квартиру и убедиться, что вещей там нет. Она предлагала это каждому соседу по отдельности:

– Прошу!

И указывала на свои двери. Кто-то сказал:

– Какой смысл заглядывать в квартиры в десять утра, если ЭТО произошло ночью? Кроме того, это унизительно.

Старичок, оркестровый музыкант из угловой квартиры, едва шевеля губами шептал:

– Какое ужасное происшествие, какой позор... У нас в доме этого не было уже пятнадцать лет. С 1926 года...

– Вы имеете в виду русскую старушку Мельникову с первого этажа или кого-то другого? – вмешалась толстопятая соседка-хозяйка рыбной лавки.

– А что сделала старушка Мельникова!? – наперебой заверещали две квартирантки с другого этажа, непонятно что искавшие среди соседей.

– Когда в начале холодной зимы 1926 года господину Аболтыньшу привезли и сгрузили у его около сарая отопительный уголь, она в

сумерках приходила туда с кошёлкой и носила его к себе. Если бы её не заметил хозяин, неизвестно, сколько кошёлок с углём унесла бы эта старушка Мельникова, – сказала толстопятая соседка.

– Но когда её называли воровкой, она повесилась.

– Она была русская? – спросили обе квартирантки одновременно.

Кто-то заметил:

– Русская бы не повесилась.

– Она была русская, учительница, но потом она заболела, а дети её бросили, – сказал старичок-музыкант.

– Болезнь никогда не оправдывала воровства, – назидательно сказал школьный учитель географии. – Кто знал, как жил покойный Аболтыньш, у которого старуха Мельникова крада уголь? Тот, кто этой ночью украл «Зингер» и «Диамант», скорее всего, был латышом, и он украл эти вещи у латышей! Да, да – у латышей! Мы, латыши, – жестокий, но очень справедливый народ. Поэтому воровство среди нас – отвратительная случайность.

Это был камень в огород единственного на этаже цыгана. Но сказанное учителем понравилось всем, и все с ним согласились.

Мудрее всех оказался электрик Калныньш:

– Тот, кто украл велосипед и швейную машину, плохо читал Библию: «Нет ничего тайного, что не стало бы явным». Что может сделать с нашими вещами воришка? Использовать эти вещи в доме нельзя. Если он попытается их продать, тут мы его и накроём. Как это произойдёт, я не знаю. Возможно, он попадётся, когда будет их перевозить на другое место или когда будет расклеивать объявления о продаже. А может быть, его опознают на базаре?

Отец Фабиан Адамсон, католический священник, живший в собственном доме в Межапарке, всё это внимательно слушал. В доме на Акменю, 15 у него жила сестра, и это было его второе место проживания, потому что католическая церковь, где он уже двадцать лет окормлял своих прихожан, была недалеко. Он считал, что с точки зрения простых христиан, толпящихся у дверей портного Якобсона, их претензии очень обоснованы и справедливы, ведь совесть их открыта и совершенно чиста. Соседи были справедливо возмущены поступком ночного вора, и это было очень естественно для них. Однако как это сочеталось с тем, что все они прекрасно знали:

еврея Яacobсона расстреляли в Румбульском лесу такие же, как они, латыши? Это несколько смущало католического священника. Но соседи дружно молчали об этом.

Священник Адамсон немного устал и хотел поскорей прекратить этот балаган, который уже начинал действовать ему на нервы, поскольку приобретал национальную окраску. В квартире рядом с ним жил племянник цыганского барона со странным именем Август-Вильгельм. Никто, кроме католического священника и, конечно, самого цыгана, не знал о том, что со дня на день шуцманы увезут его в Румбульский лес и с дыркой в голове закопают вместе с евреями. Идти Августу-Вильгельму было некуда, поэтому он просто обреченно ждал своей участи. Священник же хотел быстрее покончить с этим болтливым сборищем еще и потому, что его уже интересовало, кто будет новым жильцом рядом с ним в освобожденной квартире.

Вдруг толпа соседей расступилась, увеличившись на ещё одного уважаемого человека. Появился бывший редактор журнала «Перконкрустс («Свастика») для детей» – доктор Екумс. Бывшим редактором был потому, что Имперское министерство народного просвещения и пропаганды Германии недавно по приказу самого Геббельса, нациста №3, закрыло его журнал из-за крайнего латышского национализма. Это был парадокс! Журнал был создан в конце июня 1941 года, прожил без году неделю и стал библиографической редкостью. Доктор Екумс поздоровался с отцом Фабианом, взял его под руку и увёл в другой конец коридора.

– Обратите внимание на наших соседей, дорогой отец Фабиан. Где их христианская добродетель? Сейчас они собираются делить вещи покойного Яacobсона. Они все знают о его смерти, но ни слова об этом не говорят. Что они хотят найти в его квартире? Ведь в ней уже побывали ребята Виктора Арайса*.

– Что поделаешь, дорогой доктор, таковы сегодня нравы светского мира. Толпа слепа, подла и глупа. Нравственность толпы всегда гораздо ниже нравственности одного индивидуума. Вам не

* **Виктор Арайс** – латышский коллаборационист, создатель и руководитель так называемой «команды Арайса», причастной к убийствам десятков тысяч мирных жителей, в первую очередь, евреев.

приходилось знакомиться с работами Густава Лебона о психологии толпы?

– Как же не приходилось? На втором курсе университета читал. Его мысль можно сформулировать просто: «один человек всегда умнее толпы людей». Надеюсь, вы не причисляете себя к толпе?

– Хвала творцу, Вы абсолютно правы, я себя не причисляю к толпе, дорогой доктор.

– Тогда что же вы делаете у дверей квартиры еврея Якобсона?

Это был удар ниже пояса.

– А вы? – ответил обиженный священник.

– Хм-м... Да, да, конечно. Все мы...

– Однако пора начинать, – сказал священник и посмотрел на карманные часы. Он опустил голову и глубоко вздохнув, хорошо поставленным, скорбным голосом, произнёс смиренно и глухо:

– Начнем лотерею, господа, проходите в квартиру Якобсона.

Всё это время Зигфрид внимательно слушал разговоры соседей, боясь пропустить самое главное. Он первым вошёл в квартиру Якобсона и постепенно, по одной, вытащил все тринадцать свёрнутых Айной бумажек, которые ему причитались.

Он получил тумбочку, эмалированный умывальник, синий шерстяной отрез, пачку шаблонов и лекал для раскроя материала, кухонный нож, коробку со свечами, маслёнку с маслом – наверное, для смазки велосипеда или швейной машины, резной стул, одеяло, крохотную серебряную рюмку и несколько простынь. Всё это он перенёс в свою квартиру и положил на пол у дверей. К этому прибавилась зелёная фетровая шляпа и чайник из вещей, которые по непонятной Зигфриду причине раздавал всем сосед Август-Вильгельм.

То, что Зигфрид узнал сегодня о своём поступке, сводило его с ума. Оказывается, он единственный латыш-вор, который украл у своих же честных соседей их собственность. Что делать? Пойти в понедельник в лютеранскую церковь и поговорить со священником, отцом Маркусом Шварцбахом и всё ему рассказать? А может, сначала всё рассказать дворнику? Нужно было как можно скорей поделиться с кем-то более умным. «Вор, вор, вор...» – стучало у него в висках.

Вдруг в дверь позвонили. Его сердце ёкнуло. Зигфрид втянул голову в плечи и открыл двери. На пороге стояла девочка Айна. Зигфрид знал, что она была влюблена в него.

– Заходи, Айна.

– Я ненадолго, – сказала Айна и вошла. – Вот тут две чёрные бархатные шапочки. Их никто не взял, возьми их, может, пригодятся.

– Послушай, Айна, я хочу доверить тебе очень важную тайну, но сначала ты должна поклясться мне кровью Иисуса Христа, что никто эту тайну от тебя не узнает. Даже твой дядя.

– Нет, кровью Иисуса Христа не могу. И не проси больше.

– Хорошо, тогда поклянись, что примешь смерть, если проговоришься.

– Клянусь, – сказала Айна и подняла правую руку, – только говори поскорее, мне надо идти.

– Айна, велосипед и швейную машину взял я. Они стоят здесь, вот они.

– Ты взял! – вскрикнула Айна и крепко зажала рот ладонью, как бы боясь проговориться или вообще выпустить какие-то слова.

– Зачем ты это сделал?

– Сам не понимаю...

– Знаешь, Зиги, если бы я не поклялась тебе страшной клятвой, я бы сейчас пошла и всё рассказала дяде Антону.

Вэто время пришла с работы мать Зигфрида. Айна поздоровалась с ней и тихонько ушла.

Приход Аины облегчения Зигфриду не принёс. Чтобы разрядить обстановку, Зигфрид спросил у матери:

– Мама, а почему повесилась старуха Мельникова?

– Потому, что у неё была совесть, – ответила мать. – А зачем тебе это? Ты лучше расскажи, как прошла лотерея.

Зигфрид начал рассказывать. Мать в это время перебирала вещи портного Якобсона. Потом она сказала, что решение пойти к священнику самое правильное:

– Нужно пойти к отцу Маркусу, он в молодости был школьным учителем и знает, как нужно говорить с такими, как ты.

Зигфрид с трудом дождался понедельника и в половине восьмого утра уже был у входа в лютеранскую церковь. Богослужение ещё не началось, и священник только поднимался по ступеням.

– Что тебе здесь так рано нужно, мальчик? Почему ты не в школе?

– Я украл велосипед и швейную машину, – сказал Зигфрид.

– Ты поступил очень плохо. Ты должен первым делом вернуть эти вещи их хозяину, а потом возьмёшь Библию, откроешь «Второзаконие», пятую главу и прочтёшь параграфы 17,18, 19 и 20. Сделаешь это 50 раз. Только читай с чувством, не спеша, и думай, о чём ты читаешь. Теперь иди. Да, где ты живёшь? Я должен поговорить с твоими родителями, пусть они придут.

– Но у этих вещей нет хозяина.

– Так не бывает. А где он?

– Соседи говорят, что его отвезли в Румбулу, положили в яму и закопали.

– Как закопали? А-а-а, понимаю....

Священник замолчал, потом достал платок и начал медленно протирать запотевшие очки.

– Как тебя зовут, мальчик?

– Зигфрид.

– Придёшь завтра, в это же время. Сейчас я занят. Я должен подумать.

Зигфрид ушёл.

– Да, попал ты в историю, – сказала вечером мать.

Утром Зигфрид опять был в церкви. В половине восьмого у ступенек остановился автомобиль и из него вышел отец Маркус. Зигфрид пошёл ему навстречу.

– Что тебе здесь так рано нужно, мальчик? Почему ты не в школе? – опять спросил священник.

– Вы у меня вчера это уже спрашивали.

– Ах, да, велосипед и швейная машина. Их некому вернуть...

Послушай, мальчик, с кем ты живёшь?

– С матерью.

– Сколько она зарабатывает?

– Я не знаю. Но раньше она зарабатывала два лата и пятнадцать сантимов.

– Слушай меня внимательно: никому ничего не говори, оставь эти вещи себе. И молись за упокой души хозяина этих вещей, я забыл, как его зовут.

– Я вам его имени не называл, его зовут Тоби Якобсон.

– Тогда как хочешь, можешь не молиться, кажется, он еврей.

* * *

Прошло семьдесят лет. Долгие годы Зигфрид Миезис проработал истопником на фабрике «Текстилиана». Жениться не пришлось. Айна с мужем умерли двадцать лет назад. Потом умерла их дочь. Из всех жильцов, которые могли знать про «Зингер» и «Диамант», оставалась только одна, её внучка. Но и она недавно скончалась. Вещи по-прежнему стояли на том же месте, где их когда-то оставила мать Зигфрида.

...Однажды он достал альбом с фотографиями матери, раскрыл его и погладил фотографии старческой рукой с синими жилами. На последней странице лежала сложенная вчетверо пожелтевшая газета «Rigas Bals» от 29 февраля 1998 года. Он развернул ее и обнаружил объявление, обведенное карандашом, о том, что кто-то для театрального реквизита покупает у населения старые велосипеды и швейные машины. Там же был телефон.

Зигфрид не понимал, что это уловка и что театр никогда не получит этих вещей, потому что за старые велосипеды «Диамант» и за швейные машины «Зингер» коллекционеры антиквариата платят очень высокие цены.

Хотя объявление было помещено в газету много лет назад, но он всё же позвонил из телефона-автомата и со свойственной ему прямотой и бесцеремонностью недалёкого человека сразу сказал:

– Это театр? У меня есть один велосипед «Диамант» и одна швейная машина «Зингер».

– Нет, вы случайно попали в банк. Но мы покупаем и такие вещи, – торопливо ответил женский молодой голосок. – Сколько вы хотите?

– Я отдам бесплатно.

– А где вы живёте?

Зигфрид объяснил.

– Мы приедем быстро.

Через час во двор въехал старенький «пикап», а ещё через минуту в дверь позвонила молодая пара. Всё было уложено в автомобиль.

На стёртом и вылинявшем от времени полу остались два тёмных пятна. Последняя память о портном Якобсоне. Зигфрид Миезис остался один в огромной пустой комнате. Он опустил на старый

диван, вытянул ноги, сердце его билось всё медленней и медленней. Он, как в детстве, безмятежно погрузился в сон. Во сне к нему уже спешил худой седобородый старик с чёрной бархатной ермолкой на голове и со связкой отмычек на верёвочном поясе. Зигфрид узнал портного Якобсона.

– Нет, я не Якобсон, – прочёл его мысли старик. – Я просто похож на него. Меня зовут апостол Пётр.

Джейкоб Левин эмигрировал из Риги в Нью-Йорк около 40 лет назад. Несмотря на то, что по образованию он инженер по обработке металлов, всегда интересовался историей и знает ее на профессиональном уровне. Основная тема его произведений – Холокост и судьбы людей в период и после оккупации Прибалтики.

Левин широко известен и как эксперт по средневековому оружию, и как дизайнер и изготовитель художественного оружия и миниатюрных изделий, механизмов из металла и различных драгоценных материалов. Существует более 30 публикаций на английском, итальянском и французском языках о его художественных работах.

Книги, изданные в США: «Удо и странные предпочтения Боргманов», «Встреча в ньюйоркском сабвее», «Encounter in the New-York Subway» (на английском). Готовится к выходу его книга на французском и русском языке под условным названием «Ньюмен», а также полный сборник его рассказов на русском языке.

Каринэ АРУТЮНОВА

РАССКАЗЫ

НА УЛИЦЕ ЗАКОЛДОВАННОЙ РОЗЫ

Это сейчас меня корежит при одном упоминании. Тогда же однообразие ничем особо не примечательных улиц и стоящих на них пятиэтажек-хрущевок ничем не смущало. Ведь не придет же вам в голову роптать на то, что родились вы на альфа-центавра, а не альфа омега или пси?

Зима была вовсе не серой и унылой, напротив, она казалась (и была) скрипучей и пушистой, ну, а лето обещало и, главное, исполняло обещанное.

Радовало все. Палисадник ближний и палисадник дальний, осваиваемые постепенно, дюйм за дюймом, выложенные бетонными плитами дорожки между ними, выходящие на сторону гастронома и шоссе окна. Проезжающие автобусы. Сам, собственно, гастроном, с его нехитрыми запахами, – свежего хлеба, квашеной капусты, подгнившего буряка, сельди, пота (кто слышал о дезодорантах в те далекие времена?). В гастрономе ожидал главный сюрприз – неприменный стакан яблочного сока (или томатного), в зависимости от. А уж после выпитого... как весело гулялось по главному скверу с высаженными равномерно тополями, – школьные заботы еще не отягощали, солнце припекало, но не жалило сквозь белую, облегающую голову панамку. Как весело шагалось вдоль клумб и подъездов, откуда тянулся шлейф пугающих запахов и предчувствий, – каждый подъезд обладал своим, с преобладающей нотой дешевой масляной краски – ею выкрашены стены ровно до половины поверх побелки, и из каждой двери – запахи обедов, болячек, немощи. Еще не омерзительными кажутся они, а пока только озадачивающими, захлестывающими первобытным ужасом небытия, – чужой подъезд, точно воронка, засасывает, – чужие звуки пугают, наощупь ты пробираешься

к спасительному источнику жизни – ее в избытке там, за распахивающейся дверью, – тут точность удара ноги в сочетании с силой обеих рук, – немного поднажать, и брызги солнечного света слепят, страх отступает вместе с мраком и подвальным гнусом. Дарованы часы деятельного безделья, отсюда бесконечным кажется оно, блаженным, исполненным предвкушения, неведения относительно сроков пребывания в Эдеме, – сад полон райских яблок и жестких груш-дичков, в нем дикий виноград опоясывает балкон, – еще пару лет, и можно будет лакомиться остро-кислыми, будто взрывающимися во рту ягодами, – укрывшись в тени разросшейся лозы, вращать калейдоскоп, изумляясь многообразию и неповторяемости каждого дня.

«...В жизни всегда есть плюс и минус, видишь ли», – случайный голос за окном способствует отрезвлению и молниеносному переходу из мира беспорядочных сновидений в бодрствующий, но не менее хаотичный.

Из подвала тянет сыростью, – еще один признак близкой весны. Помимо птичьего пения и обостренного обоняния, которое для утонченных натур отнюдь не дар. За окнами – чавканье мокрых подошв, стрекотание лап и голоса.

Голос на редкость мягок, доброжелателен, боже мой, какой музыкой может быть речь. Без привычного беззлобного матерка, без пьяного мычания, без бодрого «отдай ключи, падла», – видишь ли, душа моя, во всем есть плюс и минус, – носитель чарующей интонации удаляется вместе с голосом, унося тайну мироздания с собой, – все эти «мы не властны над», «послушай, дружок, а сейчас я расскажу тебе сказку», – волшебство начиналось с первых тактов, с внезапного щелчка, с поскрипывания и шипения иглы, протертой трепетно, допустим, одеколоном «Весна», – послушай, дружок, сейчас я расскажу тебе сказку, – сверчок, хозяин музыкального магазинчика, пан Такой-то, овладевал вниманием со знанием дела, с вкрадчивой неторопливостью гурмана, – исполнением желаний звучали названия улиц – Заколдованной розы, Миндальной, Клетчатой, Канареечной и даже Полевой мыши. «Пан Теофас носил костюм коричневого цвета, а у пана Боло была розовая жилетка в мелких цветочках», – стоит ли говорить о том, что в нашей с вами тогдашней реальности мало кто мог похвастать хипстерскими жилетками и пиджаками «от...», – но интонации все же были, в них можно было кутаться, точно в клетчатый

плед из ангоры, – журчащая с заезженной пластинки доброта вплеталась в уют того самого двора (за аркой), пока еще пребывающего в блаженном неведении относительно недалекого будущего, относительно недалекого, – пока еще не подозревающего о реальности пластиковых окон и беспроводного интернета, – еще не разлетевшиеся по букинистическим лавкам добротные корешки выстроены вдоль прочных стен, еще скрипят дверцы, – в них нафталиновые шарики перекатываются, охраняя от вторжения вездесущей моли, – у нас хорошие новости, панове, – с молью мы справились, у нас больше нет моли, как нет комода (хотя отчего же нет? зайдите в «метроград» на Толстого), стен, и, собственно, времени, – оно не течет привольно, а нарезается скупо, фрагментами, особенно ценятся обрезки, в них самый цимес, – украденное у самих себя откладывается «про запас», – помните это «однажды»? «когда-нибудь»? – оно преследует смутной тоской, брожением, это отложенное на «когда-нибудь» время, изорванные лоскуты имеют странное свойство – трансформироваться в горсть бесполезного тряпья, кучу хлама, черепки, осколки, труху, пыль, – выигранное в жестокой схватке время уходит на бесконечную борьбу с пылью, – бесконечность – это пыль, усердно сметаемая веничком, дружок мой, – тлен, прах, – загляни под диван, буфет и книжный шкаф – видишь ли, душа моя, в жизни всегда есть место плюсу и, конечно же, минусу, добру и злу, любви и отсутствию ее, – банальные сентенции, вползая в форточку, обретают новое измерение, – со временем (о, это пресловутое «со временем», – с каждым днем мы постигаем обратную сторону бесконечности, хрупкость, изменчивость постоянных, казалось бы, величин, условность обстоятельств, изнанку часов и минут, – но стоит закрыть глаза, и говорящие на странном наречии сверчки распахивают двери, и улица Миндальная перетекает в Канареечную, с нее идет трамвай, – щелчок, шорох, скрип, – так скрипят дверцы комода, шуршат книжные листы, струится пыль, разматывается время, – я вновь там, на улице Заколдованной Розы, вслушиваюсь в неторопливое «в одном городе, в каком, я вам не скажу...»

* * *

А потом, знаешь, все-таки, окна Подола немножко другие, в них хочется заглядывать, – привстав на цыпочки, высматривать нечто умиротворяющее, отличное от иного жития-бытия образца пятнад-

цатого года, пускай с тем же пыльным фикусом или обленившимся кошачьим боком, но иное, – как будто, запуская нескромный взгляд в подольское закулисье, пытаешься отыскать самое себя.

Помножим высоту потолка на окружность кружевной салфетки, скрывающей шероховатость буфета, извлечем корень из монотонной капли, темнеющих провалов, наполненных дождевой водой, скудного освещения, скученности автомобилей, и получим вырезанный из стены кадр, за ним еще и еще один, и вот уже случайный кот, выпуская хищные коготки, обретает имя, а книжные корешки выгибаются навстречу поглаживанию детских пальцев, – в уютной тишине скрежет ожившего часового механизма приводит в движение механизмы гораздо более сложные, изошренные, – и вот уже далекий вечер приближается, выныривает из небытия, раскрывается, точно читанная не раз книга, – отнюдь не на самом захватывающем, а как раз обыденном, но от того не менее ценном.

Прежде всего, звук, а за ним и запах, – тогда жизнь пахла и звучала иначе, не так ли? – восторг новизны каждого дня, шелест развертываемой книжки, ее желтеющих листов, тихое покашливание, бубнеж радио за стеной, едва различимый сквозь сон, и толстый настенный ковер. Вплетаясь в сложную вязь узора, он становился частью сна, – там круглая лампа, покачиваясь, согревала янтарным теплом, поток воздуха поступал из распахнутых пока еще ставен, за которыми окна, покрываясь испариной, отражали уличный свет, змеился кошмарами коридор, ведущий к ущербным ступенькам, и длинное слово «ангина» проступало из тьмы, томило и плавилось, отзываясь болезненным подергиванием в распухших миндалинах, нарастающим жаром и обжигающим холодом чужих рук.

Вторжение чужого или чужой в мир вздыбленных одеял и разбросанных как попало подушечек-думочек казался кощунством, – по крайней мере, проснувшейся мне, обостренно отличающей резкий запах вошедшего с докторским саквояжем, – пахло аптекой, зеленкой, уколом, нашатырем, и сдвинутые округлые колени, облитые глазурью капрона, внушали почти что ненависть, – тогда, в безымянный дождливый день, за которым и даты не закрепились, – всего-то и нужно было, что выставить чужого, вырезать из мизансцены, стереть самое воспоминание о нем, и благообразие восстановленной по крупицам картины мира торжествовало, – обложен-

ная со всех сторон подушками, я милостиво соглашалась на горячее молоко, сдобренное медом и брусочком сливочного масла.

Окна Подола уже не мои, – чужая жизнь вторгается во владения памяти, – она не ждет добровольного выселения старых жильцов, – подталкивая, швыряет вслед узлы, набитые ненужной утварью... бесцеремонно визжа тормозами, пробуждает от долгого счастливого сна.

Я помню, как скрипели половицы там, в старом доме на При- тисско-Никольской.

Память – удивительная штука, – иные события, порой даже трагические и судьбоносные, красочные и волнующие, она отторгает, оставляя мозаику в виде пестрого краешка занавески, взлетающей и опадающей от апрельского сквозняка, не сквозняка, а так, вдоха и выдоха, освобожденного от унылых одежек начала весны, – от темнеющих луж, обнаженного асфальта, свалывшейся прошлогодней травы, – прозрачность и ясность воздуха, тяжесть зимней обуви, уже порядком разбитой, потрепанной, сырой.

Я помню, как скрипели половицы, – крашенные коричневой краской, они поскрипывали, – здесь, в старом подольском доме звуки улицы таяли за плотно закрытыми ставнями, и дом погружался в особую тишину, – разве что скрип половиц и тиканье ходиков нарушали ее, – там не визжали тормоза, не гремели трамваи, – все это оставалось где-то далеко, а важным было то, что близко.

Амфитеатр двора с провалами окон, с кособокими ступенями, с неистребимым и тяжелым подвальным душком, – там тени обитали, персонажи, – за крохотными подслеповатыми окошками, они передвигались, пугающе темные, безымянные, беззвучные, – словно это и был нижний этаж, оседающий, уходящий в небытие вместе с приметам старого мира, а новый уже наступал, ковшом экскаватора перелопачивая землю, и она переворачивалась со стоном и утробным выдохом.

Мы возились в глубокой траншее на месте снесенного дома, выуживали трофеи в виде допотопных книг, кукольных туловищ, голов, предметов невнятного происхождения и применения, зато обладающих несомненными признаками тлена, разной степенью распада, – нас это смущало, конечно же, но любопытство оказы-

валось сильней отвращения, – выуженное на свет божий являлось свидетельством ушедшей под завалы атлантиды, со всем, что ее наполняло, – воодушевленная важностью происходящего, я рылась в малоаппетитной куче хлама, перелистывала отсыревшие книжные листы, воображая радость родителей при виде, допустим, толстого тома переписки Молотова со Сталиным, Ворошиловым или Микояном (сейчас сложно восстановить точность деталей, но запах отсыревших листов, припорошенных землей, я помню и сейчас). Извлеченное на свет бережно отряхивалось, протиралось краешком платя и уносилось в сторону. Копышащаяся малышня с интересом наблюдала за выверенностью и уверенностью моих действий. Все во мне ликовало. В музей, боже мой, да в любом музее с руками оторвут этакую-то ценность! Шутка ли, ведь это дело государственной важности!

Вот, – прижав к груди драгоценную находку, неслась я к дому, в котором, собравшись за нарядным столом, чаевничали взрослые.

Вот, – с порога я протянула увесистый том и замерла в предвкушении шквала ...ну, если не аплодисментов, то хотя бы некоторой заинтересованности, – тут... важное... письма Сталина, и еще, других, это документ, понимаете? Исторический! – убежденность моя таяла с каждым словом, а ликование, еще секунду тому назад плескавшееся сладкими волнами, утасло, – напротив, внезапное облако будто повисло за празднично накрытым столом, – дело происходило в подольском доме моей тети, – позвякивали ложечки, пахло свежесваренным чаем и сдобой, – ах, какой чай пили в доме моей тети, – из маленького, почти кукольного заварничка крепчайшая заварка разливалась по стаканам, и уже после заливалась крутым кипятком, – овальное блюдо являло взору десяток крохотных пирожков, начиненных вишней, – тут письма, редкий экземпляр, – невнятно пробулькала я, сглотив слюну, – ума хватило не положить книгу на стол, – могла ли я знать тогда об осквернении или нечистоте, но ощущение неуместности трофея пронзило меня. Неуместности с радушием этого дома, с поскрипыванием половиц, с текущей плавно беседой, с повернутыми ко мне улыбающимися лицами, с ароматом вишневой наливки и сладких пончиков.

– Ну ка, – мить руки и за стол, – быстрее молнии метнулась я на кухню и там, отвернув кран с горячей водой, ожесточенно тер-

ла ладони бруском хозяйственного мыла, как будто пыталась смыть самое воспоминание о погребенных под грудой земли и песка свидетельствах небытия.

ПО ТУ СТОРОНУ РЕКИ

– У ваших детей армянские глаза, – с грустинкой, – со вкусом затягиваясь, гостя пристально смотрела через стол, на папу, и от этого взгляда мне отчего-то делалось неловко, – я мало что понимала в женском кокетстве и искусстве изощренного флирта, а это был несомненно флирт, – нахваливая наши грустные глаза, гостя явно имела в виду папины, – вот тут уж без дураков, – с той самой пресловутой грустью (а не грустинкой), и иронией (приподнятая правая бровь), – чего таить, папа производил особенное впечатление на многих, но рядом была мама, и потому все комплименты, тайные и явные, доставались нам с братом, – воодушевленная, я делала еще более (по моему разумению) армянские глаза, добавив в них неземной тоски и вселенского разочарования, а повод тому находился довольно быстро, – ну, например, одно напоминание о том, что завтра понедельник, уроки не сделаны, и вряд ли будут сделаны, потому что гости.

Гостей я любила. Веселую суету «до», – шумные приветствия в прихожей, острый аромат духов (особенно зимой), тяжелую охалку пальто, которую бережно складывала в своей комнатушке, на диване. Дразнящие запахи, доносящиеся из кухни, и то воодушевление, с которым папа накрывал стол. Вилку слева, нож – справа, – и как они все это помнят, эти взрослые, – и еще салфетки! Как не осталось, а наверху? А в шкафчике, а в кладовке? – зажав в кулаке свои пять сольдо, я неслась за салфетками, распираемая исключительностью возложенной на меня миссии.

Кто ходит в гости сейчас? Куда? К кому, скажите на милость? Где то радушие, которого сегодня с огнем не сыщешь (за радушием приходится нестись на оленях, в заболоченные и нетронутые равнодушием места) – не правда ли, как похожи эти слова – «радушие» и – «равнодушие», – кто ходит в гости сегодня с такой обстоятельностью, с такой уверенностью переступает порог, за которым прыгающие от нетерпения дети и едва удерживающие радость взрос-

лые, на что сейчас тратятся неспешные часы досуга, куда подевалась утонченная игра слов, легкость застойной пикировки, невинного флирта и долгого (уже на пороге) прощания...

У ваших детей армянские глаза, – брат был так еще мал, что комплимент я приняла на свой счет, и, улучив удобный момент, ринулась к себе комнату сверять показания. Из зеркальной глади, волнуясь, смотрела на меня неловкая, некрасивая девочка – еще не подросток, но и не дитя, – вопрос внешности уже волновал, но еще не удручал, – у меня армянские глаза, – нараспев произнесла девочка и приблизив взволнованное лицо к зеркалу, заглянула вовнутрь.

Вообще же, девочка эта часто заглядывала туда, в таинственное Зазеркалье, в тщетной надежде обнаружить то, чего не наблюдалось в окружающей ее, девочку, действительности.

Действительность же настораживала. Это странное раздвоение она носила в себе, и расставалась с ним только дома. Здесь, у зеркала, исчезала неловкость, проступало все то, о чем сложно было поведать кому-либо.

Где-то, очень глубоко, плескалось это древнее, глубинное знание, казалось бы, совершенно несовместимое с тем, что было на поверхности. Приходилось долго всматриваться в собственное отражение, пока движения не становились плавными, отточенными, глаза – огромными, – она воздевала руки, поднималась на цыпочках, вращалась вокруг собственной оси, ожидая волшебства.

Волшебство выныривало из зеркальных глубин, вознаграждая упорство, – красота была неуловимой, ее невозможно было застолбить, запомнить, приручить, – как долго нужно стоять у зеркала, чтобы исчез сутулый подросток с неровно подстриженной челкой...

Как часто она приходила к нему обиженной, с оттопыренной нижней губой, с насупленными бровями, – и, о, чудо, под детскими пальцами, разглаживающими зыбкость отражения, проступало Оно.

Взволнованно проводила указательным пальцем по переносице, ощущая гладкость кожи, уязвимость ее и тепло, – обида отступала перед внезапным откровением, – оказывается, она такая, другая, – вытянутая в струнку, замирала, любясь двойником, – запоминая осанку, выражение лица, поворот головы, – вот и сутулости как не бывало, и близорукости нет, а есть тонкие руки, узкие плечи, длин-

ная шея, – все это, скрываемое уродливой школьной формой, обрело право на существование здесь, у зеркала.

Оно спасало ее, затягивало, сглаживало остроту извечного одиночества книжной девочки из хорошей семьи.

Одиночество увязывалось за ней повсюду, барахтаясь под лопатками вместе с тяжелым ранцем, оно было верным попутчиком всегда.

Им будет сложно расстаться. Пожалуй, даже невозможно. Об этом узнает она много позже, заглянув еще глубже в зияющую пропасть зеркал. Зеркал окажется много, одни будут льстить, другие – ошеломлять, возмущать, тревожить, – одно из них, не выдержав напряженности ее взгляда, разлетится на тысячи осколков.

Потрясенная, со втянутой в плечи головой и сжатыми у груди руками, она постарается забыть день и час, не возвращаться к нему снова и снова, – в пролетающих мимо осколках она успеет увидеть все свои страшные сны и ту девочку, согнувшуюся под бременем печального знания.

Конечно, она попытается избавиться от него, освободиться, – казалось бы, чего проще, – перевернуть страницу, и, обмакнув перо в чернильницу, написать, обозначить это внезапное ощущение свободы, жизни, воздуха. Забыть свое отражение в глазах других, смыть муку и тоску узнавания.

Я есть, – я все еще есть, – проводя пальцем по переносице, виску, ключице, – на ощупь, по дюйму, восстанавливая древнее знание, спасительное чувство красоты, она закроет глаза, уже не нуждаясь в подтверждении, она запомнит стоящую по ту сторону реки.

ГРАНЬ

– Все, говорит, понимаю, но это, извини. Этого принять не могу.

Ведь пошлость на пошлости, ни одной внятной мысли или там аллегории, герои – пошлые, жизнь – невнятная, пустая, бесцельная, – ну, объясни мне, дура, за что ты его так любишь?

М. – моя хорошая знакомая, почти подруга, взаимопонимание полное, чувство юмора на месте, – она принимает мою безалаберность, несобранность, отдельность, – оправдывает то, от чего другие бы давно отвернулись.

Один маленький нюанс. Довлатов.

Мое открытие. Моя гордость. Моя свежая, только что обретенная любовь. Мое спасение в бестолковые репатриантские будни, – мой, если хотите, стержень и смысл.

Только что куплены три тома. Не за горами четвертый (но это произойдет много позже, и этот, четвертый, станет особенно любимым и перечитываемым). С восторгом, обожанием и клокотанием в горле цитирую.

М. морщится. Она женщина широких (хотя и умеренно-религиозных взглядов). Шляпка на белокурых локонах не так давно, в прошлой жизни М. была ярко выраженной брюнеткой, полной жизни, огня, убеждений, отваги и безудержной любви к Армении.

– Поверишь, – Армения случилась раньше Израиля. Я приняла ее как первую родину, созвучную моей душе. Аствац. Цаватанем. Майрик. Джур. Шноракалютюн. Баревдзес. Что ты знаешь, я была молода, гораздо моложе, чем ты сейчас, – она приоткрывает миндалевидный глаз и раскачивается, погружаясь в воспоминания.

Двадцать пять лет на Земле Обетованной притушили огонь, поубавили отваги, стерли краски, однако прибавили благоразумия, осторожности.

– Столько пройдено, в конце концов, – алия 70-х, что ты знаешь о настоящей алие, детка, не было ни тебе русских газет, ни русских маколетов (продуктовых лавок), ни книг, – требовалось всего лишь родиться заново, сжечь все мосты, забыв обо всем, что было до. Мы ведь не за колбасой ехали, дорогая. У нас были идеалы. Слово сионизм для нас не пустой звук.

И все же, Армения. Вначале была она.

Нет, до всего был Мандельштам. Запретные, полузапретные листочки, стертые буквы на дрянной бумаге. Откровение. Причастие. Смысл.

Закрыв глаза, она цитирует. К слову, память у нее куда лучше моей. Это середина девяностых. Нет гугла или яндекса, которые всегда в помощь. Таинственные узелки памяти пока не атрофированы переизбытком информации и услужливой подсказкой умных систем.

– Меня и принимали за армянку. Ты не смотри. Я была смуглой, юной, гибкой, с горящими глазами. Как они все смотрели на меня. Армен, Сурен, Вачик, Ваагн. Ты армянка, джана? Я и была тогда ар-

мянкой. Это была моя история. Моя гордость. Мой дух. Моя жизнь. Израиль еще был невнятен, недостижим, призрачное облачко на горизонте.

А потом я вернулась в Киев. Уже объятая тоской, – по звуку, цвету, жару, любви. Это была такая вселенская любовь, захватывающая, безудержная. Она мне снилась, Армения. Глаза снились, лица, голоса. Линии. Краски. Воздух, раскаленный, тронь, обожжешься. Мне снилась другая жизнь, полная глубокого смысла.

И тут я вспомнила. Не то чтобы вспомнила. Просто совпало все. Благодаря Армении я почувствовала себя тем, кто я есть. Я получила свое еврейство, точно скрижали на горе Синай, из рук армян. Хотя они не подозревали об этом. Вот так это происходит. Ты получаешь этот дар. Обретаешь. Благодаря первой любви ты обретаешь новую. Я стала еврейкой благодаря армянам. Я поняла, как можно любить себя, свое, гордиться тем, кто ты есть.

А потом все совпало. Сион. Голос Израиля. Радио Рэка. Те самые люди, те самые книги. Отец так и не простил меня. И я не простила себя. Хотя и сегодня не могла бы поступить иначе. Мой дух рвался из душного Киева семидесятых. Мы больше не увиделись с папой. Никогда.

Она поправляет шляпку и кажется мне ужасно пожилой, надломленной, – воплощение мечты оказалось совсем не таким уж радужным делом.

Жизнь прожита, дети выросли. Квартира (от пола до потолка – полки с русскими книгами, репродукциями, – кстати, первого моего Минаса Аветисяна я увидела у нее дома, – черно-белое издание, пошатнувшее основы мироздания, хотя черно-белый Минас – это нонсенс, ошибка). Квартира одна, другая. Банки, ссуды. Шук в канун шабата. Полные тележки с провизией.

– Господи, когда-то мы были голодны и счастливы. Просто так.

Она вертит в руках книгу, листает, пытается постичь.

– Может, я чего-то не понимаю. Ведь я так люблю армян. Аветика Исаакяна наизусть, – даже ты не знаешь, а я знаю. Паруйра Севака с закрытыми глазами. Но это... Он точно армянин? Наполовину? Ты уверена? Боже, какие-то алкаши, ничего не понимаю.

Вздыхая, возвращает томик на полку, к собратьям. Я пристыженно молчу. Мне нечем крыть, нечем парировать. Есть вещи, ко-

торые сложно объяснить даже единомышленникам. Даже лучшим друзьям. Родителям, детям, возлюбленным. И дело не в чувстве юмора пресловутом, а в очень важной грани. Отделяющей, отдаляющей нас друг от друга. Все дальше и дальше. Практически навсегда.

И грань эта – Довлатов.

«Из жизненных сумерек выделяются какие-то тривиальные факторы. Всю жизнь я дул в подзорную трубу и удивлялся, что нету музыки. А потом внимательно глядел в тромбон и удивлялся, что ни хрена не видно. Мы осушали реки и сдвигали горы, а теперь ясно, что горы надо вернуть обратно, и реки – тоже. Но я забыл, куда. Мне отомстят все тургеневские пейзажи, которые я игнорировал в юности».

БУМАЖНЫЙ ТИГР

Они возвращаются через двадцать, нет, тридцать лет. Запрокинув головы, высматривают своих.

Помните, жила здесь девочка – каждый день она выносила во двор картонную коробку с бумажными куклами. Расстоянием между ладонями он изображает девочкин рост и возраст. Макушкой она упирается в середину ладони, и замирает, сощурившись от удовольствия. Ей всегда хотелось старшего брата. Не чтобы она защищала, а ее. Но под ногами вечно вертелись мелкие. Ровесники младшего. И тогда приходилось изображать сильную, бесстрашную. С распростертыми над стриженными головами могучими крыльями.

Помните, жила здесь девочка с бумажным театром.

Ей было девять. Потом двенадцать. В шортах, китайских кедах, полосатой майке. Индеец Джо. Они за ней табуном ходили, канючили, ждали чуда.

Это была девочка-чрево вещатель. Пищала и басыла разными голосами, передвигая бумажные фигурки внутри картонной коробки. Она умолкала, когда появлялись взрослые. Взрослые все портили. Одним своим присутствием портили. Все переставало быть настоящим. А понарошку ...бумага становилась просто бумагой. И персонажи оказывались плоскими, нарисованными, безжизненными.

Взрослые задерживали дыхание. Старались ходить на цыпоч-

ках. Улыбались ободряюще. Но все напрасно. Все рассыпалось. Истории умирали, скукоживаясь на глазах.

Помнится, она жила на втором. Или даже на третьем. Нет, на втором.

Расстоянием между ладонями он изображает прошлое. Рост. Вес. Упрямую макушку. Дожди июньские, стучащие по крыше. Кажется, там бабушка еще жила. У всех жили бабушки. Почти у всех.

Мальчика звали Эдик. Или Феликс. Ушлый, крутолобый, весь в отца. Все время что-то на что-то менял. Глаза его загорались от непреодолимого желания. Иметь это что-то сию минуту. Выбегал, возвращался с пылающими ушами, сжимая в ладони некий предмет, достойный обмена.

Помните, здесь жила девочка?

Она играла гаммы.. Со второго этажа слышно хорошо. И на первом, и на четвертом. Долго играла. Спотыкаясь. То ускоряя, то замедляя темп.

– Слушайте, дайте уже покой, немножко чтобы было уже тихо.

Точно гриб, выростала на пороге соседка, с перекошенным от мигрени оплывшим лицом.

– Хотя бы уже в воскресенье дайте людям покой.

Держась за висок, отступала к лифту.

И наступала уже тишина.

Крышка со звоном захлопывалась, зато открывалось окно с любопытной девочкиной головой в торчащих как попало заколках.

Он помнил эту девочку. С нотной папкой, ударяющей по ногам. С заколками этими дурацкими, в школьном платье, чуть более коротком, чем положено. Ему нравилось. То, как медленно она идет, специально медленно, это же дураку ясно. Сразу видно, как сильно она торопится в эту свою музыкальную школу.

– Рита! Вернись, ноты забыла...

Да, возможно, ее звали Ритой. Эту странную девочку из другой жизни.

– Ну что, ждем? Едем? – таксист кивает, но не слишком торопит. Счетчик включен. Дело хозяйское. Целый день, с одного кладбища на другое. Там у меня баба с дедом, а там...

Он называл ее «ба». Или баба. Баба Фейга. Во дворе ее дразнили – Ягой. Бабой Ягой. Глубоко посаженные глаза под густыми бровями,

нависающий над верхней губой нос, смуглая кожа, вывернутые губы. Широкоплечая, ходила, переваливаясь, на коротких ногах.

Иди до бабы, иди до меня, – горячая пятерня ерошила торчащие вихры, крупная брошь на необъятной груди царапала до крови.

– Киця моя, иди до бабы. Баба даст вкусное.

Например, коржики из мацы. Болтая ногами, они уплетали эти самые коржики за милую душу, – и Толик с пятого, и Жиртрест, – те самые, которые дразнились, – беззлобно, впрочем, – протянутая из окна первого этажа тарелка с пылающими коржиками, сырниками и еще... такими треугольничками из слоеного теста, щедро усыпанными корицей и сахаром, – тогда еще не было никаких ушей Амана, – просто коржики, внутри которых, боже ты мой, чего только не наблюдалось, – и тебе мак, изюм, и чернослив, и орехи, – на, это для деда, – дед жил в однокомнатной квартире напротив, собственно, иначе и быть не могло, – разве могли ужиться вместе взрывная Фейга и мечтательный «деда». Дед Ньюма в результате множественных комбинаций своего деятельного сына осуществил давнюю мечту, – целыми днями читать газеты, отрываясь разве что на походы в киоск. За следующей порцией новостей.

Несколько раз день в Ньюмину дверь врывалась накрытая салфеткой тарелка, за ней – обтянутая синим трикотажем (отчего-то «ба» носила синее, только синее, оно так шло ее ярко-синим не выцветающим с возрастом глазам) фигура, и дом (с нижними и верхними соседями) замирал в ожидании неминуемого. Старые, а как молодые, честное слово, – улыбались свидетели.

Начиналось вполне безобидно. С энергичного (Фейга все делала с энтузиазмом) раздвигания плотно закрытых штор и проветривания.

– Наум, как же можно. Весь день в духоте.

Дед, смиренно улыбаясь, приступал к трапезе. Он молчал. Пока молчал. Надо дать женщине выговориться. Пусть она все скажет.

И Фейга говорила. Она начинала издали. В какой-то момент казалось, что все обойдется, что обед или ужин уж на этот раз не окажутся поводом для выяснения отношений.

Выяснение уходило корнями в бесконечно далекие времена, – в те времена, когда Фейга одна – «я одна тянула всю эту подводу, вот этими вот руками, Ньюма, а где был ты? Там? Я одна кормила всю

эту банду, спасибо Яше с четвертой обувной, он закрывал глаза на мою фигуру, – а я была молодая, молодая, Ньюма, – я была перец с солью, но – главное – дети, – я кормила детей, – чем? – балетками я их кормила, – по несколько пар за смену я носила вот в этом декольте, – хорошие шили балетки, и Яша (ангел, а не Яша) молчал, только опускал глаза, чтобы не щупать мою фигуру, и не знать, что делается в моем декольте. А я была перец с солью, аджика с огнем, я была молодая, Ньюма, но у меня были – Ленечка, Левушка, Сима, – и слава богу, вахтеры на проходной тоже понимали это, – что детей надо кормить, – тебе вкусно, Ньюма? А?

Весь дом уже был в курсе Фейгиных махинаций с балетками, но самой Фейге отчего-то хотелось, чтобы Ньюма услышал – еще и еще раз, про то, какая она была молодая и красивая, что даже мастер Яша опускал глаза, – нет, он закрывал глаза, опасаясь обжечься ее, Фейгиной красотой.

Ша! – ах, как ждали все этого «ша», – кто мог предполагать, что в тщедушном Ньюме таится недюжинная сила, способная остановить красноречие «ба», – ша, я уже сказал, – Ньюма тщательно вытирал ложку, вилку, прикладывал белоснежную салфетку к губам...

– Старые, а как молодые, честное слово, – видит бог, старыми они себя не считали, потому что прекрасные Фейгины глаза так ярко блистали гневом, обидой, любовью, – да-да, любовью, а что вы себе думаете, – хлопнув дверью, она уже обдумывала ужин, и обед следующего дня, – это было святое, незыблемое,

Пока гремел гром и сверкала молния, этажом выше откидывалась крышка концертного фортепиано, это странная девочка отрабатывала свое ежедневное наказание, – этюды Черни.

Там, за окном, все стрекотало и чирикало, там играли в штандера и в резинку, и потому все свое нетерпение и даже ненависть она вкладывала в силу удара по клавишам.

В картонной коробке томились героини бумажного театра. Лишенные права голоса, ожидали своего часа.

Этюды Черни и прихрамывающие гаммы закончатся, а бумажный театр – навсегда.

Так думала она, или ей кажется, что думала, поглядывая в окно. Могла ли знать, что и у бумажного театра свои отмеренные сро-

ки, что и он однажды канет в прошлое, – почти одновременно со скандалами и коричнево-ореховым «гоменташ».

Как-то все это быстро произошло. Решение об отъезде, хлопоты, переживания, продажа мебели, – старики резко сдали, даже скандалы прекратились. Пока оформлялись бумаги и ждали разрешения, не стало деда Ньюмы.

Послушайте, он же еще утром выходил за газетой, – внезапный уход Ньюмы казался предательством, тяжелой обидой, нанесенной исподтишка, – и Фейга моментально осела, выцвела, постарела.

Никто не помнит, в какой именно день у нее пропал голос. Полностью пропал. Остался сип, но и этим сипом она умудрялась шептать страстные слова любви, – майн кинд, а фишеле, – и слабеющими руками чистить орехи и чернослив, – ах, какие гоменташи готовила наша баба Фейга, – впоследствии сама память об этом станет семейным преданием, – уже там, в новой жизни, – там будет все, решительно все, кроме тех, домашних коржиков из мацы, кроме скандалов и следующих за ними примирений...

– Бедные, куда они едут, в какую-то Америку – уткнувшись лбом в холодное стекло, по которому стекали струйки осеннего дождя, девочка смотрела вниз, на застывших у автобуса, смеющихся и плачущих, хотя, больше, конечно же, второе.

За прошедшее лето многое изменилось. Во-первых, не стало соседей с первого этажа. Во-вторых, она выросла.

Мальчика звали Эдик. Или все-таки Феликс. Ушлый, крутолобий, весь в отца. Все время что-то на что-то менял. Глаза его загорались от непреодолимого желания. Иметь это что-то сию минуту. Выбегал, возвращался с пылающими ушами, сжимая в ладони некий предмет, достойный обмена.

Коллекцию на бумажный театр, идет? – на этот раз подмышкой у соседского мальчика покоился тяжелый альбом с марками. Он выменял его у кого-то на две старинные серебряные монеты, которые он тоже у кого-то...

Идет? – глаза его, серые, упрямые, с рыжиной, заставили ее покраснеть.

И правда, картонная коробка с фигурками открывалась все реже. Как будто стыдясь самой себя, взрослеющей, она играла шепотом, сооружая баррикады из учебников и тетрадок.

– Тебе там будет не до театра, – усмехнулась она, и в улыбке ее (снисходительно-смущенной) обнаружилась еще одна тщательно скрываемая тайна, – ну, например, то, что она выросла.

События того дня оставим за кадром. Некоторые утверждают, что именно тем вечером внезапный порыв ветра выхватил, выбил картонку из ее (или же его) рук, и ворох бумажных фигурок с растопыренными ногами и руками разлетелся над мусорником, который и сегодня стоит на том же углу, ничего ему не делается.

По другой версии, бесценный альбом с коллекцией марок остался у нее, а актерам театра дарована была еще одна жизнь, – с обратной стороны земли.

Они возвращаются через двадцать, нет, тридцать лет. Запрокинув головы, высматривают своих.

***Каринэ Арутюнова** родилась в Киеве в армяно-еврейской семье. В 1994 году эмигрировала в Израиль. С 2008 года живёт в Тель-Авиве и Киеве. Известная присказка: «Талантливый человек талантлив во всём» как нельзя лучше подходит писательнице и художнице, которой одинаково успешно удаётся заниматься и литературой, и живописью.*

Ее рассказы печатались в различных изданиях ряда стран, включая Израиль, Украину, Россию, США, Канаду...

Рукопись неопубликованных рассказов Каринэ Арутюновой в 2010 году вошла в шорт-лист премии Андрея Белого. Дебютная книга «Пепел красной коровы» сразу же попала в длинный список «Большой книги» и премии Фонда Михаила Прохорова «НОС». Вторая книга Каринэ «Скажи красный» вышла в издательстве «Астрель» в 2012 г. Затем были изданы «Счастливые люди» – Ридеро, 2015. И «Дочери Евы» – Ридеро, 2015.

Каринэ успела блеснуть на «слепой дегустации» литературных произведений, проходившей в Санкт-Петербурге осенью 2011 года. Представители девяти петербургских издательств выбирали лучшие фрагменты текста, которые им предоставили без указания имен авторов. Отрывок Арутюновой занял третье место, обойдя тексты Прилепина, Устиновой и Акунина.

Александр ЛАЙКО

СТИХОТВОРЕНИЯ РАЗНЫХ ЛЕТ

КАРТИНЫ
(Сонет с вариантами)

Памяти художника В. Зарубина

I

В растресканном багете золотом,
Как будто бы во сне – и сами в спячке –
Вдруг возникают старые рыбачки,
Цветочницы и море за мостом,

Баркасы, и на берегу крутом
В чепцах чухонки, сгорбленные прачки,
Бельё везут на деревянной тачке,
И, как сосна, белеет в соснах дом.

Там дамы. Музыка. Мужички во фраках.
Крокет в саду. И англичанин в крагах –
Их тени сохранил фотоальбом.

Все без могил уйдут, сгниют в бараках –
Ты, гимназисточка, ты, прапор в баках, –
Тень близкой смерти на лице любом.

II

В растресканном багете золотом –
С зонтами барышни, в платках простачки,
Наездники, закончившие скачки,
Цветастый, словно клумба, ипподром.

Фонарщик влез на столб. Внизу гуртом
К вечеру шествуют и, точно квочки,
Судачат маменьки, болтают дочки,
И море плещет в сумраке густом.

И на Москве, лишь за угол сверну,
В гулянии народном, пенье, пьянстве
Вдруг слышу звук рисованной волны,
Стою, как вкопанный, – ни тпру, ни ну! –
Посредь столицы в «праздничном убранстве»
В виду труда, единства и весны.

III

В растресканном багете золотом –
Бриз, мачты яхт – и вразнобой, и в качке;
Две дамы на мостках и их собачки –
Бесхвостая, а слева – та с хвостом.

Жасмин в цвету. И за его кустом
В любовной и томительной горячке
Хлюст в канотье и кипенной сорочке
К девице движется с открытым ртом.

Картин тех нет, да и самой стены –
Эпоха провалилась за обои,
Но почему-то не даёт покоя
В быту покойно-заспанной страны
Тот живописный бег и звук волны,
Белевший круглым гребешком прибора.

ЭЛЕГИЯ

Как происходят вечера?
Луна восходит, как вчера.
Она садится на карниз,
Затем с улыбкой смотрит вниз,
На город.

С балконов свесился народ –
Поёт и курит, и кричит.
А вот совсем наоборот –
Он не поёт, она молчит –
Чета, считают кирпичи,
Раскиданные у ворот.

Мужчина в комнату идёт.
Включает скачущий экран –
И голос диктора звенит –
И Ватикан,
И клан,
И план...
Бульдозер
И подъёмный кран.
На рычагах весёлый парень
Играет словно на гитаре,
А во дворе кричит татарин:
– Ай, Сталин, ай, товарищ Сталин,
Ты на кого же нас оставил?!

И свадьба –
«Горько!» с потолка,
Как штукатурка гопака.
И снова - «Горько!»,
После – полька,
А справа – восемнадцать арий,
Полёт валькирий или фурий –
Девичник профсоюзных дам.

И гаснут истины реклам,
И под татарские заклатья
Плывут полночные кровати,
Скрипят уключины тахты,
И злоба нищеты, тщеты
Нисходит в чрева
Под музыку любви напева.

НЕМЕЦКИЙ ПАСПОРТ

Офелия пила сырую воду,
А Виолетта пела о любви –
Прибыв надясь в Берлин из Навои,
Девицы здесь не делают погоду,

Но есть соображения свои:
К примеру – замуж выйти с ходу;
На гóтов пожилых ведут охоту,
К венцу готовы, только позови.
Ну, да, не Гамлет. Нет. И не Альфред.
И всё-таки не худшие мужчины:
Курт выпить не дурак, но ортопед,
А Ганс на пенсии – плетёт корзины.

Офелия вино пьёт из пакета.
Поёт в церковном хоре Виолетта.

ГИБРАЛТАР

Тане

Бессоница. Гомер. Аптека.
Тугой кусок холстины грубой –
Белеет парус голубой...
Живи ещё хоть четверть века –
Всё слижет вафельный прибор.

Но прежде нам дано с тобой,
Когда рейх рухнул в одночасье,
Непозволительное счастье,
Тот привкус вольности особый
В запретной прихоти любой.

Дан белый град Бенальмадена --
Засвеченный на солнце кадр –

И мачты яхт, жары угар...
Явь обреталась постепенно –
Прохладой привечал бульвар.

Ну разве не Господень дар –
Помола местного коврижка,
Вина бутыль – так где же кружка? –
Помянем коммунальный тартар,
И третьим будет – Гибралтар.

Что же касается прибоя,
Который волны нам печёт,
То вафля – чёт, то вафля – нечёт,
Объяты синей синевою,
Им и векам теряем счёт.

ВОСТОЧНЫЙ БЕРЛИН В ДЕВЯНОСТОМ

Когда не продохнуть в Берлине от сирени,
И пьян от запаха, едва ползёт закат,
Куда бы ни попал я – на восток ли, запад –
Встречаю мертвецов блуждающие тени,
От ранних сумерек до полной темени
Они по улицам пустынным мельтешат.
То медленно бредут, не узнавая город,
И озираются в кварталах пустырей,
Где югендстиль парил, но буйствует репей,
В глазницах опустевших зданий тьма и холод,
Свинцовой оспою лик ангела исколот,
И прочно досками забит проём дверей.
Под тентами кафе и в кнайпах в этот вечер
Как бы спектакль даёт театр теневой:
Не сообщаясь совершенно с жизнью новой
/Костюмы прошлого и лишь о прошлом речи/,
Герои пьесы цедают пиво до ночи,
И поминально на столах мерцают свечи.

* * *

И прибыл друг мой в Иерушала́им,
Сменил «Будь здоров!» на местное «Лехáим!»,
И если граппу починает в паре,
То наливают каждый в свой стакан.
И видится ему, слезою осиян,
Стакан на ветке в Сретенском бульваре.

Он восседает в шалаше в Суккот,
Задумчивый и никого не ждёт.
Того гляди, какой-то сукин кот
Придёт,
Собьёт музыку, сгинет фраза...
И вдруг – аж оторопь берёт! –
Натужно воет и орёт,
Взобравшийся на минарет
Горластый муэдзин,
Зараза.

Во граде происходят дни Творенья,
В ограде он кроит стихотворенья.
Неспешно отложив своё стило,
Он видит: Трубная от зноя мреет,
Трамвай гремит от Чистых до Гило,
И времени песок хамсином веет.

ОТРЫВОК ИЗ ПОЭМЫ «АНАПСКИЕ СТРОФЫ»

Не мед, но пот – и по усам,
дурею от жары, не знаю сам
зачем я, заплутав, сижу здесь дотемна,
смущаю прах ваш, Евдокия Павловна,
зачем речь сбивчивая к вам обращена –

ряд или бред бессвязных сцен
эпохи социальных перемен,
хмелившей более, чем белое «Ми́цнэ»,

и стольких воробьев проведеншей на мякине...
Лишь стреляный трезвел. Но дело не в вине.

А впрочем, может быть, и в нем.
Я пил с утра, потом в хинкальной днем,
но рядом – пляж и крик, вот и забрел сюда –
маяк, погост, обрыв – сижу, гляжу отсюда
на море, на закат, на дальние суда,

на камень ваш – он у обрыва
отчасти гордо, но и сиротливо
возносится среди оград, крестов болезных,
подкрашенных кой-где стараньями родных,
среди греческих разбитых плит, среди звезд железных.

И алюминиевый цвет
по кладбищу разбрасывает свет
довольно радостный. Фонарь, забор, верста –
все та же краска – памятник или ворота,
скамейка ли, киоск, могильная плита...

Что это? Равенства залог?
Уныние грешно, и, видит Бог,
я, Евдокия Павловна, бегу тоски,
но был мне скормлен этот цвет из детской соски
и он подкрасил кровь, судьбу, потом виски.

Александр Лайко родился в Москве в 1938 году. В предисловии к одной из его книг сказано: «Поэт примыкает к «лианозовской школе» – и географически, и биографически...». Написано одним из ярких представителей этой школы Г. Сангиром. Но сам поэт лианозовецем себя не считает.

В СССР печатал детские стихи, переводы. Ни одной «взрослой» строки напечатано не было. С середины семидесятых годов начал публиковаться в русскоязычных эмигрантских альманахах и журналах («22», «Время и мы» и др.), а после перестройки и в отечественных.

С 1990 года живет в Берлине. Член Союза писателей Москвы, член немецкого ПЕН-клуба, редактор русско-немецкого литературного журнала «Студия/Studio». Участник антологий «Самиздат века», «Русские стихи 1950-2000. Автор трёх поэтических книг: «Анапские строфы», Москва, 1993, «Московские жанры», Мюнхен, 1999, «Другой сезон», Берлин, 2001.

Евсей ЦЕЙТЛИН

«ДОЛГИЕ БЕСЕДЫ В ОЖИДАНИИ СЧАСТЛИВОЙ СМЕРТИ»

Окончание. Начало в № 4 (8) 2018

ИСТОРИЯ ОДНОГО ЗАМЫСЛА

Чтобы «разговорить» *й*, я произношу пространную речь о подлинной истории советской литературы, какой она видится мне сейчас. Вот некоторые фразы из этой речи:

– ... Сколько книг не увидело света под влиянием страха... Огромная библиотека!.. А сколько книг вообще не появилось по той же причине... Страх перед системой диктатуры заставлял литератора облекать в образы чуждые ему идеи... Цепочка, фантазмагорический круговорот: книга писателя формировала «нового читателя» – разумеется, в нужном Системе духе; «новый читатель» в свою очередь предъявлял творцу новые требования... Что происходило, таким образом, под влиянием страха? Банализация литературы, которая росла как снежный ком.

* * *

й встает, подходит к шкафу, где хранится его архив:

– ... А я писал тогда повесть «Бдительность». Писал по-еврейски, с декабря пятьдесят второго по март пятьдесят третьего года.

* * *

«Как родился замысел? Я помню, в газетах замелькали тогда статьи о врачах-вредителях. У меня журналистский нюх. Читая эти статьи, понял: кампания только набирает силу. Росла и моя тревога.

Как раз в это самое время ко мне в редакцию «Пяргале» пришли однажды трое. Представились:

– Мы из горкома партии, хотим поговорить с вами.

Двое из них русские, а один, между прочим, – еврей. Их предложение меня удивило:

– Товарищ Йосаде, мы знаем вас как талантливое литературного критика, активного редакционного работника. Словом, на наш взгляд, вы должны быть в рядах партии.

Я опешил. Потом вдруг представил, что могут сказать мне они же – только через несколько месяцев: «Космополит, вредитель, пробрался в партию, чтобы разложить ее изнутри».

Разумеется, говорю совсем иное, прямо противоположное своим мыслям:

– Это замечательно. Я всегда мечтал о том же, но не решался... Вдруг недостойн? Благодарю вас за то, что вы сами обратились ко мне.

Немного помолчал. И – чуть в другом тоне:

– А у вас есть с собой анкеты?

– Конечно! – Один из них тут же вынимает анкеты, кладет на стол.

– Хорошо. Я потом заполню.

– Зачем же откладывать такое важное дело?

– Но ведь мне нужны и рекомендации.

– Рекомендации, конечно, будут.

Меня всегда спасал и спасает юмор. Говорю:

– Наскоро ничего в жизни делать не могу. Знаете анекдот? «Я один раз сделал это на скорую руку и до сих пор плачу сорок рублей в месяц. Алименты».

Они, все трое, засмеялись – мужской анекдот:

– Ну, если так, вернемся к этому вопросу через несколько дней

Ушли. А я чувствую – приперт в угол. Не ем, не сплю. Что делать? Не знаю. Жене, ясно, ни о чем не рассказываю. Она в таких случаях сразу теряется. Как же выйти из тупика? Может быть, куда-то уехать, сбежать?

Думал-думал и решил посоветоваться обо всем с Александром Гудайтисом-Гузявичюсом. Здесь надо кое-что объяснить. Меня связывали особые отношения с этим литовским писателем, в недавнем еще прошлом – наркомом госбезопасности. Я когда-то написал большую статью о первом его романе «Правда кузнеца Игнотаса». Статья эта, мне кажется, помогла Гузявичюсу войти в литературу.

Автор теперь пожинал лавры, взошел на литературный олимп. Со всем недавно, в пятьдесят первом, роман был удостоен Сталинской премии третьей степени. Правда, Гузявичюс не был уже наркомом госбезопасности, но все равно, не сомневался я, он хорошо информирован, сможет дать мне толковый совет. (Кстати. Как, каким образом, почему Гудайтис-Гузявичюс ушел из этой системы? Не знаю. Оттуда ведь просто так не уходили. Может, ему помог Снечкус? Сказал где-то наверху: «Гузявичюс – большой писатель, создал эпопею. Надо дать ему возможность для дальнейшей литературной работы». Может, и сам он сообразил: нужно уйти вовремя... А может быть, писательское дело и впрямь было для Гузявичюса важнее всего?)

Словом, звоню ему.

– А, Йосаде! Обязательно приходи на ужин. И непременно – с женой.

– Если можно, приду один. Сейчас публикуется ваш роман «Братья», я хочу поговорить о нем, а потом написать.

– Ну, как знаешь.

И вот вечер. Жена Гузявичюса – молодая, моложе его лет на двадцать или тридцать; она, кстати, дочь основателя литовской компартии Капсукаса – сервирует ужин. Но прежде чем сесть за стол, Гузявичюс вспомнит:

– А ведь я тебе еще не подарил переиздание моего первого романа.

(Между прочим, он мне говорил «ты», а я ему: «вы», хотя мы были почти ровесники: Гузявичюс – на три года старше).

Отвечаю:

– Буду рад получить от вас книгу с дарственной надписью.

Однако, услышав мои слова, Гузявичюс вдруг задумался. Я потом пытался представить эти его мысли: «Йосаде – еврей, космополит, завтра его арестуют и найдут книгу с моей дедикацией, а ведь я – бывший нарком госбезопасности; может быть даже, это специально меня сейчас проверяют...»

Передо мной разыгралась сцена, сама по себе достойная описания.

Гузявичюс поднимается с кресла, идет к шкафу. Но потом возвращается к столу, о чем-то рассказывает мне... Через десять-пятнадцать минут снова направляется к шкафу, открывает дверцы,

стоит. Явно растерян. Наверное, рассуждает так: «Дело не только в дедикации, моей подписи, но и в дате. Да, это очень важно – дата! Что если кто-то начнет высчитывать: в какое именно время Гузявичюс решил поддержать космополита Йосаде?»

Я был наивен. Только когда он во второй раз подошел к шкафу, сообразил: Гузявичюса что-то тревожит. Напомнил про книгу. И вот он все-таки берет один экземпляр из стопки и ... говорит жене:

– Знаешь, дорогая, пусть это будет сюрприз супруге Йосаде – сделай ей дарственную надпись!

Вы понимаете, куда он хитро клонил? Но она, капризная красавица, не поняла, в чем дело. Отвечает:

– Я твоя жена, а не секретарша. Подписывай сам!

Что ж, он вынужден взять ручку, пишет: «Товарищу Йосаде – благодарный автор. Гудайтис-Гузявичюс. 6.12.52 г.»

Потом мы ужинали, о чем-то говорили... Но я уже понял: советовать с Гузявичюсом о своих сомнениях – бесполезно.

А потом я ухожу от Гузявичюса. Убитый! Если уж он боится, если уж он дрожит – что делать мне?

Выхожу на улицу. Иду куда глаза глядят. Город тонет в темноте, все шторы опущены, все ворота закрыты. И лишь один дом – целый квартал – в огнях. Это здание Госбезопасности. Зловещая картина...

Я стою на противоположной стороне улицы, смотрю на окна, за которыми идет страшная работа. Думаю: «Вот он, пришел твой конец!»

Что я делаю дальше? Представьте себе – бегу. Бегу домой, в свой кабинет. Уже поздно. Все спят. А мои мысли все о том же: «Как спастись?» Понимаю: сейчас я еще могу сделать последнюю попытку – другой не будет. Мысли работают лихорадочно. И вот я достаю бумагу, начинаю писать.

Я начинаю работать, не имея четкого плана, не зная сюжета будущей книги. Это будет роман или повесть. Моя фантазия разгорается. Я вижу Клайпеду, верфи, где стоят суда. А вот и мой герой: инженер, еврей-сионист. Он ведет какую-то подпольную, в прямом смысле подрывную работу – хочет взорвать эту верфь.

Трагедия? Здесь однако и мое возможное спасение. Если меня придут арестовывать, энкаведисты сразу найдут на моем столе эту рукопись. Изучат. Скажут: «Наш человек». Пусть книга еще не будет

закончена, пусть успею сделать только шестьдесят или восемьдесят страниц, но патриотический замысел автора, развитие сюжета уже ясны.

Словом, писал я на редкость легко. Конечно! Ведь каждая страница приближала мое спасение.

Рукопись и сейчас лежит в моем архиве. Я не только не выкинул, не просто хранил – потом не раз перечитывал этот текст.

А тогда ... Я работал и успокаивался. На каком языке писал? Конечно, на еврейском. Считал: так будет убедительней для следователя.

Мою работу прервала смерть Сталина».

* * *

Что-то в этом рассказе *й* кажется мне странным. Что? Прежде всего, предложение вступить в партию. Совсем по-другому выглядел в те годы этот ритуал! Энкаведисты спешили организовать провозакуцию? Но почему же тогда та история не имела продолжения?

«Все потом забылось, смазалось, в результате сошло на нет...»

Очевидны только две вещи: книга Гудайтиса-Гузявичюса на полке в библиотеке *й*, да рукопись его повести «Бдительность». Она занесена в библиографический список произведений *й*, который он сделал сам, – под номером сто.

СНЫ

9 ноября 94 г. Страхи, как всегда, приходят к *й* во сне: сознание отключается, он перестает контролировать себя.

Вот один из недавних его снов:

«В комнату входит какой-то человек – молодой, симпатичный. В руке он держит шприц. Вокруг – много людей, однако юноша направляется прямо ко мне:

– Давай руку!

Пытаюсь понять его.

– Зачем?

Говорю спокойно, но сам дрожу от страха.

Он улыбается – видимо, понимает мое состояние.

– Так надо.

– Нет, нет!

Я кричу – буквально, не своим голосом.

Он настаивает:

– Да, да!

Кровь стынет у меня в жилах. По-моему, я раньше никогда не испытывал такого. Из последних сил снова кричу:

– Люди, спасите!

Но никто не обращает на меня внимания, даже не смотрит в мою сторону.

Между тем незнакомец подходит все ближе. Я оглядываюсь: куда бы спрятаться? Он предупреждает, уже без улыбки:

– Все равно от меня не уйдешь.

И вот я стою в углу комнаты, отступить некуда. Слышу жесткий приказ:

– Ну, давай руку!

Я снова пытаюсь говорить по-хорошему, умоляю его... Молодой человек меняет тон. Объясняет: укол необходим, он поможет мне, спасет. И вдруг я чувствую: он прав. И сразу, легко подчиняюсь ему, протягиваю руку».

Здесь, однако, он проснется. Весь мокрый от пота. Слушает стук своего сердца. Торопливо берет лекарство. Лежит и думает: «Надо записать этот сон». Но сил нет. Он рассказывает мне этот сон по телефону. Это было позавчера.

«НАИВНЫЙ ПЕРЕЦ МАРКИШ»

«Помню одну встречу с ним. Кажется, в начале сорок пятого года.

Был я в отпуске после ранения. Приехал в Москву с фронта. Перец Маркиш пригласил меня к себе домой

Мы провели вместе долгий вечер: я – начинающий еврейский писатель и он – живой классик. Между прочим, ужин приготовила жена Маркиша – красавица!

Волнуясь, я входил тогда в его кабинет. Сказать, что этот кабинет произвел на меня большое впечатление, значит, не сказать ничего. Высокий стол-бюро: видимо, Маркиш работал стоя. Несколько пишущих машинок. Стопки бумаги. Книжки: с закладками, раскры-

тые, иногда лежащие прямо на полу. Передо мной открылась его лаборатория. Между прочим, о Маркише говорили, что он работает как вол. По многу часов подряд.

Вечер этот начался празднично. А закончился конфликтом, который я переживал долго. Да, мы резко поспорили!»

О чем спорили? *й* помнит смутно. Влюбленный в стихи Маркиша, он воспринимал его как обретенного вдруг старшего брата, которому хотел доверчиво открыть душу. Кажется, говорил об «изнанке» войны, тяжести будущего, растущем антисемитизме, о еврейской культуре, еще существовавшей в СССР, но уже оказавшейся на обочине...

«Маркиш слушал меня, а думал о чем-то своем. Резкие возражения его я не запомнил – они меня не убедили. Запомнилось, что он вдруг сорвался: «Как ты смеешь?!»

Попрощались холодно.

А после войны Перец Маркиш приехал в Литву. Я встречал его на вокзале, отвез на машине в гостиницу. Председательствовал на его литературном вечере. Мы оба не вспоминали о встрече в Москве. Подружились даже. А тогда, во время войны, выйдя от Маркиша на улицу, я думал: как же он убежден в своей правоте! Как же наивен!».

* * *

Еще несколько слов *й* о Маркише – через несколько дней: «Наивен, конечно, был я. Разве он мог вести себя иначе? Знакомы мы были шапочно – встречались несколько раз в Еврейском антифашистском комитете. В тот вечер он говорил то, что должен был сказать. И был, разумеется, прав. Ничуть не оскорбляя его память, добавлю: Перец Маркиш боялся. Как и все мы. Потом я узнал: он был со всех сторон окружен доносчиками».

УБИЙЦЫ В БЕЛЫХ ХАЛАТАХ

– ... И вот, – рассказывает доктор Сидерайте, – приходит ко мне на прием одна больная. Хорошо помню фамилию – Лукьянова. Лечу я ее уже довольно давно и успешно, она относится ко мне не просто с уважением – едва ли не с обожанием. Но Лукьянова не знает, что я

еврейка. И вот на приеме, при сестре, она говорит: «Как хорошо, что в Москве арестовали этих убийц в белых халатах! Нет, я никогда в жизни не пошла бы к врачу-еврею!» Слушаю, не перебивая. А потом прошу сестру: «Возьмите, пожалуйста, историю болезни, отнесите в регистратуру и попросите, чтобы Лукьянову отправили на прием к врачу-литовцу». Та все поняла – и в слезы. «Извините меня, я не знала. Я так вам благодарна!» – «Нет, нет, – отвечаю, – не могу вас лечить. Не имею права». Потом рассказала обо всем главному врачу, которая, представьте, меня одобрила: «Вы поступили совершенно правильно».

* * *

Почему *й* решает написать в семьдесят втором пьесу «Синдром молчания»?

– Мне было важно понять: чем стали для меня события тех лет?

Легко догадаться: пьеса автобиографична. Если, конечно, под биографией понимать не только факты человеческой жизни – «историю души».

* * *

Ремарка: «Это случилось в Вильнюсе в первые месяцы 1953 года».

Да, действие разворачивается в «те самые месяцы». Пик «дела врачей». Агония сталинского режима. Однако главная, сокровенная тема пьесы *й* все та же: страхи...

Автор прав: тоталитаризм, в конце концов, – это дитя наших непреодоленных страхов.

«Анатомия страха» – возможный подзаголовок в пьесе.

* * *

2 октября 95 г. Когда я даю *й* почитать книгу Геннадия Васильевича Костырченко «В плену у красного фараона» (Москва, «Международные отношения», 1994), он изумляется:

– Как много мы не знали! А, вроде бы, все происходило на наших глазах. Оказывается, реальность была страшнее и фантастичнее самых фантастических слухов.

Книга построена на основе документов из архивов ЦК КПСС,

КГБ СССР. Протоколы допросов, сообщения информаторов НКВД, секретные инструкции, «открытые письма», «закрытые партийные постановления», описания изоощренных пыток, хроника антисемитских кампаний, стенограммы многочисленных заседаний, на которых люди клеветают друг на друга и – на себя.

Что разглядел *й* в этом мутном потоке слов?

– Страх! Страх умирающего тирана, его подручных, их жертв...

* * *

Вот и в его пьесе – «коллекция» страхов. Хотя на первом плане один: страх неизвестности. Действие развивается; история еще не подвела «итог»; пока неясно – что дальше? Пока – тишина.

Кажется, тишины больше всего боится врач Сара Эфрос. Коллеги смотрят на нее «пустыми глазами. Знакомые отворачиваются»; молчание «терзает». Чтобы прорвать тишину, она мысленно беседует со своим погибшим в гетто отцом. Увы, тот не может успокоить Сару – только объясняет природу молчания, причину рано или поздно приходящего отчуждения. «Ты еврейка, – напоминает отец. – Лишняя. Везде и во все времена».

* * *

Страхи Йонаса Моркуса. Его беда: Йонасу всегда трудно сказать «нет». В конце июня сорок первого года он придет к тем, кто начал восстание против советской власти в Каунасе. Придет, потому что видит на тротуаре раненых людей, хочет выполнить свой долг будущего врача. А ему дают в руки автомат, заставляют сторожить вещи убитых евреев.

Может быть, заставляют и стрелять? Может быть, это Йонас убил отца своей любимой – Сары?

* * *

Страх Сары: ну как можно даже представить это?..

* * *

Через сорок лет *й* уравнивает палачей и жертв. Уравнивает в одном: и те, и другие живут в плену страхов.

* * *

Страхи еще одного героя пьесы *й* – полковника госбезопасности Гурова.

Кажется, он всемогущ. Именно потому, что знает механизм действия страхов. Сломил волю Сары и Йонаса, сделал их своими тайными осведомителями. Гуров сыграл на советском патриотизме Сары, на ее мечте победить зло, которое стало причиной смерти родных. Гуров пользуется безволием Йонаса, его страхом оглянуться в прошлое. Гуров дает Йонасу возможность снова быть «как все» – выучиться, стать врачом, жениться (неважно, что на нелюбимой).

Чего боится сам Гуров? Как и все, как и Сталин, – смерти. Тут все банально: рак. Однако рак, утверждают медики, очень часто является следствием страха. Причина и следствие таким образом путаются, меняются местами.

Полковника госбезопасности в пьесе *й* тоже преследует тишина: «Где бы я ни находился – дома, на улице, в своем кабинете, днем и ночью – всюду меня преследует подозрительная тишина... Я вздрагиваю от каждого шороха».

* * *

Сначала фамилия полковника в пьесе – Фомин. В черновиках *й*, в переводе пьесы на русский он так и значится. Потом Фомин стал Гуровым.

«Гуров», – так представился когда-то энкаведист, который пытался завербовать *й*.

* * *

Страх становится массовым, овладевает миллионами.

«Странно, все стали трусами, – говорит Сара. – Даже вчерашние герои, возвратившиеся с фронтов».

Йонас замечает новое в жестах, походке, чертах лица: люди съежились, затаились, втянули головы в плечи и спрятали глаза.

* * *

Надо ли упрекать *й* за то, что он особенно внимателен к «еврейским страхам»? В сущности, они привычны, давно уже – часть тебя («генетические» – говорит о них *й*).

Начало второго акта. Сара слушает радио: «...Евреи-космополиты убивают государственных деятелей, наносят ущерб предприятиям и ведут шпионаж в пользу мирового империализма».

Она переспросит отца: «Что же это значит?»

Что? Обычная история:

– Изгнание... Погромы... За десять заповедей Моисея мы заплатили кровью. За то, что еврей из Назарета завещал любить ближнего как самого себя, заплатили кровью. За то, что Маркс требовал справедливости, – снова кровь. Из поколения в поколение реками льется наша кровь. Нас ненавидят, девочка моя.

– Почему же?

– Среди прочего, и за наши постоянные «почему?» За наше нетерпение и постоянное недовольство собой и миром, за наше упрямство.

– Очевидно, мы не можем иначе.

– И за то, что иначе не можем.

* * *

В пьесе – много разновидностей страха. Путей его преодоления гораздо меньше. Вот один: перестать думать. Или (это тоже рецепт Сары): нужно снова «построить лодку», в которой когда-то, в юности, ты плыла вместе с любимым; остальное – забыть.

* * *

Еще рецепт: поверь в то, что преследования евреев справедливы. Заслуженны ежедневные карикатуры в газетах. А «партия и правительство знают, что делают». Попытка самогипноза у Сары: «Госбезопасность на всех нагоняет страх, не знаю почему. Я же, наоборот, верю, что она меня защищает».

* * *

Странен ли сюжетный ход *й*? «Убийц в белых халатах» обвиняли в том, что они якобы уничтожают своих больных. Однако ведь именно об этом задумываются Сара и Йонас, когда им предстоит оперировать Гурова.

Еще одна – страшная – их надежда навсегда избавиться от страхов.

Разумеется, они верны клятве Гиппократа. Хотя во время операции раковая опухоль остается в теле Гурова: больной уже неоперабелен, как выражаются врачи.

* * *

... Из рассказов доктора Сидерайте.

«В Литве скорректировали сценарий «дела врачей», написанный в Москве. Здесь не только никого из медиков не арестовали, – сделали вид, что не поняли довольно прозрачный намек. В Вильнюс поступило указание: нужно усилить спецбольницу опытными лечебными кадрами. Каков был результат «усиления»? Сюда перевели на работу трех докторов. Двое среди них были... евреи – профессор Хацкелис, Кибарскис и я.

Яша сказал мне дома:

– Это хитрость госбезопасности, которая хочет создать новое «дело». Ты погибнешь!

Я бросилась к профессору Кибарскису. Тот развел руками:

– Все бесполезно. Вас никто не выручит. Вопрос решался на самом «верху». Вашу кандидатуру обсуждали подробно. Рекомендовали единогласно – как молодого, но очень способного терапевта.

Так я и проработала в спецбольнице немало лет – правда, потом стала уже только консультантом».

* * *

й закончил «Синдром молчания» в восемьдесят четвертом. Один за другим умирали партийные генсеки. Общество оттаивало от страхов. й тоже преодолел в себе «синдром молчания» – решил предложить пьесу театрам, попробовать опубликовать.

Литовские режиссеры от сочинения й отказались. Поставили пьесу в Москве, в каком-то народном театре. А напечатали только в девяностом.

* * *

Финал. Есть ли в пьесе финал? Гуров приходит к Саре поздно ночью, чтобы арестовать ее и Йонаса. Однако... вместе с ними слушает музыку – прячется от своих страхов в сонату Чюрлениса.

Кажется, все страхи разрешает утреннее сообщение по радио: «Умер Сталин».

Это, конечно, не так. Смерть тирана сама по себе мало что решает для маленького человека. Тиран продолжает жить в душах миллионов. Одни страхи заменяются другими. Может быть, единственный итог для героев пьесы *й* (итог всего случившегося с ними в эти несколько месяцев) – они наконец заглянули, как и автор, в себя. Высказались. Прервали молчание.

ЖИЗНЬ ПРИ СВЕТЕ СМЕРТИ **Из тетради второй**

ПОДАРОК ДОЧЕРИ

«Может быть, это еврейский Бог позаботился снова обо мне. Дал шанс спасти душу. Однажды – с горечью и обидой на жизнь – я все же вернулся в «еврейский край». Тот, который когда-то спешно покинул.

Как это случилось? Знаете одну из теорий происхождения антисемитизма? Когда евреи далеко уходят от собственных корней, забывают о Боге, он посылает своему народу испытания.

Так вот, очередные невзгоды пришли ко мне перед отъездом Аси. В день премьеры запретили постановку моей пьесы «Пятеро за одним столом».

Удар для меня был страшный. А причина очевидна, хорошо понятна всем. Хотя, кажется, ни один человек не вымолвил слово, которое с таким скрежетом произносили советские пропагандисты – Израиль.

Это было на самом пороге семидесятых. Тысячи советских евреев уезжали, как стали выражаться именно тогда, на свою историческую родину. В Литве это началось чуть раньше, чем в других местах. И власти не всегда знали как реагировать. Одних выпускали быстро, другие годами томились «в отказе». Устраивали пикеты у здания ЦК партии, голодали... Я отвлекся от главной нити своего рассказа? История эта, по-моему, достойна того, чтобы чуть задержаться.

Между прочим, все началось и развивалось как детектив.

Я сразу – еще только заканчивал пьесу – почувствовал: драму, где на первой странице стоит еврейское имя автора, поставить будет трудно. А может – невозможно. У театра возникнут сомнения. «Инстанции» обязательно зададут вопрос: уезжает ли и этот автор?

Я долго не решался предложить пьесу какому-нибудь театру. Неожиданно пришла мысль, которую сначала отбросил. /Какая же это литературщина, – думал я/. Однако потом поступил именно так! Да, я послал свою пьесу в театр Вильнюсского университета, но главное – послал анонимно. Так часто делали сочинители в старину. Я хотел, чтобы режиссер оценил мое произведение без предвзятости – не задумываясь о том, какие хлопоты может доставить ему драматург-еврей.

Я доверил свое детище почте. И стал ждать.

Проходит одна неделя. Еще одна. Еще... Я по-прежнему жду, не зная, что делать. В это время моя дочь подала свои документы в ОВИР.

Жду. Надеюсь: скоро как-то разрядится обстановка. Стихнет антиизраильская кампания. Наконец, решаю послать кого-то из знакомых на «разведку» в театр.

И тут в один прекрасный день вижу в университетской газете сообщение / заметка эта и сейчас хранится где-то в моем архиве/. Руководитель театра режиссер Лимантас пишет: к ним поступила интересная пьеса; к сожалению, автор не указал свое имя; что ж, театр так и поставит эту вещь – на афише будет стоять только ее название.

Я обрадовался? Разумеется. Тем не менее... Решил ждать еще. Пьеса нравится театру? Хорошо, пусть начинают репетиции без меня.

Наконец, друзья сообщают: репетиции спектакля идут полным ходом. Тут-то я и появился в театре, представился:

– Автор!

Конечно, я и раньше знал Лимантаса. Талантливый режиссер. Честен, принципиален, не боится постоять за свои принципы. Тем не менее чувствую: Лимантас разочарован. Ясно, он вовсе не против Йосаде, но... На репетициях, куда я теперь прихожу постоянно, разговор все время сворачивают на ту же тему: уезжаю ли я в Израиль? Я говорю ему правду – едет дочь. Конечно, Лимантасу это тоже не

нравится. Репетиции, однако, продолжаются.

Чтобы как-то поддержать театр, я решил быстрее напечатать пьесу. Пусть она пройдет цензуру, пусть с ней познакомятся в ЦК. Так и получилось. Пьеса еще до премьеры увидела свет в «Пяргале», потом вышла отдельной книжкой

И вот – афиша, извещающая о премьере. Спектакль должны играть... в ресторане.

Почему в ресторане? Это был интересный режиссерский ход. Ведь именно за столиком кафе разворачивается действие. За каких-то пару часов здесь завязывается и рушится роман главного героя, молодого ученого, резко меняется его отношение к, вроде бы, совсем простым, но, оказывается, раньше не слишком ясным для героя ценностям жизни. А вокруг – танцы, музыка. Обычный гвалт подвыпивших людей. Политика? Нет, к ней пьеса не имела никакого отношения.

Для спектакля сняли – на два вечера – зал ресторана «Дайнава». Точнее говоря – посетители ресторана в эти вечера должны были смотреть мою пьесу. И даже – так придумал режиссер – по-своему участвовать в действии. Так ли уж это оригинально? В Литве, во всяком случае, такое было впервые.

Как всегда, перед премьерой – генеральная репетиция. Комиссия, которая должна «принять спектакль». В комиссию входят представители ЦК партии, горкома, министерства культуры... Обычно в таких случаях их бывало трое-четверо. А тут пожаловала целая делегация. Человек пятнадцать. Это меня удивило, хотя сразу же сказал себе: «Но ведь и постановка – сенсация».

Я вспоминаю сейчас лица тех, кто был тогда в зале ресторана: мой сын, невестка, несколько друзей-драматургов, ну и, конечно, – актеры, режиссеры. Между прочим, среди них была Казимера Кимантайте. Знаменитая наша актриса, режиссер.

Успех? Это был огромный успех. Если судить по аплодисментам.

Во время обсуждения вначале попросила слова какая-то девушка. Наверное, инструктор горкома. Ее первые фразы повторяли потом почти все выступающие: «А зачем нам такая пьеса? Что, собственно, автор хотел сказать? Советской молодежи спектакль не интересен и не нужен».

Я сразу понял, почему на генеральную репетицию пожаловала

большая делегация. Второе, третье, четвертое выступление... Иначе говорила лишь одна Кимантайте. Говорила страстно, даже с надрывом: «Кто вы такие, чтобы так категорично рассуждать об искусстве? Спектакль замечательный!»

Она демонстративно подошла ко мне. Пожала руку. Обняла.

На том все и кончилось. Больше никто ничего не сказал.

Когда я пришел домой, раздался телефонный звонок. Я снова услышал взволнованный голос Кимантайте:

– Это так оставить нельзя! Я обращусь к Снечкусу!

Да, они были друзьями. Но, подумав, я ответил:

– Не стоит. Вы поставите Снечкуса в неловкое положение. Ведь спектакль никто не запретил. Пусть была критика, и очень резкая, но завтра – премьера.

Утром, я еще спал, когда раздался стук в дверь. На пороге стоял Лимантас.

– Есть приказ руководства университета снять постановку. Премьеры не будет.

Между тем все билеты уже были проданы. Аншлаг. Я легко представил картину: в семь вечера зрителей встречает кассир – возвращает деньги.

Говорю Лимантасу: «При чем тут университет? Нет, мы не должны это допустить. И не допустим! Я сейчас же пойду добиваться справедливости».

Лимантас поддержал меня. Я быстро оделся, мы вышли из дома.

Где я был в тот день?

Сначала отправился к Гришкявичусу. Тогда он занимал пост первого секретаря горкома партии. Мы были хорошо знакомы. Когда-то Гришкявичус, редактируя крестьянскую газету, часто заказывал мне рецензии.

Рабочий день еще не начался. Я ждал Гришкявичуса в вестибюле.

– А, Йосаде! Что случилось?

– Только что узнал: премьера спектакля по моей пьесе отменена.

– Как это так? Немедленно идите к секретарю горкома по пропаганде...»

* * *

Тут я оборву рассказ *й*. Про то, как он пошел к секретарю горкома, а потом – председателю горисполкома, а потом пошел в министерство культуры – в один кабинет, в другой, третий... И все говорили: «Ничего не знаю».

й не сразу понял: это карусель. Он нигде не добьется правды. Где-то – скорее всего, в том же огромном здании на проспекте Ленина – дали точную и не допускающую никаких отклонений команду.

Что это было? Наказание, предупреждение. И, конечно, урок.

А через несколько недель *й* прощался с Асей.

– Вот какой она преподнесла мне подарок перед отъездом...

Он говорит это с горькой иронией. Но, по-моему, ирония напрасна. Да, подарок. Ведь *й* тут же добавит:

– Мне напомнили, что я еврей, что я – еврейский писатель. Потом я об этом уже не забывал.

ФРАГМЕНТЫ ЖИЗНИ

6 декабря 90 г. Мы изучаем лабиринты его жизни. А рядом – другая жизнь – Литва.

Приватизация, растущие цены, нищета, пикеты. Фон, на котором беседы наши кажутся фантазмагорическими. «На самом деле они-то как раз и реальны», – замечает *й*.

* * *

Слова Фицджеральда: «Талант – способность воплотить то, что ты сознаешь. Другого определения таланта дать нельзя». В этом-то смысле он и мучается – сомневается бесконечно: нет таланта!

Его драматургические замыслы гораздо сложнее, чем их исполнение. А сам он – сложнее, интереснее своего творчества (12 октября 93 г.).

О ПРИРОДЕ МОЛЧАНИЯ

«Это только сказать легко: вернулся к еврейской теме. На самом деле – опять надолго замолчал...

Помните, мы собирались поговорить о природе молчания в

страшные те годы? Я подумал сейчас: да ведь об этом и говорим! Все время говорим именно о моем молчании.

Я писал не о том и не то – значит, молчал о главном.

Я таился от всех, сжигал дневники и рукописи – опять молчал.

Впрочем, бывает у писателя тягостное молчание и другого рода. Я его тоже пережил не раз.

Это молчание настигает литератора во время работы.

... Только что написанные мной слова выглядели вялыми, мутными, бесцветными. В безумной тоске я смотрел на гору черновиков. И чувствовал полное бессилие. Я презирал себя.

Длилось это не недели, не месяцы – годы.

Я боялся. Знал: писатель иногда перестает быть писателем – как мужчина перестает быть мужчиной».

* * *

«Но вернусь к своему замыслу. Я решил рассказать о самом больном. О так называемом «деле врачей».

То, что происходило тогда с нами и что ожидало нас, повторялось уже на земле многократно. Как назидание человечеству этот сюжет поведен в Ветхом Завете. В Книге Эстер. А еврейские мамы, наверное, миллионы раз с испугом и радостью рассказали эту историю своим малышам.

С испугом: злодей Аман, главный советник царя Персии, задумал убить всех евреев империи.

С радостью: Бог не допустил погрома! Царица Эстер спасла соотечественников – отвела царский гнев и обратила его на Амана.

Сейчас, перед смертью, я часто думаю: почему враги евреев забывают мудрую притчу, не замечают ясный ее смысл – тот, кто решил уничтожить избранный Богом народ, скоро погибнет сам. В двадцатом веке в роли Амана выступил Гитлер, потом – Сталин. Конечно, в пятьдесят втором году я не раз напоминал себе знакомую с детства историю из Книги Эстер, утешался ее оптимизмом. Однако такими реальными казались страшные слухи. Уже построена виселица в Москве, где прилюдно должны казнить «убийц в белых халатах». Уже проложена железнодорожная ветка на Север – туда, чтобы уберечь от всеобщего праведного гнева, правительство отправит сотни тысяч евреев...

Я вернулся в те дни. Обдумал сюжет. Увидел героев. Но вдруг почувствовал: я должен писать эту пьесу по-еврейски!

Начал. Сделал несколько больших фрагментов. Перечитал. Нет, нет! Все не то. В хорошей пьесе каждое слово стреляет, а мои фразы плавали, мысли – тонули.

Я с ужасом понял: за четверть века молчания мой идиш омертвел, появилось косноязычие».

Что ж, язык, как и человек, иногда не прощает отступничества.

... ПЕРЕД ЗАХЛОПНУТОЙ ДВЕРЬЮ

8 августа 92 г.

По сути ему интересна не проблема «евреи и литовцы», о которой мы говорим часто, но таинственная, запутанная жизнь национального сознания. Любого. Еврейского, литовского, русского, польского...

При советской власти об этом молчали. «Вопрос, на который в нашем доме наложено табу», – говорит Леокадия, героиня пьесы *й* «Захлопнутые двери». А сам автор добавляет – в нашей беседе: «Глупо измерять силу национального чувства. Но вот направить ее можно... Когда-то это гениально сделали основоположники сионизма, сравнительно недавно – создатели «Саюдиса». Их опыт еще по-настоящему не осмыслен в Литве».

* * *

6 июня 95 г. Я перечитал пьесу, над которой *й* работал пять лет (с 81-го по 84-й). Вошел в подзабытую уже атмосферу долго сдерживаемой, сдавленной, точнее – подавляемой национальной стихии. Говорю *й*:

– Похоже на атмосферу парового котла: вот-вот взорвется.

– Так ведь взрыв и произошел. В результате исчезла огромная страна. СССР.

Задача *й* тем более сложна, что он рассматривает национальный конфликт внутри одной семьи. Отец. Мать. Дочь. Сын. Что мешает им жить? Ложно понятый интернационализм.

* * *

Когда национальное чувство загнано в подполье, оно и впрямь деформируется. Директору завода Витаутасу Марукасу кажется: он придавлен «тайной», о которой не подозревает никто. Даже самому себе он долго не решается признаться:

«Свой национализм я впитал с молоком матери... Это нехорошее слово, оно режет слух, но, в сущности, оно означает... любовь к земле, на которой я живу: к деревьям, к траве, которая растет на ней. Для меня они самые красивые... Я хочу обманывать себя... И я обманываю себя... Как я обманываю себя, что мы, литовцы, более трудолюбивые и более способные, и лучше других... Хотя знаю: в моем народе много лентяев и негодяев».

Вглядываясь в себя, Марукас мучительно пытается докопаться до правды:

« – ... Как только я встречаю русского, который умнее меня, или еврея, более способного, во мне пробуждается...

– Что? Что пробуждается?

– Прежде всего, обида, которая вскоре перерастает в зависть.

– И дальше в ненависть, да?

– Я сдерживаю себя. И мне это удается. Почти всегда. Но затем долго еще тлеет там внутри... что-то похожее на злобу, неприязнь к тем, кто эту зависть во мне разбудил».

* * *

Эти признания звучат наивно, почти пародийно? Но не забудем: действие происходит в Каунасе, в семьдесят третьем году. Столь же однолинейно мыслят герои Дж. Оруэлла, О. Хаксли – герои, сбрасывая с себя гипноз фальшивых лозунгов, начинают осмыслять свою жизнь в тоталитарном государстве.

Я опять думаю о судьбе некоторых пьес *й*. Жаль, они не были поставлены и напечатаны вовремя. Может быть, взбудоражили бы общество, стали бы катализатором осмысления «больных» проблем. А сейчас? Те же «Захлопнутые двери» кажутся мне прежде всего дневником автора, написанным в форме диалогов.

* * *

В моем собственном – сибирском еще – дневнике есть несколько страничек, посвященных пожилой еврейке, учительнице музыки: ее мучает непонятная ненависть к собственному народу. «Пыль, – говорила она мне. – Евреи – это пыль, скопившаяся в разных углах мира. Пыль, которую рано или поздно сотрет история».

Антисемитизм, встречающийся среди самих евреев, не так таинственен и непонятен, как может показаться. Это протivoестественная, но вполне объяснимая реакция загнанного обстоятельством человека. Однажды он как бы отделяется от еврейства и начинает ненавидеть соплеменников (они якобы виноваты в его бесконечных неудачах), а иногда – странно абстрагируясь – не может выносить самого себя.

Участь Берты Наумовны была горькой. Однажды перестала выходить из дома. Потом не смогла смотреться в зеркало: не могла видеть свое лицо. Обычное еврейское лицо.

...Оказывается, тот же феномен «еврейского антисемитизма» хорошо знает *й*. Тем же мучаются герои его пьесы.

«Я не еврейка. Не еврейка, вы слышите! Поэтому я требую от вас... Я не желаю ни малейшего намека... Чтобы меня ненавидели и наказывали... не за свои грехи! Я к ним никакого отношения не имею. Меня ничто с ними не связывает».

Это жена Марукаса, Мария. Передовая учительница, «убежденная интернационалистка». Ах, как стесняется она своего подлинного имени – Мириам. Ах, как хочет быть литовкой. Ее биография – за пределами пьесы. Легко догадаться: девочку спасли во время войны, прятали в каком-нибудь тайном убежище. А может быть, она легально жила по документам христиан...

Мне кажется, этот психологический тип не слишком характерен для литовского еврея (зато как характерен в России!), но я знаю *й*: он наверняка встретил Марию-Мириам в жизни. Может, на своей улице?

* * *

Антисемитизм разъедает души детей Марукасов. Все тот же круг. Сын, Юргис, несколько лет подряд не может поступить на медицинский факультет. Сначала он ненавидит профессора-анти-

семица. А потом начинает стыдиться своей внешности, «горбатого носа», собственной матери:

– А ну, давай, встанем к зеркалу и посмотрим... Если я не похож на тебя, то на кого же?

Его гнетет и другое:

– ...Почему я должен об этом молчать? Почему я не могу этого рассказать даже вам, моим самым близким людям?

* * *

12 сентября 95 г. Да, пьеса *й* – свидетельские показания. Фиксация нигде не запечатленных психологических процессов. Точен ли *й*? Бесспорно. Я и сейчас сталкиваюсь с тем же феноменом. Дочь В., ребенок из смешанной семьи, говорит на днях:

– Ну как же это страшно – быть евреем!

ТАЙНИКИ

Среди прочих забот *й* долгие годы остается такая. Прохаживается ли он по своей квартире, прогуливается ли по двору, покупает ли что-то из мебели, один вопрос – всегда перед ним: нельзя ли здесь устроить тайник?

Тайник должен быть простым, доступным. Но прежде всего – надежным.

й ставит себя на место сотрудника госбезопасности. Вот входит в помещение. Вот начинает искать. Что сразу привлечет внимание? Какие возникнут подозрения?

Он раз и навсегда определяет места, куда что-либо прятать глупо: гараж, веранда, антресоли, подвал, спинки диванов и кресел, банки с крупой... Туда прячут все!

Впрочем, важно уточнение: что ты хочешь спрятать? надолго ли?

– Одно время /в семидесятые годы/ я прятал пишущую машинку с еврейским шрифтом. Но я прятал ее, если так можно выразиться, поверхностно. Попечатав часок-другой, убирал машинку от любопытных глаз – нет, уже не от сотрудников, но от агентов КГБ, которые могли быть среди моих приятелей. Я предупреждал возможные вопросы, шушукания, донос: Йосаде – сионист.

Иное дело – рукопись. Ее лучше всего прятать среди бумаг. Например, в папке с двойной обложкой. Еще совет: самые опасные, компрометирующие страницы можно из рукописи изъять – их, в конце концов, восстановишь потом по памяти.

Очень важный фактор – характер времени. Пятнадцать лет *й* прятал свои автобиографические записки. Любые изменения в Кремле, смену шефов КГБ он примеривал к своей трэфной работе: надо ли перепрятать заново? А может быть, уничтожить вообще?

Изобретал все новые и новые тайники. Перекладывал рукопись с места на место. Заставлял – в свое отсутствие – то же самое делать жену.

* * *

«Я помню, как закончил пьесу «Синдром молчания». Сказал себе: «Дома ты не имеешь права держать подобный текст. Его надо спрятать особо тщательно. Причем, за пределами квартиры».

Но кому, куда отдать? Думаю об этом долго. Анализирую все свое окружение. И вдруг догадываюсь: один из моих друзей – информатор КГБ. Это может мне повредить? Конечно. Но я решаю: именно он и должен помочь!

Я приглашаю этого человека вместе с женой в гости. Читаю им пьесу. Потом – ужин, неторопливая беседа. Тут-то и говорю:

– Видите, друзья, какое родилось у меня дитя. Нам опасно быть рядом. Ведь я еврейский писатель, мало ли какие события нагрянут, вдруг – обыск? Словом, не могли бы вы меня выручить, взять эту рукопись? Ты, – обращаюсь к агенту КГБ, – не связан с еврейской культурой, никому даже в голову не придет искать у тебя.

Мой расчет оказался точным. Отказать ему уже неудобно. Был ли риск, что донесет? Нет. Ведь я четко предупредил: ты – единственный, кто знает о пьесе.

Следующую свою работу из еврейского цикла – «Захлопнутые двери» – я тоже хранил у него. Это был мой самый оригинальный, самый надежный тайник».

«РАЗВЕ ВАЖНО, НА КАКОМ ЯЗЫКЕ ПИСАТЬ?»

Так убеждает себя *й* в течение многих лет. Его доводы:

– ... У каждого народа (у каждого без исключения!) язык – основа существования, основа культуры, суть национального начала. А у евреев? Нет, нет! Несколько тысяч лет мы меняем свой язык. И оказалось, для нас это не главное. В еврейском писателе запрограммирован не язык – наша история.

– ... Вы хотите сказать, что, уйдя в литовскую литературу, вы остались еврейским писателем?

– А как же! Я остался евреем.

* * *

«Что-то особенное есть в самом взгляде еврейского литератора на мир!»

Примечательно: это говорит не *й* – один из его приятелей, литовец. Театральный критик.

Он сидит в кресле, подыскивает все новые и новые аргументы. Наконец, предлагает:

– Йосаде, у тебя большая библиотека. Хочешь мы проведем эксперимент? Открой любую книгу, дай прочесть мне небольшой отрывок. Совсем небольшой, чтобы я не мог догадаться, кто автор. Угадаю другое: его национальность, точнее – еврей он или нет.

Вспоминая тот вечер, *й* разводит руками:

– Я доставал с полки одну книгу за другой Он читал... Три – четыре – шесть строк. Представьте, он не ошибся ни разу!

й добавляет не сразу:

– Наверное, вы догадались: мой приятель был «немножко антисемитом». Мы встречались с ним часто. Мы были интересны друг другу. Но скажите, дорогой мой, все-таки: чем же отличается взгляд еврейского писателя на мир? /10 декабря 90 г./

В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОЙ СВОБОДЫ (начало)

Письмо к дочери. Дата: 15-20 марта семьдесят третьего года.

Конечно, *й* не рассчитывал на опубликование этого письма. Ему надо было освободиться от страхов. Очиститься. Выговориться. Попытаться понять: что сделала с ним эпоха и что сделал с собой он сам? Иначе жить было невозможно. Рассказать обо всем по-прежнему никому не мог. А уж записывать на магнитофон *й* тогда бы не согласился ни за что на свете («верх глупости»).

* * *

Письмо опубликовано в журнале «Пяргале» в 1988 году под названием «Моя тайная шкатулка». По мнению многих, это лучшее произведение *й*.

Что произошло? «Обыкновенное чудо» искусства. Он писал «Шкатулку» с «психотерапевтическими целями». А попутно, почти случайно нашел СВОЙ ЖАНР в литературе.

* * *

Найти свой жанр – это и есть залог писательского самоосуществления. И это всегда так трудно! Самый первый пришедший в голову пример: баснописец Крылов, знавший цену собственному таланту, считал тем не менее: его подлинное призвание – трагедии.

* * *

й тоже ошибся. Начинал с прозы. Потом стал литературным критиком. Затем долгие годы писал драмы. А его жанр в литературе – исповедь (будь то дневник, мемуары или «письма»).

Это то, к чему *й* всю жизнь тянет. То единственное, что сейчас ему по-настоящему интересно. Его привлекает самоанализ, хочется копаться в нюансах, мелочах собственных ощущений.

й никогда не надоедает говорить о себе. «Да, я эгоист! – заявляет он, отвечая на упреки своих близких. – Но это особого рода эгоизм – только сосредоточившись на самом себе, писатель может понять человечество».

В отличие от многих, *й* не боится публичной исповеди. Даже те-

атр так близок ему, потому что на подмостках исповедуются. Наши беседы радостны для *й* все по той же причине.

* * *

Догадывается ли он, как чудовищно ему не повезло? Время, в которое выпало *й* жить, было характерно особым презрением к личности.

Символ времени: уничтожение дневников и писем.

Символ времени: «усредненная серость», так называемый «винтик».

* * *

21 ноября 94 г. «Я и сам знаю, что выхода нет». Это он о лабиринте своих проблем.

ЛАБИРИНТ ИСЧЕЗАЕТ, когда *й* начинает писать автобиографическую прозу. Художественное творчество – это всегда новая реальность. Здесь по-особому живут – уже не вступая друг с другом в спор – все его проблемы, сомнения, страхи. Да и сам творец этой гармоничной реальности не может быть несчастен. Для него наступает очищение. Катарсис.

* * *

Обычно *й* пишет трудно. Большое эссе – 78 книжных страниц – он набросал за шесть дней. Конечно, при подготовке к печати отделявал, шлифовал. И все же в тексте отчетливо различимо легкое, свободное дыхание автора.

* * *

... В его автобиографической прозе нет насилия и над характерами героев, которое я часто нахожу в драмах *й*. Люди здесь живут на редкость естественно. Конечно, зачастую они ошибаются, ломают свою жизнь. Но может ли быть иначе?

Как почти всегда, поступки людей противоречат их целям, мечты – убеждениям.

Вот отец автора. Имея красильню, сушильню, коптильню, он хочет стать крупным фабрикантом – создать фирму, известную всей Литве. При этом не признает бухгалтерию, подписывает, не глядя,

чеки. Он верит: кругом – честные люди, никто его не обманет... Этот странный фабрикант живет чувствами, его жена руководствуется логикой. Она дает мужу верные советы, которыми тот решительно пренебрегает. И это (а не только измена мужа) отдаляет их друг от друга все больше и больше. В конце концов, отец автора (как потом сам *й*) попадает в лабиринт. Отчаяние душит его. Он начинает помыкать близкими. («Он феодал, мы – рабы», – фиксирует *й*, не замечая, что ту же систему отношений выстраивает позже в своей семье).

* * *

Но, конечно, главная удача автобиографической прозы *й* – образ повествователя. «Теряюсь в джунглях внутреннего «я».

Загадка притягивает читателя.

В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОЙ СВОБОДЫ (окончание)

... В этом жанре у *й* – безусловность самооценок.

* * *

Увы, ему долго казалось: главное для художника слова – писать о больших событиях, которые происходят на исторических переломах. В архиве *й* хранится рукопись неопубликованного романа на еврейском языке «Честный труд». Автор работал над романом после войны: вглядывался в судьбы евреев-строителей – они прошли фронт, гетто, потеряли близких и все же верят в завтрашний день... Почему роман так и остался в рукописи? Автор не решился заглянуть в души героев.

* * *

Теперь он совсем иначе формулирует задачу творца. Да, надо всмотреться в самого себя; «НАДО СЕБЯ РАСКОЛОТЬ КАК ОРЕХ, и почувствовать сердце».

* * *

... И здесь бьется все та же, десятилетиями терзающая его мысль: почему я так мало сделал в литературе?.. Кто в этом виноват?

Крупными буквами *й* выделяет главное: «Я НИКОГДА НЕ ИМЕЛ ДУХОВНОЙ СВОБОДЫ». Признается, что с раннего детства ощущал: «...мою свободу ограничивает какая-то вражеская сила. Я чувствовал за спиной ее холодное дыхание».

Проще, удобнее всего было бы связать отсутствие свободы с КГБ или с любой другой организацией тоталитарного общества. Но *й* видит причину глубже... Где-то «в глубине» собственного существования. Опять-таки в генах? Мысль эта еще не осознана *й* по-настоящему. Она только промелькнет в письме...

* * *

Однажды говорю ему: «Наши беседы можно назвать по Прусту – «В поисках утраченного времени». *й* добавляет: «Так же правильно назвать их: «В поисках утраченной души».

Сейчас, когда я читаю его письма к дочери и сестре, в голову приходит еще одно уточнение: «В поисках утраченной свободы». Ради этого он и писал.

* * *

СКАЛЬПЕЛЬ. Что привлекает читателей его писем, интервью, воспоминаний? Интонация – спокойно-бесстрастная. Перед смертью *й* говорит все. Не щадит никого. И, прежде всего, – себя. Многим кажется это пределом самообнаженности и самобичевания. «Больно читать, больно следить за тем, как автор рассказывает о себе самом. Будто скальпелем делает разрез на собственном теле» (отзыв читателя-врача).

* * *

Почему этот скальпель животворен для *й*? Я нахожу ответ в книге нашего современника – мистика и математика, знатока Каббалы и Талмуда раввина Адина Штайнзальца: «Раскаяние позволяет подняться над временем, дает возможность управлять прошлым, менять его значение для настоящего и будущего».

* * *

Только один пример из «Тайной шкатулки». Один эпизод: «МИ-РАЖ».

«... Тем временем кампания против «убийц в белых халатах» приобретала все более широкий размах. Мучительно потянулись свинцовые дни. Мучительно, в каком-то тумане, таяли бессонные ночи. Сменяли одна другую недели, пропитанные страхом. Пока...

Внезапно в редакции зазвонил телефон. Говорил Палецкис – Председатель Президиума Верховного Совета Литовской ССР.

– Йосаде? Приходи в Президиум. Тебе приготовлен пропуск. Сейчас десятый час. Жду тебя ровно в одиннадцать.

Через час я сидел в кабинете президента, у огромного – хорошо помню – блестящего письменного стола. /Почему-то показалось: стол – из слоновой кости/.

«Вот два написанных мной рассказа, – сказал он, словно продолжая ранее начатую беседу. – Оба по шесть страниц. Будь добр, прочитай их, но очень внимательно. А я на десять минут выйду.

Я прочитал. Очень внимательно. На одном дыхании... У меня потемнело в глазах. Передо мной лежали две сценки из жизни гетто. Я увидел голодных детей. Услышал выстрелы, крики. Испуганные люди куда-то бежали, спешили спрятаться... Акция уничтожения. Слезы евреев, муки евреев.

Вскоре Палецкис вернулся в кабинет и сел напротив меня. «Прочел?» – «Да». – «Как написано?» – «Гм... впечатляюще.» – «Йосаде, я Тебя очень прошу, сделай так, чтобы рассказы были напечатаны в «Пяргале». Я знаю, Ты – хозяин там, Ты сможешь... Договорились?»

Милая Ася, я вышел из кабинета и еще долго не мог прийти в себя. Я скорее всего был похож тогда на эпилептика, который никак не может оправиться после припадка.

«Неужели Палецкис такой наивный человек и сам не понимает, что теперь такую ересь нельзя печатать?» – спрашивал я себя, а в сердце... Признаюсь, хотя я много лет знал этого честного литовца, настоящего интеллигента, у меня возникло мерзкое подозрение: это провокация...

Конечно, рассказы о гетто журнал не напечатал. Вроде бы, я их показывал редактору, а, может, и не показывал, уже не помню.

По разным поводам мне потом случалось встречать нашего президента в Союзе писателей, но никогда, ни словечком он не намекнул о той беседе.

А вскоре, 5 марта 1953 года, умер Сталин».

* * *

й воскликнул в «Тайной шкатулке»: «Это осталось в памяти как мираж или точнее – спиритический сеанс.»

Мне он комментировал тот же эпизод резче: «Очередное ослепление. А в результате – я помешал Палецкису сказать свое слово в защиту евреев».

* * *

ДЕТАЛИ. Именно исповедальные жанры – дневники, письма – глубоко, порой неожиданно открывают психологию человека. Это доказывает литературовед Л.Я. Гинзбург в своей книге «О психологической прозе».

Это по-своему доказывает и автор «Тайной шкатулки».

Многие детали здесь по-настоящему многозначны. Я долго не верю в то, что *й* искренне разделял коммунистические догмы. Но вот нахожу в его «Шкатулке» подробность, которую вряд ли придумаешь. Ночами *й* мысленно беседует с первым секретарем ЦК компартии Литвы А.Снечкусом. О чем? О разном, в том числе – о писателях, литературных героях...

* * *

«МОЕ РУЖЬЕ – ПОЛНАЯ ОТКРЫТОСТЬ», – сказал сегодня *й*. Точнее всего это относится к его автобиографической прозе. Жаль, в других жанрах ружье не стреляет. Да и вообще, если говорить о литературе, стреляет редко.

Парадокс: *й* нашел свой жанр. Это подтверждает литовская критика, восторженно отозвавшаяся на появление в печати «Тайной шкатулки». Но что-то мешает *й* сосредоточиться только на исповеди. Что? Может быть, инерция: как же! он – драматург, он решил написать цикл пьес на еврейскую тему, он должен доказать себе и другим... А может, мешает ложное понимание иерархии литературных жанров: на первых местах жанры крупные – роман, повесть, драма,

а мемуары, дневники, письма будто бы ютятся на обочине... К тому же – в последние годы – «нет сил». Последние силы *й* отдает пьесам. Исповедь – в прямой ее форме – удел наших бесед /1 октября 94 г./

ЧЕЛОВЕК НА ПОРОГЕ *Из тетради третьей*

ЗНАКИ

2 апреля 95 г. Прошло уже два года с тех пор, как *й* сказал:

– Вы безошибочно почувствуете приближение моей смерти. Я, подобно многим умирающим, буду обманываться надеждой, но вы-то не ошибетесь!

й прав. Знаки смерти хорошо различимы в его глазах, голосе, движениях. Существует огромная литература о том, как читать подобные знаки – например, книги тибетских целителей. Но сейчас эти указания ни к чему. Путь *й* к смерти – точно или менее точно – отражен в моем дневнике.

* * *

8 августа 95 г.

Прощаясь, каждый раз пытаюсь как бы вобрать, удержать в памяти его маленькую фигурку, острый взгляд из-под густых бровей... Да, я помню: это лицо старого актера, который так хорошо умеет менять выражение в зависимости от новой роли. И все же...

– Следующего раза может не быть, дорогой мой, – говорит *й*. Я различаю улыбку в его голосе. Но при этом вижу тоску в глазах.

Да, следующего раза может не быть! Придя через две-три недели, легко замечаю перемену в нем: похудел, как бы подсох весь, еще резче морщины. Меня переполняют жалость и нежность, которые стараюсь никак не выказать.

* * *

Человек на пороге смерти. Это – прежде всего – особое состояние психики. Что-то заставляет *й* вновь и вновь напоминать себе сейчас старую истину, которая предельно точно выражена в еврейской книге «Поучения отцов» /«Пиркей авот»/:

«Рожденным предстоит умереть, умершим – воскреснуть, а живым – предстать перед судом».

ВОЛНЫ СТРАХА

й решил до конца разобраться в истории своих страхов. Решил проститься и с ними. Я тоже снова задумываюсь над этим сюжетом.

* * *

«СВОБОДА ОТ СТРАХА»... Ее – как одну из главных ценностей человеческой жизни – обещал дать американцам президент Рузвельт.

Старый вопрос: хочет ли приблизить эту свободу сам человек?

Я не оговорился. Вместо слова «хочет», вроде бы, надо употребить слово «может». Но ведь рабы зачастую не покидают своих камер – даже если двери открыты.

* * *

После войны й не мог уехать из СССР (Литву разрешили покинуть только бывшим польским гражданам). Однако ведь не уехал и в начале семидесятых, когда началась репатриация советских евреев.

* * *

ВЫБОР ЖЕНЫ.

– Я всегда мечтала об Израиле, всегда в душе была сионисткой, – рассказывает мне четверть века спустя доктор Сидерайте. – А после отъезда Аси и брата совсем затосковала. Яша же был настроен категорично, даже не допускал мысли о репатриации. Конечно, я не могла уехать одна. Ведь он был серьезно болен! Предать мужа? Нет, нет! Однако я знала: он боится, что я изменю свое решение. Однажды устроил небольшой спектакль по этому поводу. В присутствии наших гостей из Ленинграда – писателя Анатолия Горелова и его жены – заявил с надрывом: «Вот увидите! Скоро Шейнеле бросит меня! Одного. Больного». Я удивилась. У меня не было даже сомнений.

* * *

ФОРМУЛА ЗОЩЕНКО. Казалось, логика *й* очевидна. Кем он будет в Израиле? Нищим, никому не известным литератором. Идиш там не в почете. Жалкое существование. *й* любит показывать книги своих израильских друзей. Мизерный тираж. Целую страницу занимают нередко имена спонсоров: им «автор выражает искреннюю признательность» за сто, двести, триста шекелей.

Его рассказ о творческом вечере Г. Ошеровича в Тель-Авиве. *й* коробит деталь: у входа в зал, на столике, – специальная коробочка для пожертвований в пользу выступающего поэта. «И никто не понимает, как же это унизительно!»

Он отказывается от свободы ради того, чтобы остаться писателем. Но можно ли разорвать эти понятия?

Так поступили многие литераторы-евреи в бывшем СССР. Обманывали себя тем, что сумеют... обмануть режим. Их попытки были обречены не только из-за цензуры или КГБ. Главной была причина, которую (думая, конечно, о себе) сформулировал в дневнике М. Зоценко: «Писатель с перепуганной душой – это уже потеря квалификации».

* * *

Тема преодоления страхов волнует *й* всегда. То подсознательно (когда пишет в 73-м письмо Асе), то – так часто у писателей – он переносит проблему в творчество. Интересен в этом отношении непоставленный киносценарий *й* «Прибой».

Герой, как и автор, размышляет о смерти. Просыпается в холодном поту, измученный кошмарами. Чем объяснить все возрастающую тягу Йонаса слиться с морем? Он чувствует: сливаясь с морем, перестает быть одинокой песчинкой в мироздании. Он – часть монолита, часть природы, которая не знает страха.

* * *

Строгий, едва ли не мелочный контроль за собой: не сказать бы лишнего, губящего слова! Опасливый взгляд на телефон. Нотации жене и детям:

– Хватит болтать! Наверняка сейчас прослушивают разговоры всех интеллигентов. Тем более – писателей. Тем более – евреев.

Или:

– Если хочешь с кем-то поговорить откровенно, уходи дальше от комнаты, где стоит телефон. Даже неподнятая трубка таит опасность: она служит отличным микрофоном, который КГБ включает по мере необходимости.

Бесконечные разговоры о хитростях КГБ: «Специально отключат телефон, приходят потом под видом монтера – будто бы ремонтировать; на самом деле – вставить специальный жучок».

Восстанавливаю эти их семейные беседы (пятидесятых-семидесятых годов) с помощью самого *й*, доктора Сидерайте, Иосифа.

– Какой был выход? – переспрашивает *й*. – Во-первых, молчание, почти полное игнорирование телефона. Но это как раз могло вызвать подозрение. Лучше – сознательная дезинформация. Иногда тонкая – с полуправдой, иногда – грубая с верноподданническими признаниями. А что? Пусть КГБ докажет, что я не правоверный, не их...

* * *

Жизнь идет волнами. И страх – волнами: то приближаясь, то отступая.

й не может жить все время, как плотно сжатая пружина. Распрямляется, дышит свободно. Потом...

* * *

НЕУЖЕЛИ ВОЛНЫ СТРАХА СВЯЗАНЫ С ГЕОГРАФИЕЙ? Есть такие места – даже внутри советской империи – где страх *й*, кажется, исчезает. Он постоянно ездит в дома творчества Союза писателей Три-четыре месяца в году проводит в Коктебеле, Дубултах, Пицунде, Малеевке...

Известные «тусовки» литературной интеллигенции, как сказали бы сегодня. Я тоже помню их атмосферу. Иллюзию свободы. Там *й* не хочется думать о подслушивающих аппаратах. «Пусть магнитофоны записывают – пленки все равно потом перепутают, – шутит одна моя знакомая. – Ведь крамола звучит в каждой комнате».

й в домах творчества раскован. У него здесь точно выверенная роль: многоопытный европеец. Он разрешает себе держаться этим еретиком.

Почему *й* с удовольствием рассказывает мне несколько похожих друг на друга эпизодов? Он когда-то считал их своими победами.

* * *

– В Ялте – лет десять назад – я зло высмеял двух еврейских писателей. О чем они спорили? Да все о том же – о положении еврейской культуры в СССР. По глазам вижу: все они знают, все давно поняли – как и я. Но спорят. Я долблю свое; они, дуэтом, – свое. Ставят «галочку». На случай, если кто-то из нас троих все-таки донесет... Я им это, в конце концов, и объяснил.

– Вообще еврейские писатели (те, что еще остались в Советском Союзе после всех чисток) перепуганы насмерть. Звоню раз одному приятелю в Киев. Поздоровались, перекинулись парой слов. Спрашиваю:

- Как у вас с продуктами?
 - Это не телефонный разговор».
- И кладет трубку.

* * *

Он боролся со своими страхами, смеялся, издеваясь над страхами чужими.

* * *

...И был еще запомнившийся *й* надолго конфликт его с известным русским поэтом Сергеем О. Сидели они в столовой дома творчества за одним столиком.

«Знакомы были уже прежде, но – шапочно. Потому в первый, второй, третий день обменивались малозначащими фразами – что называется, нюхали друг друга: я – его, он – меня. Потом начинаются дискуссии! Я ругаю советскую политику. Он защищает. И так ежедневно! Наконец, однажды О. не выдерживает. Берет свою тарелку, встает, уходит за другой столик. Громко, на весь зал объявляет:

- Не хочу сидеть рядом с антисоветчиком!

Как прореагировали окружающие? Никак, в сущности. Кто-то засмеялся. Кто-то отвернулся. Кто-то даже голову не поднял. Это было в Малеевке, в семьдесят девятом году».

* * *

Образ правдолюбца. Почти героя. Почти диссидента.

ПОМЕТКА ДЛЯ ЧИТАТЕЛЯ

Страх – фундамент страны, гражданином которой *й* был полвека. Но с годами меняется «качество» его страхов. В 40-50-е: страх тюрьмы, лагеря, физического уничтожения. В 60-80-е: страх лишиться «духовного комфорта», возможности писать...

Впрочем, я не хочу сейчас составлять реестр страхов *й*. Ведь они переплетаются, наплывают друг на друга...

Увы, страх – это реальность жизни, а вовсе не исключение из правила. Страх, как одну из движущих сил человеческого поведения, всегда берут в расчет психологи, педагоги, политики. О страхе перед Всевышним говорится на многих страницах Торы. Но опять-таки – тут уже совсем другое «качество» страха: он не унижает, а возвышает личность. Помогает людям оставаться людьми.

ПУТЕШЕСТВИЕ В ИЗРАИЛЬ И ОБРАТНО

«Мне стыдно рассказывать об этой поездке к дочери. Да, опять подступил страх. Вроде бы, на календаре – восемьдесят третий год, я знаю: никто меня не арестует. Вроде бы, Израиль так далек от Советского Союза. Вроде бы, кругом – свои... Я все это понимаю и – боюсь говорить откровенно. Нет, дочь меня не мучает расспросами. А вот сестра... Никак не дает покоя. Я же выстраиваю мысленно цепочку: у моей сестры – муж, у мужа – тоже сестра, у той – тоже муж, у них – дети... Скажу что-то не так, аукнется очень далеко. Дойдет до Союза писателей! Больше не пустят за границу.

Словом, я держу язык за зубами! Из-за этого, конечно, тоже возникают конфликты. Как-то раз мы с Ошеровичем отправляемся в гости к известному поэту, пишущему на идиш. Тот начинает со мной прямой разговор о происходящем в Союзе. А я ... не отвечаю. «Вы что, Йосаде, боитесь меня?» – «Не боюсь. Но мне нечего добавить к тому, что вы знаете сами»...

Мне постоянно кажется: я и в Израиле – под колпаком КГБ.»

* * *

В Израиле *й* опять вспоминает «человека в черном». Его облик, конечно, трансформируется согласно «времени и моде» – суть остается.

* * *

«Перед отъездом меня вызвал к себе заместитель министра. Обычно, если за границу отправлялась какая-нибудь делегация, ее инструктировал капитан или майор. Проводил своего рода семинар: что и где говорить, что можно и чего нельзя делать, как реагировать на происки врага. Для меня сделали исключение – писатель. Заместитель министра краток:

– Товарищ Йосаде, я вас хорошо знаю. (Интеллигентный человек, он, наверное, следил за литературой). Надеюсь, что за рубежом вы достойно представите нашу великую страну».

й расслышал за интонацией казенной вежливости скрытую угрозу. Так, конечно, и было.

* * *

Все это предшествует встрече *й* с известной еврейской поэтессой Дорой Тейтельбойм и ее мужем.

«...Наш разговор продолжался четыре часа. С одиннадцати вечера до поздней ночи.

Сначала я опять – привычно – неискренен. Хотя разговор неожиданно пошел совсем по другому, чем я предполагал, руслу. Дело вот в чем: мои новые знакомые были коммунистами. Нет, они никогда не видели Советский Союз. Тем не менее, верные своим идеям, стали хвалить СССР. При этом активно ругали Запад! Тут-то я не выдержал.

Опровергаю защитников первой в мире страны социализма, привожу аргументы и... вдруг мысль, от которой холодею: «Что же ты делаешь? Своим друзьям Ошеровичу, Елину ты боялся слово плохое сказать об этой ненавистной тебе империи зла, а тут...»

И – новая мысль: «А ведь они, Дора и Меер, скорее всего, советские разведчики...»

Словом, после того, как мы расстались, я долго ходил сам не свой, все ждал: какие страшные последствия принесет мне моя неосторожность?

Прошло семь лет. Давно я понял, что ошибся. Давно живет во мне стыд – и за свой страх, и за свои подозрения. Знаете, я отправил сейчас письмо Доре Тейтельбойм. Во всем признался. Повинился. Если, конечно, простят».

МЕЖДУ ПРОЧИМ

Существование каждого еврея, считали наши мудрецы, бесспорно и ясно. Надо только понять: чего хочет от тебя Бог? В чем великое назначение твоей Души? Она, как утверждает Каббала, участвует в акте вечного Творения.

Надо понять это и – следовать своим путем.

* * *

«Моя беда, – считает *й*, – в том, что я не сразу разобрался в первом и не был последователен во втором...»

Итог нашего разговора в начале сентября 95 г. Разговор оттолкнулся от деятельности хасидов в Вильнюсе, а пришел к тому, что волнует *й* больше всего.

СТАРЫЙ ДРУГ

Не было, пожалуй, ни одной нашей встречи, чтобы *й* не произнес это имя: Гирш Ошерович.

– ... Старый, старый друг! Я понимал его с полуслова, а он – меня. Когда-то мы были всегда рядом: одновременно начали публиковаться, работали вместе в газете, входили в одну литературную группу... Почти два брата. Хотя были так непохожи. Меня-то вы знаете. А Гирш... Он – святой человек, скромник, моралист. Словом, наши отношения – это притяжение двух полюсов.

* * *

Ранней весной девяносто второго, в Тель-Авиве, я шел на встречу с Гиршем Ошеровичем. Хотел расспросить его о судьбе знамени-

той «Черной книги». Над ней работала в годы войны большая группа журналистов и писателей – в том числе Йосаде и Ошерович. Как известно, «Черную книгу» составили уникальные свидетельства о злодеяниях против евреев на оккупированных территориях СССР и в лагерях уничтожения Польши. Однако история «Черной книги» таила и таит загадки. Сборник был уже готов, когда набор рассыпали – говорят, по приказу Сталина.

* * *

... Конечно, по дороге к Ошеровичу я вспоминал и рассказы й о своем старом друге.

* * *

«Я много раз думал об иронии судьбы. В данном случае – судьбы Ошеровича.

Гирш всегда был сверхосторожен. В первую очередь – принципиально сторонился политики. Даже в молодости, будучи убежденным сионистом, он формально не хотел состоять в их организации. Так было и при Советах. От противоречий жизни Ошерович уходил в свои стихи – многие из них напоминали филигранно отточенные философские трактаты... После войны мой друг с радостью стал корреспондентом московской газеты на идиш «Эйникайт» в Литве. Ему нужно было в основном писать о новостях культуры. Однако тут-то и подстерегла Ошеровича судьба!

Газета, где он работал, была органом Еврейского антифашистского комитета. Всем известно: во время войны комитет способствовал тому, чтобы евреи всего мира оказали финансовую поддержку СССР в борьбе с фашизмом. Ну а пришла победа – евреи стали все больше колоть глаза Сталину. В конце сорок восьмого года комитет был внезапно распущен. Большинство его активистов и сотрудников арестовали /а многие позже погибли/. Увы, Гирш не избежал этой участи».

* * *

«Помните, я рассказывал вам, как сжигал еврейские книги? Зимой сорок восьмого-сорок девятого они превращались в пепел. Только одну книгу я не смог бросить в печь – не поднялась рука. Это

была Тора. Я уничтожил тогда лишь титульный лист с дарственной надписью Ошеровича...

История эта имела свое продолжение.

В пятьдесят шестом мой друг вернулся из лагеря. В один из вечеров он сидел у меня дома. Не помню, в какой именно момент Ошерович подошел к книжным полкам, стал осматривать остатки моей библиотеки. Вдруг сказал:

– Якоб, когда-то я подарил тебе Тору. Ты сохранил ее?

– А как же!

– Покажи. Где она?

Конечно, я не мог это сделать. Он тотчас заметил бы отсутствие странички со своей надписью. Какое-то время я имитировал поиски... Наверное, он что-то понял, догадался:

– Не ищи сейчас. Потом покажешь».

* * *

«...И опять прошло много лет. В письме Аси я вспомнил этот случай. Опубликовав письмо в газете, послал его Ошеровичу. Свой ответ он начал с комплиментов: это, мол, надо уметь – так раскрыть душу, так рассказать не лестную для себя правду. А закончил Ошерович упреком: о многом в истории нашей дружбы я промолчал».

* * *

Что упустил *й*? Только ли эпизоды их совместного – во время эвакуации – пути на Восток?

Одна линия их отношений кажется мне поистине напряженной. Впрочем, если точнее, – это касается отношений *й* с женой Ошеровича. А еще точнее – речь опять о молчании.

* * *

«... На следующий день после того, как арестовали Гирша, мы столкнулись с Ривкой, его женой, на лестнице Союза писателей. Я поднимался вверх, она спускалась вниз.

Кивнул головой. Она в ответ – тоже.

И все. Ни слова больше. Точно едва знакомы. Так продолжалось три или четыре года. Пока Ривка работала в Литературном фонде Литвы.

Литфонд и Союз писателей находились, как и теперь, в одном здании. Мы встречались ежедневно. Вот так же, на лестнице. В каком-нибудь кабинете. В библиотеке. И – ни слова. Только кивок головой.

«Как Гирш? Пишет? У тебя есть хоть какие-нибудь известия о нем?» Я спрашивал это мысленно. Вслух – боялся. Я знал: за мной следят, видят каждый мой шаг.

Это была страшная ситуация. Ложная. Унизительная. Приходя вечером домой, я вспоминал свою встречу днем с Ривкой, однако жене ничего не рассказывал: не хотел втягивать ее в свои мучения. А утром, отправляясь на работу, ждал – стыдясь себя – встречи новой».

* * *

й рассказывал мне эту историю много раз. Дважды /7 октября и 20 ноября 91 г./ я записал ее на магнитофон. Чем эти рассказы отличались друг от друга? Одним нюансом. Иногда *й* утверждал: это был их общий, пусть и необсужденный, не высказанный вслух план:

– Ривка была очень рациональной женщиной. Мужская голова! И она все поняла... Мы друг друга очень хорошо поняли. Она не обиделась на меня.

Но, случалось, *й* видел ситуацию несколько иначе. Особенно, когда я спрашивал – без всякого снисхождения к нему: «Так вы полностью разорвали отношения с женой друга?.. Вас парализовал страх?.. Трудно ли ей жилось тогда?..»

Но *й* не нуждался в снисхождении:

– Я ни разу не был у нее дома после ареста Ошеровича. Боялся. Материальные трудности? Думаю, их не было. Ривка, как и Гирш, аскетична во всем. К тому же ей помогали. Один даст десять рублей, другой – двадцать. В том числе и я.

– Вы и деньги отдавали ей молча?

– Нет, это делал не я. Я будто не знал ничего... Да, я не герой. Не могу похвастаться.

* * *

Потом *й* стало легче. Жену врага народа Ошеровича уволили из Литфонда.

– Руководство Союза писателей не хотело ее трогать. Ни в ка-

кую. Потому-то Ривка после ареста мужа долго работала директором Литфонда. Но госбезопасность настаивала, давила... В конце концов ее выгнали.

* * *

«Однажды услышал: Ошерович вернулся из лагеря! Я почувствовал, что должен немедленно увидеть его.

Однако боюсь: как посмотрю в глаза другу? Тем не менее сажусь в машину. Еду.

Мы расцеловались. Даже заплакали оба. И – ни слова о том, что я так боялся вспоминать.

Было утро. Ривка поставила на стол чай, какие-то бутерброды. И тоже – ни слова о тех молчаливых встречах».

* * *

«Души наши с Гиршем близкие. Тянутся друг к другу. Так что вскоре все стало, как прежде. Почти ежедневно – они с Ривкой у нас в гостях. Или мы с Шейнеле – у них.

Между прочим, Ошерович совсем неплохо выглядел. Видимо, в последние месяцы его заключения в лагере был уже другой режим. Помягче. Ошерович, наверное, там работал. Может быть, неплохо устроился – он ведь всегда умел хорошо контактировать с людьми.

Я говорю «видимо», «наверное», «может быть» – Ошерович рассказывал о лагере скупно. А меня – вы ведь знаете мой характер – интересовали подробности. Как его взяли? Что было в тюрьме? Я слышал уже: мало кто выдерживал допросы; почти все арестованные по делу Еврейского антифашистского комитета возвели на себя напраслину...

При встречах я повторял одно и то же: «Тебя били? Ты признался, что был шпионом?» Он отвечал коротко: «Нет. Нет».

Так же уклонялся Гирш от моих расспросов и тогда, когда я был у них в гостях в Израиле. Помню, Ривка готовила нам очень вкусное блюдо – маленькие кусочки картофеля, по-особому обжаренные вместе с маленькими же кусочками курицы. Я задавал вопросы. А он все так же твердил: «Нет!»

Впрочем, он чуть-чуть рассказал о другом. В самом начале, еще

в Вильнюсе, он сидел в камере со знаменитым философом Карсавиным. Они не скрывали друг от друга ничего».

* * *

Я припоминаю все это, когда иду к Ошеровичу. Вот и нужный мне дом. Скромная квартира – типичная малометражка. Две проходные комнаты, маленькая кухня. Потрепанная мебель. Стеллажи с книгами. Два старых человека, которые – по привычке? – сдержанны и – одновременно – гостеприимны.

Когда я начну разговор об *й*, они оборвут:

– Спасибо. Мы все о нем знаем.

И добавят вежливо:

– У нас регулярная переписка.

ПОДВОДЯ ИТОГИ

Прощаясь с жизнью, он постоянно подводит итоги. Иногда делает это сознательно, иногда – так уж устроен его ум – невольно.

20 апреля 1994 г. Прихожу к *й* перед своим отъездом в Израиль. «На два месяца? Увидимся ли?» Но стряхивает грусть, как капли дождя, – просит передать свою книгу «Захлопнутые двери» библиотеке Иерусалимского университета. /Одновременно это и Национальная библиотека Израиля/.

й всегда серьезно относится к посвящениям. Конечно, надпись на книге он продумывает заранее. Сейчас, при мне, лишь переносит текст на идиш с маленького листочка – на страничку книги:

«Библиотеке Иерусалимского университета.

...Эту книгу вам дарит бывший еврейский писатель, пишущий теперь на литовском языке. Тема /в форме писем дочери и пьесы/ – очень сложные, трагические еврейско-литовские отношения до войны, во время войны и после войны.

Автор Йокубас Йосаде.

P.S. Я родился в Литве, в Калварии, в 11 году, в августе, 15 дня. После возвращения с фронта живу в Вильнюсе. Адрес: Витауто, 3 – 2, телефон 731000».

Он откладывает в сторону книгу, но не закрывает, с некоторым недоумением всматриваясь в прыгающие строки:

– Вот тайна тайн. Мечтал. Любил. Воевал на фронте. Шел на трагическую битву с самим собой. Мучился за письменным столом. И – все. Вся моя жизнь уместилась в нескольких словах.

МЕЖДУ ПРОЧИМ

10 сентября 95 г. Да, судьба каждого из нас имеет закономерное, ясное завершение, сколь бы запутанны ни были наши дороги. Так в чем же итог его жизни? Задав себе сегодня этот вопрос, я отвечаю: *может быть, и умрет свободным человеком.*

«Неужели все?» – переспросил себя. И тут же опомнился: а разве этого мало?

ПОСЛЕДНЯЯ ТАЙНА

Если всмотреться внимательно в сам акт смерти, обязательно увидишь в нем символ жизни. Потому-то рассказ о смерти всегда похож на притчу. С этой притчей не поспоришь. Урок ее не отвергнешь.

После похорон *и* доктор Сидерайте припомнит:

– Он унес с собой тайну смерти. Говорил мне: «Какие странные ощущения я сейчас испытываю. Если бы я мог это зафиксировать». Предлагала: «Диктуй, я запишу». – «Нет, это мог бы сделать только я сам!»

* * *

Есть они и в моих записях - эти последние открытия *и*.

– Сейчас для меня расширяется пространство. Лучше сказать: оно вдруг открывается – слева направо. Точно циферблат часов. Кажется, иногда: я могу догадаться, как создан мир. Но пока это все еще тайна...

* * *

Большую часть своей дороги прошел *и* с томиком Ницше. Последние шаги – тоже.

«... В ночь перед смертью попросил меня почитать ему книгу «Так говорил Заратустра». Читала долго, очень долго. Он старался слушать внимательно. Потом вдруг:

– Сколько сейчас времени? Два часа? Иди, Шейнеле, ложись, тебе ведь рано вставать на работу.

Я не могла уснуть, чуть дремала. В четыре утра поднялась, проверила: спит, тяжело дышит. В половине восьмого снова открыла дверь в его комнату. Яши нет!

Но я не заметила: он сидел на диване, с палкой в руках. Уже синий, похолодевший И не мог говорить. Тут же я позвонила Иосифу...»

* * *

Сознание еще вернется к *й*. Знаками покажет приехавшему сыну: ... в туалет. Потом сын уложит *й* на диван.

* * *

А я все еще не могу проститься с ним.

... Вот она, последняя наша встреча. *й* звонит вечером, просит срочно приехать. Переспрашиваю:

– А что если встретимся завтра? Идет сильный дождь.

– Я вас очень прошу. Завтра у меня может не хватить сил.

Цель встречи кажется ему чрезвычайно важной. *й* думает о моей книге. «Знаете, она будет неполной, если вы не прочтете других моих пьес – тех, что написал я прежде еврейского цикла...»

Важно. Это очень важно: я ведь могу не до конца понять его.

Потом, после нашего разговора, *й* хочет выпить кофе. Помогаю ему приподняться с постели. Медленно ставит ноги на пол. Вижу худые икры, распухшие синие ступни, которые еще привычно шаркают по ковру в поисках тапочек.

* * *

Когда-то мы с *й* по очереди напоминали друг другу строки Екклезиаста. Теперь, перед смертью, он торопится доверить мне свое последнее «верую»:

– Долгие годы человек ищет – любовь, призвание, удачу. Ищет, не понимая, что же это такое – любовь, призвание, удача. В конце концов оказывается: дважды два – это четыре. В конце концов оказывается: нам нужно совсем немного. А иногда кажется: нужно ли что-то вообще?

* * *

«Мой дорогой, мне ничего не надо. Ничего... Знаете, отсутствие боли – это и есть счастье. Именно так: отсутствие боли. Это о т с у т с т в и е опьяняет тебя и тогда наплывает дремота. Ты куда-то плывешь – все дальше и дальше. Что может быть лучше этого?

Все дальше и дальше...

Вот и все».

1990-1996

Евсей Цейтлин — эссеист, прозаик, культуролог, литературовед, критик, редактор. Родился в Омске в 1948 г. Окончил факультет журналистики Уральского университета, Высшие литературные курсы при Литературном институте им. А.М. Горького. Кандидат филологических наук, доцент. Преподавал в вузах историю русской литературы и культуры.

Автор многих книг, которые издавались в России, США, Литве, Германии, Украине. В 1978г. был принят в Союз писателей СССР, является членом Союзов писателей Москвы, Литвы, Союза российских писателей, членом международного Пен-клуба («Writers in Exile»). Дважды эмигрировал: в 1990 – в Литву, в 1996 – в США.

Произведения Евсея Цейтлина переводились на литовский, немецкий, украинский, польский, английский, испанский языки.

Был главным редактором альманаха «Еврейский музей» (Вильнюс).

Редактор ежемесячника «Шалом» (Чикаго, с марта 1997).

ВОЗВРАЩЕНИЕ «СТРОИТЕЛЯ»

Сенсационная находка пьесы Михоэлса

Творческое наследие С.М. Михоэлса включает в себя не только сыгранные им роли и поставленные им спектакли, но и десятки опубликованных и неопубликованных текстов: статей, докладов, выступлений. В исследовательских работах о Михоэлсе и воспоминаниях о нем родных и близких также сообщается о его драматических произведениях – пьесах «Грехи молодости» (1900) [3] и «Строитель» (1919). Нам не известно, существовал ли вообще, кроме как в голове десятилетнего мальчика Шлойме Вовси, текст пьесы «Грехи молодости». Текст же пьесы «Строитель» был признан утерянным, и сам Михоэлс «старался о ней [пьесе] не вспоминать».

Счастливой и случайной удачей новичка можно объяснить мою находку текста михоэлсовской рукописи пьесы «Строитель» на самом видном месте – в рукописном отделе Бахрушинского музея. Но уже тогда, в далеком 1993 г., эта находка не казалась мне случайной. Я считал и продолжаю считать ее знаком судьбы, которая связала мою жизнь и работу с жизнью и работой Михоэлса. Сейчас, спустя почти сто лет с момента написания и постановки, пьеса «Строитель» возвращается к читателям, а в скором времени – и к зрителям.

В нескольких опубликованных мною статьях, которые целиком или частично посвящены «Строителю», я рассмотрел идеологические аспекты пьесы – отраженные в ней мировоззрение Михоэлса-человека и творческую программу Михоэлса-художника. С этой точки зрения текст пьесы очень важен как одно из наиболее ранних литературных произведений Михоэлса, позволяющее проследить путь его становления как актера, мыслителя и общественного деятеля. В моих публикациях уже была отмечена связь драматургии Михоэлса с европейским модернизмом, в частности, с драматургией

Хенрика Ибсена, а также с политикой еврейского культурного строительства.

Я хочу обратить внимание читателя на многоплановость и многогранность текста пьесы. Даже на поверхностный взгляд, «Строитель» соединяет как минимум три тысячелетия человеческой цивилизации и четыре важнейшие культурные и интеллектуальные традиции. В первую очередь это – библейская история о строительстве Вавилонской башни. Как говорит мидраш (разновидность традиционного еврейского толкования библейского текста), строители были настолько фанатичны в своем желании закончить башню, что когда какой-нибудь кирпич падал вниз и разбивался, они причитали: «Как трудно будет заменить его». Однако если человек срывался вниз и убивался насмерть, никто даже не смотрел на него. В пьесе Михоэлса с башни падают люди, и за этим с растущей тревогой горестно наблюдает Строитель, главное действующее лицо. Горе его велико и неподдельно, так как падают и разбиваются не посторонние люди, а «братья» Строителя. Примечательно, что автор пьесы тем самым в корне меняет не сюжет, а его традиционное еврейское понимание.

Падая, строители башни, по выражению Вчера, другого действующего лица пьесы, «сходят в тень». В этой метафоре очевидно влияние ключевого текста европейского Возрождения – «Божественной комедии» Данте, которая, по сути, является описанием путешествия в мир теней. В метафизике этого мира свет – это жизнь, а тьма – не просто смерть, но другой мир, где – согласен – человеческая воля парализована, ограниченная тенью и скованная ночью:

В «Строителе» свет и тьма не сосуществуют мирно, а противоборствуют, как два извечных противоположных полюса – добро и зло, представленные действующими лицами пьесы Завтра и Вчера. Данте еще не был способен разглядеть этот антагонизм, так как, по словам Фридриха Ницше, «Данте в сравнении с Заратустрой есть только верующий, а не тот, кто создает впервые истину». И лишь ницшеанский сверхчеловек Заратустра был способен не только понять эту дихотомию, но и сделать ее краеугольным камнем в постройке здания цивилизации: «Тысячи и тысячи лет назад <...> он разделил <...> хаос на Свет и Тьму, <...> на империю Добра и империю Зла. Добро он назвал царством Света, Ормузда, а Зло –

царством Тьмы, Аримана. И из этого творения Заратустры выросли высокие культуры, религии и системы морали». Завтра, подобно Заратустре, «любит скрывать свое лицо», чтобы «никто не мог насквозь [его] видеть» .

В исходящем от Завтра «излучистом сиянии» съезживается и сгибается Вчера, подобный демону Анатэме из одноименной пьесы Леонида Андреева. «Социальным остовом» «художественной оболочки» произведений Андреева является ницшеанство и западноевропейская идеология индивидуализма в целом, которую писатель «переработал в духе русского общественного сознания», связав с «неутихшей революционностью нашей интеллигенции». Если у Ницше человечество служит лишь почвой и удобрением для развития сверхчеловека, то у Андреева сверхчеловек – это «вождь», «высшее выражение» всего человечества. Сверхчеловек Андреева – это предтеча сверхчеловечества, идущего ему на смену, подобно тому, как в финале пьесы Михоэлса на смену умирающему Строителю идут невидимые тени строителей будущего.

Исследователям еще предстоит найти, изучить и понять эти и многие другие аллюзии, символы, скрытые смыслы и контексты «Строителя». Однако уже сейчас пьеса открывает нам широкий спектр интеллектуального багажа и значительный масштаб мировоззренческих и творческих поисков 29-летнего Шлойме Вовси, в 1919 г. круто изменившего свою жизнь, карьеру и даже имя, став Соломоном Михоэлсом.

Текст пьесы «Строитель» представляет собой рукопись, выполненную чернилами на русском языке, на девяти листах писчей бумаги. В рукописи также имеются пометы химическим карандашом на русском и немецком языке. Имя автора в рукописи не указано, однако вследствие очевидного сходства с многочисленными сохранившимися образцами почерка С.М. Михоэлса, автором является именно он. Карандашные пометки также легко идентифицировать по имеющимся образцам как режиссерскую партитуру (указания на паузы, мизансцены, темп и т.п.), сделанную рукой А.М. Грановского. Сохранность документа – хорошая.

Премьера пьесы «Строитель» состоялась в Еврейском камерном театре (Еврейском театре-студии) в Петрограде в июле 1919 г. Режиссером и художником спектакля был основатель театра

А.М. Грановский, композитором – А. Маргулян. Роль Строителя играл Грановский, а роль Вчера – Михоэлс. Полный текст пьесы был впервые опубликован в 2008 г. в переводе на идиш, сделанном моим учителем, другом и коллегой профессором Дов-Бером Керлером (Университет Индианы, США).

В настоящее время Театр Грановского под руководством Игоря Пеховича готовит пьесу «Строитель» к постановке.

Василий Щедрин, доктор исторических наук

Соломон МИХОЭЛС

«СТРОИТЕЛЬ»

Действующие лица:

1. Сказочник.
 2. Вчера.
 3. Сегодня (Строитель).
 4. Завтра.
- Сказочник (голос).

Когда-то, тысячи-тысячи лет тому назад, в земле Вавилонской, во времена сурового Нимруда Люди задумали строить башню. Они мечтали, чтобы вершина башни достигла далеких небес. Они захотели овладеть небесами. Они знали: там, наверху, в странах теплых и светлых, высоких и далеких, в краях голубых и бесконечных живут боги красоты и правды, которые давно уже покинули темную и лживую землю. А время шло и шло. А поколения менялись, приходили и уходили. А время шло. И одно поколение строило башню, и другое поколение разрушало ее. И ...

Сцена

Вчера. Опять уж новый пришел...

Завтра. А завтра его снова сменит другой.

Вчера. Вчерашний уже умер и густые тени покрыли его.

Завтра. И этот также не избегнет той же участи.

Появляется Строитель.

Он не замечает теней времени.

Он сосредоточенно наблюдает работу людей, строящих башню и предводительствуемых им.

(Вдали слышна песня строителей).

Строитель. Растет все больше громадная башня ... Все выше возносится ее глава, и все дерзновеннее становится взгляд, устремленный ее вершиной в бесконечную даль небес. Кто может утверждать теперь, что я не обладаю величайшей тайной: истиной строительства ...

Вчера. (смеется) Я...

Строитель. Кто ты?

Вчера. (смеется) Здесь, в моей тени, я был свидетелем и пережил многих храбрых строителей. Они начинали строительство с восходом солнца, но угасали с последним лучом захода его ... Выше известных пределов не поднималась, однако, вершина башни ... Строители не смогли проникнуть в те эфирные миры, что по ту сторону границы Ночи ...

Строитель. Замолчи, мрачная тень ... Я не знаю тебя ... Не мешай моей работе, не тревожь меня в моем творчестве ... Разве ты не видишь, как все выше и выше поднимается башня, как все смелее и увереннее поднимаются мои поющие братья ввысь, к великой цели. Там, высоко-высоко – распростираются царственные покои вечной Истины и бессмертной Красоты ...

Вчера. (смеется) ...

Строитель. Замолчи! Кто ты?

Вчера. Твои предшественники уже познакомились со мною. Они ко мне относились с большим вниманием. Один лишь ты не последовал примеру ушедших братьев твоих ...

Строитель. А ты не даешь мне возможности спокойно наблюдать работу моих братьев. Ты отравляешь праздничную радость строителя, который борется с высотами и недосыгаемостью вечной Правды.

Вчера. (манит) Сюда, ко мне ...

Строитель. (вглядывается) Темно, как темно и мрачно у тебя, ни один луч солнца не может проникнуть в твою густую мглу ... Но, стой, теперь я начинаю кое-что видеть ...

Вчера. Что?

Строитель. Я вижу что-то ... Как бы долина бесконечная и ровная ... ее покрывают какие-то небольшие домики – жилища людей.

Вчера. Твои предшественники видели лучше твоего.

Строитель. Нет, то не жилища ... это ...

Вчера. Что?

Строитель. Это ... как бы каменные плиты ... (в ужасе) могилы...

Вчера. Что ты сказал?

Строитель. Могилы ... Да, да, я это ясно вижу. Это долина смерти ... Кладбище ... Как велико оно ... Могилы, здесь ближе, они совсем еще свежие, а дальше, там, я вижу лишь маленькие холмы ...

Вчера. (смеется) Это долина, куда сошли твои братья.

Строитель. Что?

Вчера. Их покрыли мои тени ... Их мои крылья перенесли сюда...

Строитель. Замолчи! Довольно пугать меня! Я силен! Смотри, вот меч мой, которым я убиваю того, кто становится мне поперек дороги.

Завтра. И ты все же должен будешь также спуститься в Долину черных теней.

Строитель. А ты кто, всезнающий сосед? Кто ты, говорящий языком пророков?

Завтра. Если ты сможешь видеть, то ты и меня увидишь! В мои голубые дворцы войдут лишь немногие избранные.

Строитель. Я вижу лишь голубой туман, который тебя покрывает ...

Завтра. Видно, слепы глаза твои ...

Строитель. Загадочна твоя речь ... Я ее не понимаю.

Вчера. Никто доселе его не понимал. Он, очевидно, из другого края. Разве я не сказал тебе, что твои братья избегали этого хвастливого гордеца ... Он навсегда скрыл свое лицо, но всегда уверял, что лицо его скрыто, чтобы показаться для немногих ...

Завтра. Довольно болтать, старый лгун! Истинный строитель повернется к тебе спиной

...

Становится светлее. Тени скрываются.

Слышна песня строителей.

Строитель. Солнце подымается ... Их больше нет ... Что за страшный сон! Нет, туда, лишь туда я должен смотреть. Мой взгляд следит за каждым шагом моих братьев-строителей. Смелее, братья мои! Скоро мы уже вступаем в небесные страны бессмертия! Вы подымаетесь все выше! Да? Смотрите! Солнце заливают целыми потоками тепла и света вашу святую работу! Что же вы останавливаетесь? Нет, это лишь кажется мне. Не бойтесь! Мой меч наготове, и чрева мои опоясаны! Силу и железную мощь я чувствую в себе. Смотрите, Солнце с нами в нашей борьбе! Оно омывает душу мою своими лучами ... Они идут ... Они подымаются все выше и выше. Они кладут кирпич за кирпичом ... И растут каменные стены ... Мы строим ... Мы строим. Что скажете вы теперь, лживые пророки на вашем лживом языке?

(Солнце скрывается за тучи. Темнеет.)

Что это? Солнце склоняется к западу? Что там происходит? О, кто это падает?

Один из моих строителей?

Вчера. (показывается) В мою тень уже один появился.

Завтра. Все они туда сойдут.

Строитель. (хватается за меч) Молчите, молчите! Вы смелы лишь тогда, когда солнце прячется в тучах ... Смотрите, вот оно снова поднимается в небесной синеве ... (Светлеет; песня строителей крепнет)

Скоро мы входим туда ... Где солнце вечно ... Войдя туда, мы заставим солнце сиять вечно. Нужно лишь завоевать небесные тайны.

(Снова темнеет; звучная песня строителей постепенно слабеет)

Что там? Почему слабеет ваша песнь? Что? Снова падают люди? Тень покрывает подножие башни. Еще, много людей падает ... И, не останавливайтесь! Дальше! Выше! Вперед и выше!

Вчера. (смеется) В мою тень пришли еще ... Их много. Башня твоя уже тоже частью покрыта моей тенью.

Завтра. Эта башня будет вся в тени.

Строитель. Вы лжете! Мы допустили, чтобы тени покрыли башню. Обнажите мечи! На борьбу со лживыми тенями. А вы, там наверху продолжайте работу! Отчего вы так медленно идете, отчего так ослабела ваша песнь?

Вчера. Это тени задушили их голоса.

Завтра. Так же, как они задушат и твой голос.

Строитель. Все темнеет. Я уже еле слышу ваши голоса. Я уже не вижу вас. О, что же там случилось?

Вчера. Ты уже стал говорить на моем языке. Ты сказал: что там случилось? (смеется)

Строитель. Все ... все ... падают ... Теперь я сам иду туда ...

Вчера. Ко мне? В мою тень?

Строитель. Туда иду я! К башне! Я сам иду туда!

Завтра. Ты не сможешь дойти до башни.

Строитель. Неправда!

Вчера. Голубой никогда не был лгуном.

Строитель. Иду ... (делает шаг и падает ... становится еще темнее) нет, меня душат тени ... Дикая сила, стой же ... Вы нападаете на меня среди бела дня ... Ведь солнце еще не заходит (пытается подняться, но не может).

Завтра. Не ты и не тебе подобные проложат башенный путь в высь, к небесному дворцу правды и красоты ...

Строитель. Что это сияет, там сверху? (показываются звезды и луна).

Вчера. Это ты увидел. Твою ночь. Башня осталась такой же, какой ее оставил вчерашний строитель ...

Завтра. Не ты уже достроишь башню ...

Вчера. Твой день умер ...

Строитель. Мои руки слабеют ... Меч выпадает из рук моих ... Что это – уже конец? Завтра. Новые строители придут. Они доведут строение башни до конца ...

Строитель. Мои строители умерли ... Нет больше строителей ...

Завтра. Придут другие.

Строитель. А границы ночи? Силы меня оставляют ... А проклятые границы ночи?

Вчера. (Смеется густым громким смехом)

Завтра. Молчи, старый хищник! Придут новые, могучие, смелые строители ...

Строитель. (глочет его слова) Говори, говори еще, я себя чувствую сильнее, когда ты говоришь ...

Завтра. Они заговорят на новом языке ... Они будут бороться, но не мечом.

Строитель. Чем?

Завтра. И не кирпичи, из земли и глины, будут класть они на стены святой башни ...

Строитель. Что же? Говори, о, говори ...

Завтра. Они не назовут явью лишь то, что они видят тусклыми глазами, как тот старый лгун! Не кирпичом и глиной, не молотом и не мечом будут строить они башню. Обнаженными душами своими они подымутся и проникнут во дворец вечной правды и красоты ... Не каменные стены возведут они ... Их стены будут созданы остротой их взгляда, что заменит им твои слепые глаза ... И они скажут ...

Строитель. Что? Скажи скорей! Последние силы меня оставляют.

Вчера. (Смеется).

Завтра. Они скажут старому лгуну на его языке и на твоём языке, чтобы все могли их понять: Все, что ты, старый лжец, называл действительностью, есть лишь мертвое кладбище. Все, что ты называл явью, есть лишь пляска преходящих теней. А вы все, строители оставались глухи к речам будущего и слепы в вашем зрении. Не глазами мы будем смотреть, нашим сердцем, не ушами мы будем слушать, а обнаженной душой ... Не кирпич, не мрамор и гранит, а дух наш молнией осветит ночную мглу, отделяющую от нас божественный дворец. А ваша башня ... разве башня?

Строитель. Что же?

Вчера. Могила?

Завтра. Дом, хижина, как все жилища ваши, в которых вы спите и бодрствуете, рождаетесь и умираете, маленькие, серые и скучные, как ваша печаль и ваша радость. Все те, что пожелают строить башню и будут строить ее наподобие человеческого жилища, не перейдут грани бессмертия. Они не обретут вечной Истины.

Строитель. Что же ты умолк? Открой мне лицо свое, божественный пророк!

Завтра. Новые строители меня увидят ...

Строитель. Где же они?

Вчера. Он уже давно обещал их приход, но они до сих пор еще не приходили.

Завтра. Они придут.

Строитель. Я не верю тебе ... Ты безжалостно глядишь, как я

умираю и холодно смотришь, как черные тени душат меня ... Быть может, ты также лжешь ...

Завтра. Они должны прийти ... Если бы ты не был слеп, ты их увидел бы. (Издали доносится пение. Белые и голубые тени показываются смутным видением)

Строитель. (пытается подняться) Кажется ... я ... я ... я вижу ... их ... кажется (тянется к новым образам-видениям) они приходят, они идут ...

Завтра. Они должны прийти, они придут.

Далекие голоса: Мы приходим ... Мы грядем ...

(Долгое молчание. Строитель медленно поднимается, тянется к видениям и упадет мертвым. Вчера, съжившись и согнувшись, смотрит с удивлением и беспокойством в ту сторону, откуда доносится новое пение. Завтра показывается из голубого тумана и открывает свое прекрасное лицо в ореоле излучистого сияния.)

Далекие голоса: Гря . . . дем . . .

Занавес.

Дмитрий ГАРАНИН

СОРНЯКИ И ИЗВЕСТНЯКИ

*Когда б вы знали, из какого
сора растут стихи...*

А. Ахматова

* * *

Ищу ахматовского мусора,
чтоб гуще выросли стихи,
и карандаш точу искусанный,
но ластик не щадит строки...
Всё так приглажено и чистенько –
в стихи не сложится никак.
До нас, познавший эту истину,
подмёл весь мусор Пастернак!*)

* * *

То, что для Ахматовой сор,
для нас рафинированный материал.
Спрячем скорее в стол,
чтоб после стихами стал.

Ведь сами стихи растут
из такого сырья.
В них молотков стук
не услышит поэтов семья.

В них не течёт пот.
Красота их не за труды.
Их мёд из пчелиных сот.
Не из словесной руды.

СОРНЫЕ СТИХИ

Из сора, по краям канавы,
Стихи пробились тут и там.
Не в центре – около заставы.
С литлопухами пополам.

Читал читатель третьеклассный
их откровенья нараспев,
хотя и нить теряя часто
и в результате охладев.

А после городские службы
с косою прошлись канавы вдоль,
чтоб вегетации ненужной
не слишком возрастала роль –

ведь здесь кортеж литературы
дорогой в центр протечёт,
где в фонде истинной культуры
ведётся рукописям счёт.

* * *

Е. К.

Повсюду сорные стихи –
прут из простого разговора!
Своим значеньем коротки,
запрыгнуть в вечность метят споро.

Ещё один в моём саду
налился соками, как сага...
Боюсь, природе на беду,
испачкать об него бумагу!

Baden-Baden, 30 June 2018

Благодарность Елене Кушнеровой за последнюю строчку!

ВОРОНА И СОР

Вороне где-то Бог послал кусочек сора,
и в клюве у неё размножились стихи.
Тихонько их мычит с высокого забора,
чтоб лишь не обронить проходим ни строки.

Но тут как тут внизу уже лиса с блокнотом –
вороний ну хвалить недюжинный талант!
Из мусора стихи – достойная работа!
От этого труда сломался б графоман!

Тут мастера перо прекрасное ваяет!
Тут искренность царит и мыслей глубина!
Залётных соловьёв на то бессильна стая!
Чтоб души осветить, им искра не дана!

Изволите ль подать свои стихи на конкурс?
Там подготовлен Вам международный приз!
С шедеврами во рту Вам победить не фокус!
Там неприятный ждёт всех остальных сюрприз!

Давайте же стихи сюда ко мне в блокнотик!
Доставлю скоком их тотчас жюри на стол!
Один лишь беглый взгляд – и судей заколотит.
Они лишатся слов – ответом будет стон.

Лисицины ключи вошли в вороньи уши –
раскрылся крепкий клюв, стихам даря простор.
И замер каждый зверь и музыку их слушал –
мелодия сладка и строчек смысл остёр!

Растаял вольный стих, смешался с атмосферой.
Теперь живёт везде – весь мир его услышь!
Не ведает никто, что приз не дали первый –
в блокноте у лисы остался мусор лишь...

Благодарность Владимиру Л. Сафонову за первую строчку!

* * *

Там, где не понято о чём,
кричали знаки
в строке, где смысл не заключён,
где мусор всякий,
где слово брезжит, как причал
для беглой мысли,
что пишуший не различал,
задумки скисли
и оставался только звук –
за ним вдогонку
перо нечаянно, сам-друг,
скрипело тонко.

ПЕСНЬ БЛОГЕРОВ

Подпишемся друг на друга
Нам каждому есть что сказать
Наш вклад не будет поруган
Детинушкам исполать

За то что двигаем горы
Того что в своих головах
Родим для публичного спора
И утвержденья в правах

Пусть новое будет воспето
Проект станет твой и мой
Светить проходящим светом
Сквозь толстый культурный слой

* * *

Пусть это вовсе не поэзия,
а зарифмованная мысль,
но и не тускло-бесполезное,
то, чем, читая, подавись!

Сухой остаток будет помниться
строкой, протянутой по дну,
что нет да и ударит по сердцу,
как только явное поймут.

ПЕСНЬ ИЗВЕСТНЯКОВ*

Умей дистанцию держать
меж человек и человеком!
Какое дело, вашу мать,
известняку до имярека?

Ошибка налагать себя
на пёстрый фон себе подобных,
ненужно-ближнего любя,
что сок не даст, сухой, как вобла.

Ты в кадре должен быть один,
пронзая пустоту, как сталью,
в безлюдье будущих равнин
на фотографии наскальной.

* *Известняки* – известные люди, а также их окаменелые отложения

ИЗВЕСТНЯКОВЫЙ МОНУМЕНТ

Я памятником стал себе живому.
Вчера поэт простой, сегодня – известняк!
Слух обо мне камней подобен грому.
Мои стихи твердит на память всяк!

Поднялся выше я базальтов и гранитов.
На плечи им осел я, известков!
Что подо мной, давно уже забыто.
Меня ж не извести в пыли веков!

СКВОЗНЯК ВЕКОВ

К читателю нейдут мои стихи –
со всех сторон довлеет известняк.
Хотя на вид стихи и неплохи,
известняки – они основняки.
Кого ни взять, любой из них – костяк.

Между собой грозятся извести
меня за дерзость, за фонтан стихов.
В костистой сжать меня хотят горсти,
чтоб не чирикал, чтоб просил «пусти!»
Известиям моим закрыли ход.

Но пусть я безымянный, как буряк,
не то что известь – пробурю гранит!
Бетон непониманья мне не враг!
В туннель веков вхожу, поэт-сквозняк!
Я скважину пробил, что оросит!

Дмитрий Гаранин родился и вырос в Москве. Окончил МФТИ, защитил диссертацию по теоретической физике. Работал в Физическом Институте им. Лебедева АН СССР. В 1992-м эмигрировал в Германию, работал по специальности. С 2005 года – профессор на физическом факультете Lehman College CUNY в Нью-Йорке. Автор около 130 научных статей.

Писал стихи в 1978-82 и 1988-89 годах, но не публиковал, в литературной жизни не участвовал. После многолетнего перерыва вновь увлекся поэзией.

В настоящее время автор 20 книг, изданных под собственной маркой Arcus NY. Публикации: «Наш Крым», «Крещатик», «Слово/Word», «45-я параллель», портал Евгения Берковича, «Литературная Америка», «Зарубежные задворки», «Черновик», «Золотое Руно», «9 Муз», «Asian Signature» (Индия, на английском).

Яков ФРЕЙДИН

СТРАСТИ ЛОШАДИНЫЕ

Из серии «Приключения Изобретателя»

Много лет назад работал я в маленькой медицинской компании в Коннектикуте, где был большой шишкой на крохотной ёлке – начальником инженерного отдела, состоявшего всего-навсего из меня, лаборанта и двух техников. Мы разрабатывали и строили довольно хитроумные приборы для исследований клеточной ткани.

Как-то раз, перед перерывом на ланч в лабораторию зашла секретарша и говорит мне:

– Там пришёл какой-то господин. Он хочет поговорить с медицинским инженером. Вы не выйдете к нему?

В приёмной ждал элегантного вида седоголовый джентльмен лет шестидесяти; я представился как биомедицинский инженер и спросил: чем могу быть полезен? Он назвал своё имя – Флойд Карлсон – и сказал, что хочет обсудить одну интересную идею, и если я не возражаю, он приглашает меня на ланч в соседний ресторанчик, где мы сможем поговорить. Я согласился, и мы отправились через дорогу в кормушку, куда работники нашей фирмы часто заходили перекусить. Заказали себе по салату с сардинами, и Флойд поделился со мной своей идеей:

– Не уверен, что вы знаете, но у многих животных, включая человека, скелетные мышцы содержат волокна двух типов: медленно-сокращения и быстрого сокращения. К примеру, у кур есть белое мясо – оно из быстрых волокон, и тёмное мясо, состоящее из медленных волокон. Тёмное оно потому, что сильно пронизано кровеносными капиллярами. Но я не о курах. Меня интересуют лошади. У лошадей те же два типа мышц – медленные и быстрые. Фокус, однако, в том, что у одной лошади почему-то преобладают быстрые волокна, а у другой – медленные. Но вот у какой какие и в какой

пропорции, это дело случая. Очень важный вопрос – узнать, что там у конкретной лошадки за волокна.

– А почему это важный вопрос, – спросил я, – не всё ли вам равно, какие у коня или кобылы мышцы? Это же не курица с белым и тёмным мясом. Мы лошадей не едим.

– Мы-то точно, не едим, – засмеялся Флойд, – тут дело тоньше. Лошади с преобладанием быстрых волокон хороши для бега на короткие дистанции, а те, что с медленными волокнами, показывают лучшие результаты на длинных пробежках. Они ещё хороши для тяжёлой работы, например, возить грузы. Медленные мышцы густо пронизаны капиллярами и обильно снабжаются кровью, а вот быстрые могут запасать энергию и выделять её с большей силой, но там капилляров мало, кровоснабжение хуже и они быстрее устают...

– Флойд, – перебил его я, – кому в наш век дело до лошадиных мышц? Сейчас везде трактора и машины...

– Да вы что! – воскликнул он, – а на ипподромах ведь не трактора скачут, а лошади. Когда жеребёнок родится у какой-то призовой кобылы или от миллионного папаши-производителя, очень важно знать, какие у этого жеребёнка мышцы. Когда вырастет, сгодится ли он для состязательного бега или просто для верховой езды, детишек катать? Призовые лошади стоят миллионы, и жеребята от них идут за огромные деньги, если у них есть хороший беговой потенциал. Тип мышц и определяет этот потенциал. На скачках крутятся бешеные деньги. Если, к примеру, знаешь, что у какой-то лошади преобладают быстрые волокна – ставь на неё, шансы выиграть на тотализаторе на ипподроме будут куда выше.

– Ну, и как же вы определяете, какие там волокна? – поинтересовался я.

– Есть стандартный метод – особым шприцем берут у лошади биопсию, то есть образцы волокон из разных мышц по всему телу, потом замораживают их в жидком азоте и посылают в Англию в специальную лабораторию. Там делают анализ и отправляют владельцам отчёт. Одна проба стоит десять тысяч зелёных – хорошие деньги, да и лошадям это очень болезненно, и есть риск инфекции. Владельцы лошадей на это идут весьма неохотно, но деваться некуда.

– Ну хорошо, это всё очень интересно, – сказал я, доедая свой салат, – однако я на скачках не играю, лошадей у меня нет, и, по правде говоря, не понимаю, я-то чем могу вам помочь?

– Фирма, где вы работаете, как мне говорили, специализируется на приборах для исследования биологических тканей. У меня к вам вопрос, а вернее, деловое предложение – можете ли вы найти способ для определения типа мышечных волокон без всякой биопсии? То есть, не протыкая шкуру лошади, а через её поверхность, быстро и безболезненно для животного. Если можете, я оплачу все расходы на разработку, потом мы наладим производство и прибыль поделим пополам. Как вам это предложение?

– Мне надо подумать, прежде чем я смогу вам сказать что-то определённое. Кроме того, я на зарплате в этой фирме и без позволения хозяина заниматься бизнесом на стороне не имею права. Дайте мне несколько дней, я вам позвоню.

На этом наша беседа о быстрых и медленных мышцах закончилась. Вернувшись в компанию, я зашёл в кабинет к хозяину и рассказал ему об этом разговоре. Он к идее о детекторе лошадиных мышц отнёсся весьма скептически и сказал, что для его компании такой лошадиный бизнес не по профилю. Однако, если мне интересно, он не против того, чтобы я в свободное от работы время что-то для Флойда Карлсона придумал.

У меня дома было несколько книг по анатомии человека и животных, и я довольно быстро разобрался с мышцами. Вскоре мне пришла в голову мысль, что раз медленные мышцы значительно гуще пронизаны капиллярами, а капилляры наполнены кровью – хорошим проводником электрического тока – значит, электрическое сопротивление быстрых и медленных мышц должно заметно различаться. Особенно вдоль и поперёк волокон. На основе этих соображений я разработал электронные схемы датчика и детектора, сделал чертежи механических деталей, а затем позвонил мистеру Карлсону:

– Послушайте, Флойд, у меня есть кое-какие соображения, как сделать поверхностный измеритель мышц для лошадей. Он будет несколько напоминать стетоскоп, где вместо мембраны установлены электрические контакты, которые нужно будет прижимать к шкуре лошади. Я уже сделал чертежи; приходите, я вам их отдам.

Надо только найти какого-то механика, чтобы изготовить детали этого детектора.

Флойд нашёл механика-умельца, дней через десять принёс мне все детали, а в уикэнд я смонтировал электронную схему и собрал прототип мышечного детектора в небольшом чемоданчике. На конце кабеля был датчик-«стетоскоп». Для измерения мышечных волокон его надо было смазывать специальным гелем и прижимать к шкуре там, где находилась интересующая нас мышца. Лошадей для испытаний поблизости не обнаружилось, поэтому я измерил свой бицепс, но полученные цифры ничего не говорили. Откуда мне было знать, какие там у меня под кожей мышцы – быстрые или медленные?

Я позвонил Флойду, он сразу приехал и я ему сказал, что прототип готов, но что он показывает – совершенно непонятно. Хорошо бы где-то найти несколько лошадей, у которых раньше брали биопсию и свойства их мышц известны. Мы этих лошадей обмеряем и сравним биопсию с показаниями нашего прибора, чтобы его откалибровать.

Флойд страшно обрадовался и сказал, что с этим проблем не будет. У него есть несколько знакомых конюхов на ипподроме Парк Бельмонт на Лонг-Айленде, что недалеко от Нью-Йорка, мы туда поедem и, он уверен, они нас допустят к их призовым лошадям.

В следующую субботу я на машине поехал в Парк Бельмонт. Подкатил к конюшням и увидел Флойда, который ждал меня на паркинге. Я достал из багажника свой чемоданчик с мышечным детектором, и мы пошли к одной из входных дверей. Меня поразило, что почти около каждой конюшни стоял или Роллс-Ройс или Бентли. Я спросил Флойда:

– Насколько я понимаю, в конюшнях находятся призовые лошади, которые стоят миллионы долларов. Видимо, эти роскошные автомобили принадлежат владельцам лошадей?

Флойд засмеялся:

– Ну что вы, лошадиные владельцы – народ скромный, они приезжают навестить своих лошадок на простых машинах, Шевроле или Тойотах. А на Роллс-Ройсах ездят жокеи. Вы наверняка над этим не задумывались, но я вам скажу: жокей – это такой маленький человечек, у которого мозгов явно меньше, чем у лошади,

на которой он скачет. По правилам ипподрома он получает 10% от выигрыша, а потому довольно скоро успешный жокей становится очень богат. Но поскольку ума у него нет, то как ему тратить деньги, он сообразить не в состоянии. Единственное, что приходит в его безмозглую голову, – купить страшно дорогой автомобиль, чтобы этим уесть других жокеев. Так что не удивляйтесь: таков мир ипподрома. Вы меня тут у дверей подождите с чемоданчиком, туда без разрешения посторонним входить нельзя. Я пойду сначала сам и постараюсь уговорить конюхов, чтобы нам позволили измерить лошадей.

Флойда не было с четверть часа, а когда он вышел, то сказал, что конюхи боятся подпускать к лошадям незнакомых людей, да ещё что-там с ними делать, и уговорить их невозможно. Однако в конюшне как раз оказались два владельца трёх призовых коней с известной биопсией, и они в принципе не возражают, но хотят узнать у меня детали опыта. Затем Флойд провёл меня внутрь и познакомил с двумя джентльменами. Я им рассказал, как работает детектор и как будут проходить измерения. Услышав, что через электроды пойдёт электрический ток, они сначала заволновались, но я их успокоил, сказав, что ток очень слабый, и я могу это доказать на личном примере. Затем я закатал рукав, прижал датчик к руке и включил детектор. На дисплее появились цифры, а со мной ничего не случилось. После этого мне позволили подойти к лошадям.

За каких-то полчаса я промерил все мышцы на ногах и крупах трёх красавцев-скакунов и записал цифры в свою лабораторную книгу. Владельцы, Флойд и конюхи на всё это смотрели с интересом и даже изредка помогали – придерживали строптивых лошадок, чтобы те не суетились. Когда всё было закончено, я дал номер своего факса лошадиным хозяевам и попросил, чтобы они мне прислали копии отчётов по биопсии. После этого мы с Флойдом разъехались по домам.

Тем же вечером я получил два факса со всеми данными и занялся обработкой эксперимента. После того, как всё было готово, стало ясно, что мой прибор даёт верные показания где-то в 70% случаев, что для начала совсем неплохо. Но главное – я понял, как надо его улучшить. Я сделал изменения в схеме, позвонил Флойду и попросил для проверки улучшенного детектора организовать ещё

один раунд испытаний на тех же самых лошадках. Он обещал всё сделать в самое ближайшее время. Вскоре он мне позвонил и сказал, что будет ждать меня в субботу на ипподроме у тех же конюшен, что и в прошлый раз.

Когда в субботу часов в десять утра я открыл гараж и сел в машину, чтобы поехать на Лонг-Айленд, то увидел стоящий на улице чёрный кадиллак, загораживающий мне выезд. Я посигналил, но кадиллак не сдвинулся с места. Тогда я вышел из гаража и подошёл к его водителю, чтобы попросить отъехать. Тут дверь машины открылась и появился коротенький смуглый человек в синем костюме, с зубочисткой в пухлых губах и солнечных очках, что меня слегка удивило – день был пасмурный. Ещё больше я удивился, когда он назвал меня по имени, потом открыл заднюю дверь и вежливо предложил мне сесть внутрь. Я ответил, что у меня для шуток нет времени, я тороплюсь, а в кадиллаке мне кататься неинтересно, и попросил его отъехать от гаража. Но он замотал головой, вынул зубочистку и сказал с заметным итальянским акцентом:

– Мой босс приглашает вас на ланч. Дам вам дружеский совет: не упрямитесь, садитесь в машину и поехали. Если мой босс кого-то приглашает, это большая честь, и самое разумное принять приглашение. Так для вас будет лучше. Поверьте, я знаю, что говорю – почти никто ещё не отказывался, а кто отказался, потом сильно пожалел.

После такого убедительного приглашения я понял, что дело принимает пикантный оборот, и для моего здоровья будет безопаснее не артачиться, потому закрыл гараж, вернулся к кадиллаку и послушно сел на заднее сидение. Машина выехала на 95-е шоссе и покатила в сторону Нью-Йорка. Водитель поставил кассету с итальянскими песнями в исполнении Дина Мартина, всю дорогу, не вынимая зубочистку, подпевал себе под нос, со мной не разговаривал, а я сидел молча, пытаюсь осмыслить, что может значить.

Через полтора часа мы въехали в Манхэттен, проехали вдоль Гудзона, по 24-й улице свернули на 9-ю Авеню и вскоре остановились у невзрачного кирпичного дома с пожарными лестницами по фасаду. На первом этаже был итальянский ресторанчик под вывеской

«Пепе Галло». Водитель вышел, открыл мне дверь и показал на вход: «Идите туда». Я так и сделал. Вошёл, огляделся и стал глазами искать сам не зная кого. Внутри было довольно сумрачно, на потолке крутился вентилятор, посетителей мало, человек пять или шесть, все мужчины. В дальнем углу за отдельным столиком с бокалом вина в руке сидел пожилой господин с большим мясистым носом и сильно морщинистым лицом. Увидев меня, он встал, помахал мне рукой, и я подошёл.

– Рад, что вы нашли время со мной перекусить, – сказал он не столько с акцентом, сколько с лёгкой итальянской интонацией. – Моё имя Тони. Так меня и зовите: «Мистер Тони».

Тут же к столу вперевалочку подбежал коротенький человек со сдобным румяным лицом и в белом фартуке; не то хозяин, не то шеф-повар. Он подобострастно склонился, своей улыбчивой физиономией и всей фигурой изображая знак вопроса.

– Сделай-ка нам, Пепе, аррабиату, как ты умеешь. Да соуса не жалей, – сказал мистер Тони и затем обратился ко мне: – Очень вам рекомендую. Никто, кроме Пепе, так не делает аррабиату. Пальчики оближешь. Как, не знаете, что это такое? Ай-яй-яй, да это же макароны «пенне ригате» с пикантным соусом из пеперончино! Обожаю всё острое.

Пепе умчался на кухню, а Мистер Тони продолжил:

– Я ведь для чего вас пригласил: хочу узнать про удивительную машинку, что вы сделали для мистера Карлсона. Как мне объяснили, она может определять, какая лошадь выигрывает на скачках. Я в технике не силен, так вы мне по-простому объясните – это что, действительно так?

– Мистер Тони, – ответил я, – по правде говоря, я весьма удивлён, что меня так бесцеремонно привезли сюда в Нью-Йорк, даже не спросив моего согласия. У меня была назначена встреча с мистером Карлсоном, и теперь я на неё опоздал. При всём моём к вам уважении, я же вас не знаю и не понимаю, почему я должен рассказывать незнакомому человеку про наш с Карлсоном проект. Это ведь наш с ним бизнес, и ничей больше.

– Ах, какая досада, – покачал головой мистер Тони, – значит, мой шофёр вам ничего не объяснил? Ну ничего, это легко поправить. Я, как бы это вам поделикатнее сказать, являюсь кем-то вроде

президента некой... корпорации, которая, среди прочих вещей, имеет интерес в беговом бизнесе. Ясно? Рад, что вы понимаете. Поэтому нас очень интересует ваша машинка. А с мистером Карлсоном у вас проблем не будет, мы с ним уже договорились, ваша встреча с ним отменена, и он просил вам передать, что не возражает, если вы мне всё расскажете.

– Ну, если вы с ним договорились и он согласен, тогда о'кей, – ответил я. – В двух словах дело обстоит так. Похоже, вас ввели в заблуждение и неверно сказали, будто мой прибор сможет предсказать, какая лошадь выиграет на скачках. Он это сделать не в состоянии. В лучшем случае, детектор лишь определит, есть ли у лошади хороший шанс быстро бегать. Только шанс, но никакой гарантии выигрыша. Хотя, думаю, и это немало. Не хочу морочить вам голову техническими деталями, скажу лишь, что детектор пока в начальной стадии, его надо испытывать на лошадях и доводить до кондиции, прежде чем им сможет пользоваться неопытный человек, скажем, конюх. И потом, у меня пока есть лишь лабораторный образец, и до серийного производства ещё долгий путь.

– Ну что за проблема! – улыбнулся мистер Тони, – кому нужно серийное производство? Два-три экземпляра – это всё, что требуется. Я предлагаю вам изготовить эти машинки для моей...э... корпорации. Для испытаний на ипподроме вам будет дана полная свобода: когда хотите, на каких лошадях, сколько угодно – всё, что пожелаете. Мы это берём на себя. Вы мне только скажите, какие у вас будут расходы, мы всё оплатим наличными, без вопросов. О деньгах не беспокойтесь. Когда сможете показать, что ваш прибор действительно определяет, есть ли у лошади лучшие шансы на выигрыш, вы в накладе не останетесь. Я лично вам обещаю. Держите меня в курсе всех дел, запишите мой телефон (он продиктовал). Да, вот ещё что. С мистером Карлсоном вы больше не кооперируйте, у него сейчас другие интересы. Будете работать на меня. Обязательно дайте мне знать, если кто-то ещё будет интересоваться вашим изобретением. Договорились?.. Ну ладно, хватит о бизнесе. На десерт мы попросим Пепе приготовить нам канноли. Для вашего образования – это трубочки с кремом; таких божественных, как здесь, даже в Сицилии не найти. Пепе – просто кулинарный волшебник! Попробуете и сами убедитесь.

После того, как я отведал аррабиату и канноли, тот же шофёр с зубочисткой в пухлых губах отвёз меня обратно домой в Коннектикут.

По приезде я сразу же позвонил Флойду. Он подошел к телефону но говорить не захотел и быстро закруглил разговор. Где-то через час он появился на пороге моего дома, мы пошли прогуляться, я рассказал ему про свою поездку в Нью-Йорк, и он сказал:

– Дело приняло неприятный и даже опасный оборот. Похоже, кто-то, скорее всего один из конюхов, разнёс слух о лошадином детекторе и это дошло до нью-йоркской мафии. Их люди на меня наехали и велели этим делом больше не заниматься, не то... Сами понимаете, что. Они меня хорошо знают ещё с тех давних времён, когда я работал помощником Томаса Дьюи. Не помните такого? Ах да, вы тогда ещё были ребёнком, да и жили на другом конце света. Так вот, более 30-и лет назад Том был кандидатом в президенты и проиграл Трумэну, а до того служил главным прокурором Нью-Йорка и прославился в борьбе с мафией. Я от этих политических дел давно отошёл, занимаюсь сейчас мелким бизнесом, но моё имя мафия помнит. Я решил, что лучше им дорогу не перебегать, хочу спокойно дожить свой век, без хлопот.

– А кто такой мистер Тони?

– Этот Тони, который с вами говорил в ресторане, – глава большой мафиозной семьи. Он хочет захватить в свои руки ипподромный тотализатор, а потому ему нужен ваш детектор, так как это может дать ему какое-то преимущество. В Нью-Йорке есть ещё несколько семей, которые не прочь протянуть руки к скачкам. Между семьями всегда идёт война за сферы влияния. Если конкуренты узнают, что вы для Тони делаете лошадиный детектор, то окажетесь между молотом и наковальней. А они про это узнают наверняка, не сомневайтесь. Нужна вам эта головная боль? Мой совет: сделайте так, чтобы этот прибор не работал или работал плохо, чтобы они к нему потеряли интерес. Какие к чёрту лошади! Сам себе удивляюсь – как же я раньше не подумал, что может так получиться! Нет, нет, этот детектор не нужен ни мне, ни вам. Никогда не знаете, чем всё может кончиться. С мафией лучше никаких дел не иметь. Себе дороже...

Работу над детектором я забросил, мистери Тони не звонил и хотел надеяться, что он про меня забудет. Впрочем, надежда была слабая – такие люди, как он, никогда ничего не забывают. Должен признаться, что висевшая надо мной неопределённость действовала мне на нервы. Я вздрагивал при каждом телефонном звонке, а приезжая домой с работы, озирался по сторонам: не запаркован ли где поблизости чёрный кадиллак?

Так прошло три или четыре недели, а потом всё разрешилось самым неожиданным и даже драматическим образом, да таким, какой я меньше всего ожидал.

Однажды, когда я смотрел по телевизору вечерние новости, вдруг объявили, что в Манхэттене, средь бела дня, при выходе из ресторана неизвестными лицами был застрелен вместе со своим телохранителем нью-йоркский мафиозо, глава преступного синдиката – наркотики, проституция, тотализатор и прочее. На экране была показана толпа зевак у ресторана (нет, не того, где я знакомился с аррабиатой и канноли), на асфальте пятна крови, жёлтые полицейские ленты опоясывали место преступления. Корреспондент из ТВ брал интервью у свидетелей, которые на самом деле ничего толком не видели, а лишь слышали хлопки выстрелов. Телевизионщики разыскали в архиве фотографию жертвы — и о радость и облегчение! На экране появился большой мясистый нос и знакомое лицо, исчерченное морщинами. Да, это был никто иной как мистер Тони собственной персоной! Теперь уже бывшей персоной.

...С тех пор ни один человек, включая Флойда, не интересовался моим лошадиным детектором, первый и единственный образец которого в чёрном пластиковом чемоданчике вот уже почти сорок лет пылится у меня в гараже.

***Яков Фрейдин** до эмиграции жил в Свердловске. Он – кандидат технических наук, работал в НИИ и одновременно кинокорреспондентом на ТВ.*

В США с 1977 года. Был исследователем в CWRU (университет в Кливленде) и ряде американских фирм, основал 4 компании и преподавал в Калифорнийском Университете. Автор более 90 научных статей, 60 изобретений и популярного учебника по датчикам. Ав-

тор книги (по-английски) «Приключения изобретателя – *Adventures of an Inventor*».

Публикует рассказы в русскоязычных изданиях и на интернет-порталах в Америке, Европе и России. Постоянный автор журнала «Времена».

В 2017 году в издательстве Hurricane Books выпустил на русском языке книгу «Степени приближения» (Невыдуманные истории). В том же году журнал «Чайка», выходящий в США в электронном варианте, назвал Якова Фрейдина лауреатом как самого читаемого автора.

Живёт в Южной Калифорнии.

Андрей ФРОЛОВ

ГЕНЕРАЛ СМЕРШ

Продолжение. Начало в № 3 (7) 2018

5. ПЕРВЫЙ НАСТОЯЩИЙ ШПИОН

Летом 39-го меня перевели в Киев, и мы получили квартиру в Банном переулке недалеко от обкома партии и знаменитого дома с русалкой. Киев восхищал нас своей красотой и активностью. Начальник наш Михеев тоже понравился – деловой, безо всяких закидонов. Здесь же я подружился с работавшим у Михеева в аппарате Яшкой Броверманом и оперативником Серёжей Косинцевым. Яшка был весёлый холостяк, проживавший с мамой, а Косинцев приобрёл боевой опыт в Халхин-Голе и тоже был хорошим товарищем. С ходу я получил возможность поучаствовать в операции по раскрытию и обезвреживанию уже настоящего шпиона, а не тех несчастных, на поимку которых нам заранее спускали планы в проклятом тридцать седьмом.

В июле в особый отдел Киевского военного округа пришёл рабочий, кандидат в партию, и поделился со мною своим подозрением относительно одного человека, который несколько дней проживал у него на квартире. С этим человеком он когда-то соседствовал. Затем родители переехали, и они с начала тридцатых друг с другом не виделись. И вот, вдруг, через девять лет к рабочему на квартиру, как снег на голову, сваливается друг детства и говорит: «Здорово, что ли!» Рабочий его хорошо встретил и предоставил ему отдельную комнату.

Понятно, старые друзья вспоминали прошлое. Но приехавший рассказывал как-то туманно, и рабочий так и не смог понять, где тот жил и что делал.

Позже рабочий заметил, что друг целыми днями шляется по

Киеву, имеет много денег, а вечером в уединении у себя в комнате что-то записывает в блокноте. В кратковременное отсутствие друга рабочий заглянул к тому в блокнот и увидел, что там нанесены военные топографические знаки.

«Я чувствую, что он шпион, проверьте его», – закончил своё сообщение рабочий.

Проверку мы организовали быстро.

По договорённости с командованием Киевского военного гарнизона на окраине города, где находилась фабрика, на которой работал пришедший к нам рабочий, начали создавать видимость установки зенитной батареи – солдаты начали копать укрепления и привезли несколько зенитных пушек. Рабочего попросили в беседе с другом детства сказать, что, возвращаясь с работы, он увидел такую картину: почему-то, мол, рядом с фабрикой устанавливают зенитные орудия.

На другой же день, как было установлено наружным наблюдением, утром друг детства поехал на трамвае к этому месту, где его, понятно, уже ждали, и стал его осматривать. Всё стало ясно. Слежку за ним продолжили.

Через несколько дней друг детства распрощался с рабочим, сел в трамвай и уехал, как он сказал, к себе насовсем.

В трамвай за ним вошёл, понятно, наш агент. Но этот друг оказался хорошо обученным шпионом и на одном из поворотов спрыгнул на ходу, чтобы проверить, нет ли «хвоста». Серёже Косинцеву тоже пришлось за ним прыгать, иначе бы упустил. Тогда у друга детства не выдержали нервы и он бросился к Днепру. Вскочив в воду, он пытался выбросить пистолет и блокнот, но ничего не вышло, Косинцев и находившиеся на берегу люди его задержали, выловили блокнот и нашли пистолет.

Друг детства оказался польско-немецким шпионом, нелегально перешедшим нашу границу с заданием собрать сведения о частях киевского гарнизона. Он показал на следствии, что ему удалось установить фамилии, звания и даже должности ответственных офицеров штаба ВВС округа. Для этого он часто присаживался на скамейки бульвара, расположенного напротив штаба ВВС, куда выходили покурить и поболтать между собой некоторые офицеры. Таким образом, он за короткий период собрал ценные разведсведения.

В Польшу они с отцом бежали в 1930-м, так как отец спасался от уголовного преследования, а сына через несколько лет завербовали и обучали в разведшколе, и это было его первое задание.



*Андрей
Петрович
и Мария Исааковна
перед войной*

6. Я ПЕРЕХОЖУ В РАЗВЕДКУ ДЛЯ РАБОТЫ ЗА РУБЕЖОМ

В начале августа 1939 года я был вызван в Москву в командировку без объяснения причин. Я надеялся, что это как-то связано с Пашей, и не ошибся. В Москве на вокзале меня встретила чёрная эмка, и водитель отвёз к Судоплатовым на квартиру. Паша меня обнял: «Ну здорово, Андрей!», и тут же я попал в объятия Эммы. «Знакомься – это наш товарищ и коллега Зоя», – представила она незнакомку, стоявшую рядом. Я увидел перед собой симпатичную женщину, как мне показалось, дворянской наружности. Мы

улыбнулись друг другу и пожали руки. «Ты временно поступаешь в Зоино распоряжение, она заместитель начальника разведупра по европейским странам», – сказал Павел.

За обедом Паша стал вводить меня в курс дела.

«Андрей, обстановка быстро меняется. Идёт зондаж, возможно, заключение мирного договора с Германией...» Меня буквально передёрнуло: «С кем, с кем?» – не веря своим ушам, переспросил я. «Ну, с Гитлером, маленький такой, с усиками, говорит громко, чтобы тебе было понятней», – усмехнулся Паша. – Это решение правительства – нам надо выиграть время и дать капиталистам возможность передрасться. Короче, возможна скорая война с Польшей. Ты, кстати, почему скрыл, что твой двоюродный брат Роман был деникинским офицером?» Я похолодел. «Мы не имели от него никаких сведений, он пропал без вести», – выдавил из себя. «Да, ладно, я не об этом. Короче, мы подготовили на его имя паспорт, по фотографии вы похожи. Мы хотим тебя перебросить в Польшу, во Львов, якобы из Берлина, ты, говорят, изъясняешься на ломаном немецком, что вполне нормально для эмигранта. Задача у тебя такая. Во Львове ты ведёшь пронемецкую агитацию или просто ведешь себя подозрительно. Тебя арестовывают, сажают в тюрьму, а наши люди поместят тебя точнёхонько в камеру к некоему бывшему штабс-капитану деникинской армии Нелидову Александру Сергеевичу. Твой брат служил с ним в одном полку и оба были в 1918 в Екатеринославе. Нелидов в это время работал в штабе, твой брат был ветеринаром артиллерийской батарееи, вряд ли они знали друг друга. Но в лицо ты помнить его мог. Из нас ты один похож на белого офицера, покажи-ка Зое свои интеллигентные руки»... (Все, действительно, обращали внимание на мои руки и поражались, что они принадлежат парню из самой что ни на есть рабоче-крестьянской среды, внуку бывшего крепостного. Руки мои больше подошли бы пианисту – длинные пальцы с удлинёнными, элегантными гранёными ногтями). Плохо, что Паша узнал о моём брате Романе, это может аукнуться, ведь, значит, кто-то ещё знает, подумал я.

«А возраст-то как – ведь Роман был на восемь лет меня старше», – спросил я.

«Ничего, ты уже всю седеешь, сыграешь сорокалетнего, ни-

куда не денешься. Это только старому тяжело играть молодого, а не наоборот. Кроме всего, тебе ещё и морду набьют, а в тюрьме не так светло, так что всё будет в норме. Да и сидеть тебе вряд ли дольше месяца. Потом положение, скорее всего, радикально изменится. Вас могут освободить, могут перевести в другое место, но ты везде должен стараться быть с Нелидовым как можно ближе и узнать о нём как можно больше. Это очень умный, но физически не очень здоровый и крепкий человек. Убежать он от тебя не убежит, но, если вызовешь подозрение, постарается перехитрить.

Задача – доставить его нам живьём в сентябре месяце, не позднее. Он двойной, скорее всего даже тройной агент, точно работает на Германию, и, похоже, на Англию одновременно, но, возможно, ещё и на Польшу. Такая вот бестия. Инвалид Первой мировой, служил в штабе у Корнилова, до этого в войсковой разведке, был газами отравлен. У Деникина тоже работал в штабе и контрразведке. Любит выпить, но в тюрьме организовать это будет непросто, но можно будет обойтись одеколоном, наши помогут. Важно его расположить и разговорить – он может рассказать тебе много интересного, не упускай шанс, мотай на ус, потом по памяти запишешь его рассказы и передашь нам. Самое главное – что он думает о возможности войны с Германией, как и когда она может начаться, какую тактику могут применить немцы к условиям России, что он думает о Гитлере, о руководстве Вермахта, о германских танках, самолётах, флоте и другой технике, о ресурсах Германии и т.д. Что он знает о нас и как оценивает нашу готовность. То есть чуть подпол и задавай вопросы, старайся разговорить, но не в лоб, а между прочим, песни русские пойте, он любит, по нашим данным, «По диким степям Забайкалья» и «Славное море», учи. Короче, две недели тебя тренируем и во Львов, главная у тебя Зоя, передаём тебя ей и начинайте подготовку, времени совсем нет, события развиваются стремительно. Я тебя взял, потому, что мне показалось, что ты быстро ориентируешься в незнакомой обстановке и принимаешь правильные решения. Сегодня отдых, а завтра с утра приступаешь к тренировке».

7. В ПОЛЬШЕ

Через польскую границу меня перекинули сравнительно легко, хотя километров пятнадцать шёл ночью по каким-то болотам за проводником-евреем. Я просто умирал от любопытства, так как впервые в жизни пересекал границу СССР. Вот она, заграничная трава, деревья, звонко, но очень похоже на наших пищали и кусались иностранные комары. Это было так странно. Всё такое похожее и чужое, пока чужое.

Хотя на самом деле именно в Польше я уже был, но тогда она не была за границей. В 1913-м мы с родителями, сестричкой и маленьким братиком ездили к брату отца, дяде Павлу в Варшаву в гости. Тогда я впервые увидел электрическое освещение в шикарной квартире дяди, фельдфебеля императорской армии. Родители с дядей смеялись, когда я показывал пальчиком на спящих по варшавским улицам разодетых прохожих и кричал: «Смотрите, люди в подштанниках», так как никогда не видел в Екатеринославе, чтобы мужчины носили белые брюки. Но теперь это была настоящая за граница.

Переночевали в ближайшем местечке, сразу бросилась в глаза куда большая зажиточность, крыши крыты черепицей, красивая мебель, в большом дворе дородная скотина и несколько породистых лошадей. У нас бы таких давно раскулачили и в Сибирь... Утром меня на подводе подкинули до вокзала, и скоро я уже катил в поезде во Львов. Поезд был почище и покомфортабельнее по сравнению с нашенскими, пассажиры лучше одеты, а виды из окна очаровательные – сочно-изумрудные холмы и перелески. Народу было прилично, никто не обращал на меня внимания, хотя мне казалось, что они сразу заметят во мне чужака.

Во Львове я взял такси и поехал в центр. С деньгами у меня проблем не было, их мне вручили в избытке на пару недель.

Я поселился в гостинице и пошёл прогуляться по улицам. После наших городов красота и чистота Львова поразили, тем более обилие товаров и лавок. Эх, с Маней и детишками здесь бы прогуляться. Только загляни в магазин, и приказчики сразу начинают прыгать вокруг тебя, как болонки, даже неудобно.

Зашёл в парикмахерскую и решил сделать себе красивую мод-

ную причёску. Старенький еврей-парикмахер засуетился, тем более услышав, что я говорю по-русски.

– Сразу видно – пан офицер. В каких войсках, если не секрет, служили?

– Какие уж секреты – в войсках НКВД, – как бы сострил я и надул щёки – старичок чуть со смеху не упал:

– Ой, и насмешили вы меня, пан офицер, ой, насмешили, вот на кого вы ни капельки не похожи, так на большевика. По вашим пальцам сразу видно, что вы молотка в руках не держали, наверняка потомственный дворянин, на рояли вас в детстве играть учили, что я, русских офицеров не стриг? Уж я то понимаю в людях, кого здесь не перевидал только...

– Да вы что, я на заводе целый год гайки этими руками крутил до ГПУ...

Тут парикмахер аж чуть на пол со смеху не рухнул, всплеснул руками и хохотал так, аж машинка в руке задрожала. Но постриг отменно – «взгляните в зеркало». Я взглянул и обомлел, никогда я ещё не был так здорово подстрижен, как просто фон-барон какой-то. Ещё и затылок показал, у нас такого никогда не было. Тут он ещё плеснул мне на голову ароматной пеной и давай массаж головы делать. И всё это вместе обошлось мне в 2 злотых, а в бумажнике ещё как минимум 300 лежало. Да, с деньгами при капитализме, видимо, действительно, жить неплохо.

Поражали витрины магазинов, обилие товаров и рекламы. Не удержался и зашёл в сосисочную, ах, какой аромат сосисок, окороков и колбас! Тут же мне принесли дымящиеся краковские сосиски с яичницей и зеленью. А после кофе со сливками и пирожными я пришёл в такое приятное расположение духа, что испугался, как бы не переродиться. Только пожалел, что Маня с ребятишками не со мной – на часок, хотя бы, их сюда в эту сосисочную, вот бы порадовались. Погулял ещё часа два по городу, затем поймал такси, уехал в отель, принял душ, зашторил окна и улёгся на чистые простыни. «Хороша шпионская жизнь...», подумал и уснул без задних ног.

Проснулся далеко за полдень, оделся, впервые в жизни, в шикарный костюм, надел новые туфли, побрился, причёскался, погарцевал перед зеркалом, и опять на улицу выполнять свои служебные обязанности. Иду себе фланирую, прохожим улыбаюсь. В запасе

ещё пару часов до темноты. Замечаю за собой «хвост», значит, это наши меня курируют, больше некому. Знать бы, что не наши, можно было бы скандал с дракой в центре города учинить, – всё равно в тюрьму садиться. Значит, придётся устроить концерт в более интересном месте. И я зашёл в ресторан «Павиньол». Это был большой ресторан мест на сто, с площадкой для музыкантов. Заказал я от души – салат с грибочками и осетрину, о которой только читал в классической литературе и всегда мечтал попробовать, короче, самого что ни на есть буржуазного, ну и двести граммов нашей пролетарской для храбрости. Пока я наслаждался пищей, пришли музыканты и стали настраивать инструменты. Постепенно набирался народ, столики занимались. А я сижу и на всех изучающее поглядываю. Народ встречается со мною глазами и тут же их отводит. «Не моргайте, кролики, не на допросе» – думаю. Оркестр грянул польку. Мне стало совсем весело, и я даже начал слегка дирижировать.

Тут за столик ко мне подсаживается молоденькая пара лет под двадцать пять, она симпатичная блондинка, а он такой небольшой, стройный, светло-русый кудряш. Стали знакомиться, я опять представился офицером НКВД, а они, как и парикмахер, давай хохотать, хлопать меня по плечам и поднимать большой палец кверху. Мы выпили за знакомство, я водки, а ребята вина, и мне пришлось таки честно признаться, что я всего-навсего русский граф, проматывающий своё наследство, удачно вывезенное в Польшу перед самой революцией. Это их явно удовлетворило. «Прав, значит, Геббельс, ложь должна быть чудовищной, чтобы в неё поверили».

Сесть в тюрьму явно было не так просто, как мы это представляли себе в Москве. Я уже слегка опьянел, но лезть в драку не хотелось, да и вообще, почему бы не погулять ещё пару дней, ведь деньги ещё не кончились, а крайний срок моего попадания в тюрьму был оговорён на 30 августа, а было ещё только 28-е. В это время блондинка-Милена пригласила меня на танго. Это я умел, мы с Маней не зря в Тростянце танцам обучались, но эта Милена танцевала, как богиня. Все, казалось, любовались нами, но в середине танца подошёл Янек, остановил нас, и сказал, что ему надо срочно куда-то сбегать минут на пять и попросил меня не спускать глаз с Милены, так как вокруг много разных приставал. Я сказал,

что за Милену он может быть спокоен, и мы дотанцевали это танго до конца и вернулись к столу. Милена налила вина и предложила выпить за храброго графа-большевика, мы выпили, но тут она увидела какую-то знакомую и отошла с ней поболтать. Я на минутку зашёл в туалет, а когда, вернулся за столик, то Милены не обнаружил, я подождал минут десять, потом ещё десять, но ни Янека, ни Милены не было. Тогда я вскочил и пошёл к выходу, проверить, не болтают ли они на улице. В это время ко мне подскочил официант «Вы, по-моему, забыли оплатить ваш счёт, мистер – всего 20 злотых». «Ах, какие проблемы!» – воскликнул я и полез рукой во внутренний карман. Портмоне не было. Я обшарил все свои карманы – ни банкноты. Вот те и сладкая буржуазная жизнь, вот те и ещё пару дней на свободе. Деньги кончились гораздо быстрее, чем я ожидал. «У тебя, что здесь, ресторан или воровской притон! Меня обокрали!».

Официант, видно, не разумея русского, вцепился клещом в мой рукав. Он стоял так удобно, что я не удержался и выдал ему хук левой в челюсть. Хук удался, челюсть хрустнула и официант упал публике в ноги. И тут кто-то резко вывернул мне руку, так что мне пришлось лечь грудью на стол и прекратить сопротивление, стало ясно, что попал на приём к профессионалу. Им оказался местный ресторанный вышибала, отнюдь не зря получающий свою зарплату. Он отвёл меня, прекратившего рыпаться, в фойе, куда тут же зашёл полицейский, надел на меня наручники и повёл в часть. Видно, всё это было у них давно отработано и обкатано.

Так как я слабо понимал по-польски, они отвезли меня в тюрьму недалеко от центра и, как я понял, сказали, что переводчика пришлют завтра. В приёмнике меня заставили раздеться, осмотрели, обшарили и повели в камеру. Дверь со скрипом распахнулась, и я вошёл. Камера была неслабой, светлой, метров пятнадцать квадратных, с высоким потолком, не то что у нас в НКВД или тюрьмах. Через довольно большое зарешёченное окно было видно небо и верхний этаж здания напротив. «Благодать – даже и тюрьмы здесь, как санатории» – удивился я.

В камере, пахнувшей одеколоном, было светло, за столом с газетой в руках сидел средних лет костистый худощавый мужчина с морщинистым нервным лицом и седыми висками. Устремив на

меня печальные голубые глаза, он сказал «Давайте, знакомиться. Штабс-капитан Нелидов Александр Сергеевич». Я пожал ему руку и сказал: «Поручик Фролов, русский эмигрант, деникинский офицер».

Тут я ещё раз взглянул на Нелидова и узнал его – такие лица хорошо запоминаются. Особенно глаза. Большие светло-серые глаза, тоскливо смотрящие сквозь тебя. Да, это он заходил к нам в дом в 1918-м, когда деникинский солдат пытался забрать у отца с бельевой верёвки выстиранные портянки. Нелидов проходил по улице, увидел это безобразие, крикнул на солдата, и тот выскочил вон, затем он прошёл в дом, его золотые погоны сияли под солнечными лучами, весело падавшими через наше окно, посмотрел на меня, десятилетнего пацана, уронил голову и неожиданно зарыдал, приговаривая: «Почему я не маленький?». Мне было его так жалко, я впервые видел, как плачут взрослые дяди. Отец налил ему рюмку водки, он выпил, посмотрел мне в глаза, погладил по голове, попрощался и вышел. Потом я ещё пару раз видел его в деникинской контрразведке, куда бегал передавать записочки от нашей соседки её золотопогонному кавалеру.

«А вообще, мы давно уже с вами знакомы», – сказал я Нелидову, и тот удивлённо расширил глаза. – «Вы были у нас в доме в восемнадцатом в Екатеринославе, в Султановке на Андрюшинской, солдата прогнали, который хотел забрать у отца портянки, неужели не помните, отец вам ещё рюмку водки налил, а вы плакали».

Нелидов наморщил лоб, пытаюсь вспомнить. Напряжённое лицо его просветлело – значит, вспомнил.

«Да, плакал, плакал, молодой человек, ведь я потерял своё детство, всю свою прошлую жизнь, тут и камень заплачет, а вы тот маленький мальчик и есть?»

«Нет, я его брат, Роман. Роман Фролов, ветеринар артиллерийской батареи в корпусе генерала Слащёва».

«А, так вы Рома, как я рад, помните, мы с вами ещё в окопе водку под обстрелом пили, не забыли поди?»

«Ну да как же!»

О чёрт, так он знал моего брата – это меня весьма смутило, хотя мы с Пашей прорабатывали и такой вариант. А Нелидов всё углублялся в воспоминания:

«Конечно, запомнили – обстрел-то был какой жуткий».

«Ну да!» – ответил я, не моргнув глазом, как подобает настоящему разведчику.

«Вам, помнится, ещё тогда кисть левой руки оторвало, где она, кстати?»

Так, значит, Роману, моему бедному братику, руку оторвало? Какая беда. Я даже на миг забыл о своей роли.

«Так, значит, Роме руку оторвало!?»

«Какому Роме?» – нагло усмехаясь, смотрел мне прямо в глаза Нелидов.

Ах, гад, издевается... Не зная, что ответить, я просто сжал свою левую руку в кулак и сунул под нос Нелидову:

«А это не хочешь?!»

«А, приросла? То-то думаю! Значит, вы, действительно Рома, деникинский офицер из корпуса Слащёва?»

«Говорю же вам!»

«Вы, конечно, и правда, Романа мне чем-то напоминаете, хотите угадать ваше настоящее имя?»

«Какое ещё настоящее?» – с деланным удивлением спросил я, а что мне ещё оставалось?

«Вот щас и поймём. Серёжа? Нет, не Серёжа... Володя? И не Володя. Саша – да нет, не Саша. Николай, нет, вижу, не Николай. Тогда, может быть, Андрюша?» – и он посмотрел на меня не без издёвки. У меня от этого его взгляда холод по позвоночнику – такого со мной ещё не бывало.

«Ну, здравствуй, Андрюша, здравствуй, сероглазый король! А кстати, в НКВД теперь всех принимают, у кого пролетарское происхождение?»

О, чёрт, ситуация опять стала мне чем-то напоминать допрос в кабинете Скрыловецкого, в глотке даже стало сохнуть, и я уже машинально стал прикидывать, как бы ухватить Нелидова за горло, но вспомнил строжайший запрет Судоплатова на любые действия против этого субчика и отступился.

«Да, ты, Андрюха, расслабься, я тебе не враг, я тебя, наоборот, попытаюсь выручить, если нас освободят немцы, скажу, что вместе против красных воевали, ты не тревожься».

Я понял, что дальше скрывать от него мою боевую биографию бесполезно, тем более, что он продолжал:

«Ну, и зачем тебя ко мне посадили? Ой, стоп, раз уж так получилось, давай-ка вначале одеколонику вмажем, а то без этого не разберёмся, вишь, как всё тесно переплелось в этом мире».

«Отлично», – улыбнулся я уже менее напряжённо, так как хоть какой-то временный выход нашёлся, хоть какая-то соломинка, чтобы ухватиться. Нелидов полез в тумбочку, достал флакон одеколони местного разлива «Маршал Пилсудский», плеснул в наши алюминиевые кружки и выразительно воскликнул: «Шпионы всех стран, объединяйтесь! Ты, надеюсь, не возражаешь?»

Я кивнул головой. А что мне оставалось делать? Не предлагать же пить за здоровье товарища Сталина.

Мы выпили, не скажу, что было приятно, с учётом парфюмерного эффекта по всем внутренностям, но в разведке и не к такому надо быть готовым, как учила нас Эмма Судоплатова ещё в харьковском ГПУ.

«А всё-таки, какова судьба моего брата, Александр Сергеевич? Ему и правда руку оторвало? – вопрос о судьбе брата ещё с гражданской войны мучил нашу семью.

«Не могу сказать, не помню я никакого Романа Фролова. Он, что, действительно, у нас служил?»

«Его в Харькове мобилизовали, когда ваши его заняли. Он к тому времени только окончил ветеринарное училище, вот его и послали служить ветеринаром батареи».

«То есть не доброволец, а мобилизованный, мы из-за них и проиграли. Тем более не знаю...»

От этого его признания у меня просто челюсть отвисла, получается, что он меня, как мальчишку, купил, что-ли? Как же я сплхнул, ни на чём раскололся. Нелидов взглянул на мою дурацкую мину и расхохотался:

«Да, раньше у вас в ЧК посильнее ребята были, евреи особенно. Да только Сталину вашему они теперь, Андрюша, без надобности – сделали своё дело, могут уходить».

Ему теперь новая опора нужна, пусть потупее, зато надёжная, чтобы под самого не подкопались. Вот он вас и напринимал, детей рабочих. С вами проще работать и ему и нам. С теми бы этот номер с братом Ромой не прошёл, а ты скупал, это ж всё элементарные приёмы проверки на вшивость, ими, голубчик, любой уголовник в

совершенстве владеет. Чему только вас в ваших гэпеушных школах учат...»

Мы снова выпили, меня опять скривило, кой-как выправился лицом, а Нелидову хоть бы что. Будто всю жизнь одеколоном заправлялся.

«Ну и чего хотят от меня в НКВД? Зачем тебя, Андрюша, ко мне посадили? Просто умираю от любопытства!»

«Да ни за чем, просто, чтобы вам компанию составить, вдруг вам поговорить не с кем, а со мной пожалуйста, об чём угодно. А мне всё велено на заметку брать, каждую вашу мысль на лету подхватывать».

«О, так ты-то как раз мне и нужен, прямо как ангел с небес! А то ведь никто слушать не хочет, ни Абвер, ни поляки. А у меня мысли, Андрюша, как вши у солдата – всё время из головы лезут и в огромных количествах, ни стряхнуть на кого, ни поделиться, всю ночь спать не дают, окаянные, голова от них прямо раскалывается. Ай, спасибо НКВД, вот угодили, вот напарничка мне подбросили. Не в тягость, как говорится, а в радость. Мне ведь скрывать нечего, да и пить одному скучно, тем более одеколон. А у тебя, поди, задание меня спаивать и пьяный бред мой записывать, и одеколон ваши в камеру для этого поставляют».

Я аж обомлел, всё он, чёрт старый, как рентгеном, насквозь видит, вот бы и мне так научиться. Нелидов с усмешкой смотрел на меня:

«Давай-ка подлей, чего сидишь, ты ж на работе. Задание дали? Выполняй! Пей со стариком, и я тебе всё как на духу выложу, мне скрывать не резон, в могилу уносить что-ли? А ты слушай и на ус мотай – повышение по службе заработаешь, может».

И затеялся у нас разговор, каких прежде я ни с кем никогда не вел. Многое обсуждали, спорили, Нелидов философствовал и довольно убедительно, началось как-то само собой с марксизма и перешло на события сегодняшних дней. Я слушал, пытаюсь запомнить непростые мысли и выводы собеседника, во много раз эрудированнее и умнее меня. Зашла речь о светлой мечте человечества – коммунизме, Нелидов громыхнул, чуть ли на крик перешел:

«Да не будет никакого коммунизма, пойми, это утопия!»

8. ВОЙНА НАЧАЛАСЬ

Утром первого сентября Нелидов весь вдруг как-то оживился, выбрался из-под одеяла, налил себе в кружку одеколону и, торжественно смотря на меня, поднял её, как в тосте. От его слов и выражения лица у меня по телу поползли мурашки. «Я пью за то, чтобы мы с тобой уцелели в предстоящей великой схватке». Он выпил, и я спросил: «Так что, по-вашему, Германия всё таки нападёт на Польшу?»

«Непременно!»

«Надо бы предупредить наших», – мелькнуло у меня в голове.

Нелидов легко прочитал мою мысль:

«Ваших мы с Гитлером давно предупредили».

«Что за шутки?»

«Какие ещё шутки, молодой человек, в такие дни. Просто ваши с немцами в сговоре».

«В это я никак не могу поверить, это клевета!»

«Какая клевета, сговорились как миленькие – скоро увидишь, может, ещё вместе нападут».

«Но смысл?»

«Смысл и для тех, и для других. Это план с втягиванием Сталина в союз. Гитлер в результате получает единственную возможность начать Вторую Мировую. Ведь без нейтралитета и даже дружбы с СССР ему ничего не светит. Представьте, если бы СССР встал на сторону Польши вместе с её союзниками Францией и Англией... Но это лишило бы Сталина их любимой с Лениным мечты, чтобы империалисты сами между собой передрались. Весь расчёт ваших, что каждая война между империалистами приблизит торжество коммунизма. Весь расчёт Гитлера в том, что, Сталин, страстно желая втянуть империалистов во взаимный разгром, по примеру Первой Мировой, не сможет не заглотить эту приманку».

«А может, наоборот, Сталин поймал Гитлера на приманку?»

«Нет, друг мой, план состоит в том, чтобы поделить с СССР Польшу и отдать ему прибалтов, таким образом, отодвинуть его границы подальше от Москвы, Волги и Урала, удлинив коммуникации и затруднив снабжение войск, а потом, подождав, пока СССР сосредоточит основные войска и технику на новых границах, ата-

ковать его по центру и с флангов, разгромить и пленить большую часть личного состава и уничтожить самолёты, танки и тяжёлую артиллерию. Это единственный шанс Германии овладеть европейской частью России вплоть до Волги и Москвы».

На другое утро тюрьма загудела. Следующие несколько дней внесли ясность – Нелидов был точен – немцы атаковали Польшу. Англия и Франция объявили Германии войну. СССР встал на защиту Германии, Молотов немедленно назвал начавшуюся войну Англии и Франции против Германии империалистической агрессией. «Вот дурачье – заглотили нелидовскую наживку», – подумал я, всё же ещё надеясь, что наши строят немцам капкан и скоро перейдут на сторону Франции и Англии. Это поставило бы Гитлера в тупик – воевать с ходу на два фронта на территории Польши, а в союзниках кроме чахоточных Италии и Румынии никого. Однако Нелидов в пух и прах разбил мои, появившиеся было надежды.

9. ПОТОМ ЕГО ОТДАЛИ ВОЙСКАМ НКВД...

В таких разговорах мы провели с Нелидовым ещё три недели. Известия о начавшейся войне мы получали только на прогулках от сидевших здесь же украинских националистов, притом самые неутешительные. Украинские националисты откровенно радовались и ждали прихода немецких освободителей. «Львив будэ наш!» – восклицали они, на что я им показывал дулю в кармане.

Вечером семнадцатого сентября на прогулке они смотрели на нас злобно и выглядели понурыми, с нами не разговаривали, но из доносившихся с их стороны голосов я понял, что «москали пидступили к Львиву». Нелидов тоже весь насторожился, помрачнел и сказал после прогулки во время ужина: «Ну что, от вас, похоже, мне не ускользнуть. В НКВД меня расстреляют».

«Да ну что вы, и пальцем не тронут, у нас всё больше своих стреляют, а вы считаетесь ценным экземпляром и вас постараются перевербовать, только вы уж, пожалуйста, не упрямитесь».

«Твоими бы устами да мёд пить. Мне не до упрямства, молодой человек».

Вообще, он мне начинал нравиться – отнюдь не противный

старикашка, никакой не махровый антисоветчик или антисемит, как этого можно было ожидать. Да и в рассказах его много интересного, хотя и не слаб завираться. За что его расстреливать, тем



*Павел
Судоплатов*

более у нас в последнее время энтузиазм в этом вопросе, к счастью, поутих.

Днём 20 сентября после прогулки, на которой украинские самостийники выглядели хмурыми и на себя не похожими, дверь нашей камеры открылась и я увидел на пороге Пашу Судоплатова собственной персоной. «Ну что, засиделся?» – обнял он меня, потом подал Нелидову руку: «Андрей».

«Опять, Андрей? – удивился Нелидов – ведь вы не Андрей?» – воскликнул он и тыкнул в меня пальцем: – Вот настоящий Андрей.

Паша недовольно посмотрел на меня. Он кое-что смекнул.

«Ну что, собирайтесь, Александр Сергеевич, в Москву поедем!» – сухо сказал Судоплатов.

«А раньше у вас говорили в штаб к Духонину».

«Да ну что вы, вы у нас почти гость заморский, мы о вас и от немцев, и от поляков, и от англичан очень много хорошего слышали. Так что надеемся на сотрудничество. Уверяю, вам ничего не грозит.

Паша вывел меня из камеры на разговор.

«Удалось его расположить? Как он тебе показался? Узнал что-то важное?»

«Да вроде мы с ним подружились. Даже песни пели».

«Катюшу, что ли?»

«Нет, «потом его отдали войскам НКВД», – пропел я Судоплатову и тот расхохотался. – Старикан неплохой, всех насквозь видит, меня сразу раскусил. Запираться не стал, мне, говорит, всё равно на кого работать, лишь бы выпить давали и слушали. Пришлось с ним одеколон глушить... Мысли и представление у него о мире и международной обстановке совсем другие, чем у нас, понять его сложно, но во многом оказывается прав».

«Так он всё-таки дал свои соображения по Германии?»

«Все опишу подробно, как ты просил...»

Продолжение – в следующем номере

Петр ВЕЛИЧКО

КАК Я ЖЕНИЛСЯ НА КОРОЛЕВЕ

Судьба автора этих воспоминаний достаточно необычна и в то же время типична. Он – потомственный кубанский казак. Его отец Иван в Первую мировую войну попал на турецкий фронт, при взятии Эрзерума подхорунжий Величко заработал Георгиевский крест. После революции боролся с большевиками в составе отряда (корпуса) генерала Шкуро. Вместе с ним оказался на острове Лемнос, а впоследствии в Югославии, где работал инженером на французском руднике золота и меди. Здесь в сербском городе Бор в 1926 году родился его сын Петр.

Он учился в кадетском корпусе в Белой Церкви, в четырех километрах от румынской границы. Приближались советские войска. Единственной возможностью не попасть в их руки было записаться в «Шуцкор» (Русский охранный корпус) и уйти с боями в его составе в полную неизвестность. Петр так и поступил. Отец ушел с сыном, дошел до Австрии, потом присоединился к нему уже в Америке и прожил в Лос-Анджелесе до 83 лет.

После войны Петр закончил оставшийся год средней школы в Зальцбурге и поступил в университет в Граце. Через определенное время переехал в США, Служба в армии, снова учеба в университете, диплом магистра в области международной торговли. Работал в текстильной промышленности разных стран. Выйдя на пенсию, продолжал консультировать предприятия отрасли в Европе.

Петр Иванович включился в деятельность по восстановлению кадетских корпусов в России, в особенности на родине отца – Кубани.

Живет он с семьей в Калифорнии.

Публикуемые воспоминания П. И. Величко не касаются событий его молодости, связанных с пребыванием в Русском охранном корпусе. Он посвятил их истории своей любви и женитьбы на коро-

леве красоты Колумбии. Истории, прямо скажем, увлекательной и интригущей, и впрямь похожей на чудо.

Итак, вот его рассказ...

ВСТРЕЧА

За исключением маленьких деталей литературного и поэтического характера, рассказ мой достоверно и полностью описывает события и мои переживания, как я вижу их через дымку прошедшего с тех пор времени.

Ирина Сабурова в своей замечательной книжке «Королевство Алых Башен», утверждала, что в мире, в котором мы живём, всё еще бывают сказки, которые по загадочной, необъяснимой воле Провидения наподобие чуда нисходят на избранных счастливыхчиков. Она сказала:

*«Счастье только сказкой снится
Чтобы в мире знали люди
Что бывает это чудо всех прекрасней и светлей».*

В моём повествовании я постараюсь описать такое чудо, настоящую сказку, в которой я участвовал как пресловутый принц, нашедший свою королеву и волей судьбы соединивший свою участь странствующего рыцаря с дотоле беспечной судьбой этой бесподобной, коронованной красавицы. Расскажу я однако как введение о другом, крайне курьёзном случае, который за много лет предшествовал этому событию в условиях, не совсем соответствующих такому вескому и неожиданному заключению моей эпопеи.

...В то далёкое время, вскоре после окончания войны, я попал на работу на фабрику мебели и деревянных игрушек в австрийском местечке Пишелдорф. В связи с изменением рабочих условий в худшую сторону я решил уехать оттуда, чтобы по возможности перебраться из английской оккупационной зоны в американскую, где якобы нам, «перемещённым лицам», жилось сытнее и привольней, чем у обедневших англичан. Перед самым отъездом я решил пройтись по близлежащим деревням, где у меня были знакомые девушки-австрийки, которые меня часто подкармливали за один или

два скрытых поцелуя за сарайчиком. Я был тогда ещё юнец и на более интимные отношения мне не хватало ни опыта, ни смелости, и беглый поцелуй моей избранной Дульсинеи для меня представлял верхушку счастья и достижения, а для неё – приемлемой платой за девичье великодушие.

Со мной шагал мой друг по работе Арсений, и мы вошли в знакомое по нашим прежним похождениям живописное альпийское село с узорчатыми домиками, облепленными гирляндами красочных цветов, которые обрамляли все наружные окна и создавали впечатление сказочных игрушечных построек. Мы подошли к одному из этих опрятных домиков, в котором, по словам Арсения, жила молодая полька, занимавшаяся в свободное от работы время гадаaniem по картам. У неё создалась репутация особой прозорливости и очень удачных предсказаний посетившим её клиентам. На чём эта способность основывалась, нам было неизвестно, но на предложение Арсения зайти к ней в связи с моими предстоящими планами я согласился.

Я увидел молодую женщину привлекательной наружности, с младенцем на руках она *стояла* перед плитой и *большой* ложкой мешала какую-то таинственную жижу, булькавшую в кастрюле, распространяя запах осоки или мяты. Вокруг царил тишина, ребёнок тихо и равномерно дышал. Поздоровавшись, мы объяснили причину нашего визита. После некоторых колебаний она согласилась оторваться от своей кулинарии и, сев за дубовый стол, разложила карты, которые легли под нашим пытливым взором на полированные доски. Что она сказала Арсению, я совершенно не помню, но то, что она мне нагадала, осталось у меня крепко в памяти на всю жизнь, так как всё, абсолютно всё со временем исполнилось.

Не хочу входить в детали остальных её предсказаний, которые включали переезд в Америку, что в то время казалось неисполнимой мечтой, но рассказанное ею относительно моей будущей подруги жизни в тот момент показалось сплошной фантазией.

Посмотрев внимательно на карты и с каким-то особым любопытством на меня, она сказала, что я, как принц в знаменитой, всем известной сказке, найду свою королеву, настоящую королеву, повторила она, которая тоже восстанет из своего дремучего сна и станет моей верной спутницей на всю жизнь, но не раньше тридцатилет-

него возраста, до которого мне оставалось ещё много времени. Это она подчеркнула, и я, конечно, в тот момент это не принял всерьёз.

Распрощались мы тепло, и я, конечно, не забыл её слова, особенно когда эти предсказания *начали* исполняться. Относительно моей предстоящей поездки в американскую зону она ничего не знала, но в самом начале упомянула, сказав, что она сейчас не удастся, а позже – да. И вот на границе между двумя зонами меня снимают с поезда: мои документы на переезд в Зальцбург, «мой родной город» по бумагам, оказались истекшими. Американские военные сажают меня в обратный поезд, и я застреваю в английской зоне ещё на целый год. В следующем же году я проезжаю благополучно, вспоминая вещее предупреждение моей колдуньи- польки.

Опуская подробности, скажу только, что со временем я попадаю в страну моих снов и иллюзий – Америку, где, отслужив по призыву два года в военной разведке и повоевав в Корее, кончаю университет и получаю звание магистра по международной торговле. К началу моего повествования, работая в экспортном отделении торговой фирмы как её уполномоченный представитель, после посещения Мексики и стран Центральной Америки, по пути на Карибские острова я приземляюсь в Панаме. Закончив здесь дела, направляюсь на Ямайку. Это был февраль месяц, идеальное время для путешествий по островам, и так как это была моя первая поездка в те волшебные края после занесенного снегом Чикаго, я предвкушал возможные романтические приключения.

Итак, я должен был лететь авиакомпанией “Пан Америкэн”, делавший рейс из Панамы в Кингстон без остановок. Сев в самолет, я с удовольствием посасывал свой «дайкири» и смотрел в окно на плывущие подо мною кумулусы и дивное голубое небо вокруг, которое не предвещало никаких проблем. Летели мы около часу, когда неожиданно самолёт сильно передёрнуло и я с удивлением увидел, что один из моторов с правой стороны стал выбрасывать тёмно-красные языки пламени. Мы горели! Я тут же заметил, что пропеллер горящего мотора остановлен и самолёт повернул круто вправо, на юг, резко сменив свой первоначальный восточный курс. Нам спокойно, без паники объявили, что у нас появилась техническая проблема и поэтому мы летим в ближайший аэропорт, который находится в

колумбийском городе Баранкия. Самолёт продолжал лететь на трёх моторах, и через каких-то полчаса мы увидели большой город на берегу моря, где мы и приземлились без всяких затруднений, хотя нас у лётной полосы ожидали пожарные машины и кареты скорой помощи. Погрузив нас в автобусы, нас отвезли в прекрасную гостиницу по имени «Дел Прадо», где мы были размещены по номерам, из окон которых открывался замечательный вид.

В поездке меня сопровождал один из моих коллег по работе, Марион Грувер, симпатичный парнишка, говоривший с южным акцентом – он был из Атланты – и мы, поужинав обильно и вкусно, решили отправиться на такси в *город*, так как нам сообщили, что сейчас здесь масляничный Карнавал – зрелище, которое нельзя пропустить. Протолкнувшись через густую толпу, мы заняли удобные позиции в первом ряду и принялись с интересом наблюдать за парадом. Было очень жарко, но это мне лично после Чикаго мало мешало.

Красивых девушек было великое множество, но мне бросилась в глаза высокая колесница, где на её вершине в гордом одиночестве восседала на троне прелестная молодая женщина, окруженная четырьмя огромными лебедями, сделанными из ярких белых цветов. Я на неё смотрел как на одно из многих красивых лиц, которые проплывали мимо нас, и не отдавал себе отчёта, что я сталкиваюсь в тот момент с неизбежным роком, который предопределяет будущее человека независимо от его желаний и намерений. Мне и в голову не приходило и даже самое пылкое воображение не могло подсказать, что эта королева карнавала могла оказаться моей будущей невестой.

Насмотревшись вдоволь на снующую толпу, мы вернулись назад в гостиницу, где я распрощался до утра с Марионом, а сам пошел к стойке портье, чтобы взять свой ключ и попрактиковать свой всё ещё довольно несовершенный испанский язык со стоявшим около стола молодым «бэлбоем» в форме. Обменявшись мнениями о погоде и прочих глубокомысленных вещах подобного рода, на которые хватало моих знаний языка Сервантеса, я *вдруг* заметил большой черный лимузин, остановившийся перед входом в гостиницу. Из него вышли трое пассажиров – дама с мужчиной и девушка – которые распрощались с водителем, а молодая девушка направилась к стойке, где находился я, Когда она подошла и я увидел её

вблизи, я внутренне ахнул: «Господи, это та самая красивая девушка, восседавшая в колеснице». Взяв свой ключ и не наградив меня даже беглым взглядом, она направилась к лифту, где её ожидала



элегантная пара, и это были, как я предположил, её родители. В цветном платье с обнаженными великолепными плечиками и с крошечной «осиной» талией она была невозможным видением из «Сна в летнюю ночь» Шекспира.

Едва она исчезла в лифте, я немедленно обратился к портю, спросив его, кто это невероятное существо. Он мне сообщил, что это одна из королев карнавала, она же «Miss Norte de Santander». Зовут её Мерседес Суарес, она кандидатка на титул «Miss Colombia» и занимает с родителями президентский апартамент на верхнем этаже гостиницы. Я

заметил, что его родина Колумбия – замечательная страна, если производит таких невероятных красавиц, и он, конечно, с этим согласился.

Я поднялся в номер и раздевшись, лёг спать, но несмотря на все мои усилия, заснуть не мог, так как в моих взбудораженных мыслях я все ещё видел мою «королеву». Я решил снова одеться и пойти в бар, чтобы под сенью пальм выпить ещё один пунш и попробовать написать пару строчек «Мисс Мерседес». Для этой цели я взял с собой свой испанский словарь и в течение следующего часа сочинил ей послание, в котором вкратце рассказал, почему я в Баранкии, что завтра вылетаю в Кингстон и так как у меня не будет возможности выразить свои мысли и чувства ей лично, я решил это сделать путём этой записки. Я сказал ей, что она мне показалась самой красивой девушкой, которую я когда-либо встречал на своём пути, и попросил её разрешения ей снова написать в будущем. Для этой цели я просил её адрес. Я, конечно, сказал ей, кто я и откуда.

Так как мой «бэлбой» всё ещё находился у стойки, я попросил его передать мою записку мисс Мерседес и вручил ему хорошие чаевые. Просидев ещё некоторое время под пальмами и закончив свой пунш, я поднялся к себе и на сей раз заснул сном праведника.

Как я впоследствии узнал, «бэлбой» тотчас же поднялся на нужный этаж и смог вручить мою записку. Открывшая дверь Мерседес начала её читать, когда ее отец с романтическим именем Камило подошёл к ней и спросил, в чём дело. Она ответила, что какой-то свихнувшийся америкашка ей пишет всякую ерунду и вручила ему мою записку.

Прочитав её, Камило заметил, что он не видит ничего предосудительного в том, что дочь даст мне свой адрес и её слава таким образом распространится даже на Чикаго, тем более что она едва ли меня снова увидит. (Он кстати, вспомнил эти свои слова в день нашей свадьбы).

Утром мы погрузились в автобус, чтобы ехать в аэропорт и продолжить прерванный путь на Ямайку. Ко мне подбежал мой «бэлбой» и вручил мне записку от Мерседес, как я помню, на голубой бумаге с её монограммой, в которой она меня благодарила за добрые слова в ее адрес и сообщила свой адрес, предложив мне написать ей когда у меня найдётся свободная минутка. Радости моей не было предела, и я тут же решил ей черкнуть пару задушевных строчек из Кингстона, где собирался провести около двух недель.

В Кингстоне с помощью моего словарика я сочинил описание моих впечатлений и переживаний на этом волшебном острове. У меня, конечно, был излишек вдохновения. С одной стороны, в мыслях моих неустанно всплывал образ Мерседес, а с другой, я впервые оказался на Ямайке, которая на меня произвела потрясающее впечатление и я исходил выражениями восторга по поводу экзотической природы и моих встреч с интересными людьми. В конце письма я доложил, где будет моя следующая остановка с адресом гостиницы и, конечно, с выражением надежды на её ответ.

Но ответа не было. Я однако не падал духом и с энтузиазмом продолжал ей писать. Одной из последних остановок был Пуэрто-Рико, и там в гостинице меня встретило её долгожданное письмо, в котором она меня благодарила за усердие и извинялась за своё молчание. Причиной были постоянные разъезды по стране в связи

с необходимостью участвовать во всякого рода торжествах как общественных, так и официальных. Её постоянно приглашали в роли королевы красоты.

Вернувшись в Чикаго, в течение следующих пяти месяцев я писал ей постоянно, и её ответы стали приходить более часто, включая вырезки из газет, в которых она фигурировала в роли королевы красоты. Наша переписка стала существенной частью моей жизни, и хотя я ухаживал за очень милой русской девушкой Ириной (не допускал мысли, что могу жениться не на русской), я посвящал почти всё свободное время ответам на исключительно интересные послания Мерседес.

ЗАВОРОЖЕННЫЕ ДНИ

В конце лета на работе мне сообщили, что в сентябре я поеду сопровождать моего непосредственного начальника в трёхмесячной поездке по Европе. Я сообщил об этом Мерседес. Её ответ: она очень сожалеет, что Колумбия находится так далеко от Чикаго и я не могу приехать, чтобы нам познакомиться лично. Я ей тут же написал, что если она в самом деле желает со мной познакомиться, я постараюсь приехать, на что она ответила, что «будет очень счастлива, если я в самом деле смогу посетить её родину». Я собирался в Лос-Анджелес повидать родителей, но тут с моей обычной казачьей решимостью отложил эту поездку до Рождества, а вместо этого решил умчаться в дивную страну Колумбию, где живёт моя королева, которая желает повидать своего далёкого рыцаря. Принимая это решение, я не тешил себя какими-либо надеждами, а просто считал, что это будет невероятной встречей, которую я не забуду всю свою жизнь.

Я приобрёл карту Колумбии и с трудом разыскал город Кукуту, в котором жила Мерседес и который оказался на самой границе с Венесуэлой в тропической зоне страны. Я справился потом в агенстве путешествий, как туда добраться, что оказалось довольно сложным мероприятием. Нужно было в четверг после работы вылететь в Майами, где необходимо переночевать, чтобы на следующее утро поймать рейс в мне знакомую Баранкию, где опять нужно остаться на ночь, так как самолёт в Кукуту вылетал только утром на следующий день, приземляясь там около полудня.

Узнав о моих планах, мои чикагские друзья посчитали меня сумасбродом, но я своего решения не изменил и в следующий четверг уже летел в Майами, где переночевал в ближайшей гостинице и утром на следующий день сидел уже в воздушном корабле авиакомпании «САМ» (старом, но всё ещё летающем ДЦ-3) и через пару часов благополучно приземлился в Баранкии. Остановился я снова в “Del Prado”, в той же гостинице, где я впервые увидел девушку моих снов. Мои попытки ей дозвониться не привели ни к чему, так как телефон в то далёкое время действовал очень плохо, особенно между городами далёких от столицы провинций. На следующий день в субботу, в 11 утра, опять на добром старом ДЦ-3 я вылетел в Кукуту, нагруженный пакетами с подарками для всей многочисленной семьи Мерседес, так как у неё было пять братьев и сестёр и я, само собой разумеется, вёз каждому какой-то гостинец.

Кукута – столица моей королевы – с воздуха производит симпатичное впечатление. С одной стороны видна небольшая речка, чьи поразительно голубые воды омывают западную окраину города, который, как Рим, расположен на «семи» невысоких холмах, которые в свою очередь окружены солидными горными массивами, одетыми в изумрудную зелень тропического леса.

Перед приземлением нас здорово потрепало в связи с тем, что аэропорт славится своими перекрещивающимися ветрами, но все обошлось и пассажиры стали выходить из самолёта. Я был одним из последних в связи с моими многочисленными пакетами и когда вышел, почти все пассажиры уже брели к зданию аэропорта, где их пропускали через своего рода ворота в главное здание. Приблизившись к воротам, я вдруг заметил великолепную девушку, которая стояла около выхода и улыбалась мне. Она пристально посмотрела на меня своими казавшимися небесными глазами и сказала: «Пётр, добро пожаловать в Колумбию», на что я в ответ залепетал выражения своего восторга по случаю личной встречи с ней. В зале ожидания аэропорта нас ожидала мама Мерседес. Я поздоровался с ней, и она мне тоже пожелала приятного пребывания в Кукуте. Получив багаж, мы вышли на улицу, где нас ожидал лимузин. Уложив мой чемодан и остальные пакеты, шофер в форме сел за руль, а мы втроём поместились сзади. Мерседес была просто великолепна в её цветастом летнем платье и выглядела ещё прелестней, чем я её себе представлял.

Меня отвезли в новую гостиницу «Тончала» (названную в честь знаменитого индейского вождя) и предложили отдохнуть, а к 7.30 вечера быть у них дома, до которого всего пара кварталов, чтобы потом пойти вместе в «Теннис Клуб» на ужин и танцы.

Точно в 7.30, одетый в парадный костюм, я был на пороге двухэтажного дома, где познакомился с отцом Мерседес – Камило и ее братьями и сёстрами. Каждому члену семьи я преподнес хороший гостинец, что меня, несомненно, сделало более популярным в их глазах. Вспоминаю, что папе я привёз хороший бинокль, маме – изящное ожерелье, Мерседес – качественную ручку марки «Паркер», а одному из братьев – спортсмену – перчатки для бокса.

Мы пешком отправились в «Теннис Клуб», который находился через дорогу. Не знаю, был ли у них какой-то праздник, но вход в главное здание клуба был украшен чудесными тропическими цветами, а когда мы подошли, с одной и другой стороны широкого коридора стояли шеренги благожелателей королевы Мерседес и её шествие сопровождалось громом рукоплесканий. Я шел рядом с ней и чувствовал себя очень неловко под взорами всей этой разодетой толпы, которая, очевидно, пыталась определить, что особенного она нашла в этом краснеющем от стеснения господине, прилетевшем из далекой Америки с претензиями на близость и дружбу этой замечательной девушки.

Оркестр, стоявший у входа в главный зал, заиграл бойкую приветственную мелодию, которая, как я потом узнал, называлась «Мерседес» и была составлена неизвестным композитором в ее честь.

В главном зале нас поместили за отдельным большим столом, и вскоре последовал обильный ужин с напитками вроде пунша из рома. Оркестр исполнял ритмические мелодии, и пары начали кружиться. Я спросил, что играют, и мне пояснили, что это теперь самое популярное «мерекумбе», о котором я услышал впервые в жизни. Набравшись смелости, я пригласил мою королеву на танец, замысловатые па которого под ее руководством как-то одолел. Мерседес как опытная партнёрша следовала за мной без особенного труда. Мы танцевали часто, говорили на самые разные темы, я почувствовал необычайное влечение к этой сказочной девушке.

После полуночи мы вернулись домой, где я сердечно распро-

щался со всеми и вернулся в гостиницу, преисполненный самыми невероятными чувствами. Однако я всё ещё не допускал возможности, что у меня может быть что-нибудь серьёзное с такой исключительной девушкой. Потомственный кубанский казак встречается даже не с принцессой, а с королевой заокеанского царства и пленяет ее, как это бывает в сказках, но ведь это реальная жизнь и подобных случаев просто не бывает. Тем не менее, я уснул в тихом восторге от воспоминаний только что прошедшего замечательного вечера, где я имел честь и счастье быть рядом с удивительным человеком необыкновенного обаяния и красоты. Я пережил настоящую сказку, которая продолжается. Помолился я на сон грядущий той же молитвой, которой научил меня мой папа и к которой я прибегал во все критические моменты моей непростой жизни. «Слава Тебе, Господи и Пресвятая Пречистая Дева, за все Ваши превеликие и пребогатые милости – а остальное да будет в Ваших щедрых руках».

Следующий день было воскресенье. Я был приглашён на обед, а затем мы отправились с визитом к бабушке Мерседес, матери её отца Алисии, от благосклонности которой зависело практически всё. Мне, к счастью, и с ней повезло. С самого первого момента у нас установились тёплые отношения, и её добрые чувства ко мне сыграли решающую роль в дальнейших событиях. Ужин был у Мерседес дома.

Вернулся я к себе в гостиницу довольно поздно полный радужных впечатлений.

ПО ДОРОГЕ В СКАЗКУ

На следующий день, в понедельник, закончив обед, я сел с Мерседес на кушетку в большой приёмной перед двойной входной дверью. Мимо нас снова шла прислуга по своим делам, но мы, сидя рядышком, чувствовали себя в полном уединении. Сейчас уже трудно передать детали нашего душевного разговора. По каким-то неведомым причинам, волей небес, мы встретились в полностью для меня непредвиденном месте земного шара, и я бесповоротно полюбил девушку вопреки всем возможным противоречивым соображениям и готов был просить её руки у родителей и если они согласятся, то жениться на ней.

Она меня внимательно и серьёзно выслушала и ответила, что, сама того не понимая, с первого момента нашей встречи почувствовала, что я именно тот мужчина, которого она всю свою жизнь ждала и что если её родители дадут своё согласие, она готова выйти за меня замуж. Чудо совершилось!

Я спросил её, как мы дальше должны действовать. Она мне ответила, что сперва нужно будет привлечь на свою сторону её мать и заручиться её согласием, а потом уже атаковать отца, от которого фактически зависит наше будущее, так как без его согласия и благословения она замуж выйти не может,

Сейчас же мы пошли искать маму, и Мерседес ей изложила наше взаимное желание. Мама, конечно, расчувствовалась, всплакнула, но своё согласие дала и сказала, что окажет поддержку в предстоящем разговоре с Камило, которого дома в тот момент не оказалось. У отца свой кабинет и свои комнаты на втором этаже, туда никто не имел права входить без предварительного согласования по его личному телефону. Обычно он вставал ни свет ни заря и уезжал на свои плантации (в тот момент самые обширные во всем штате Norte de Santander) и возвращался поздно ночью в свои апартаменты, оставаясь там до следующего утра, когда дневной распорядок повторялся. На третий день мама Мерседес поймала мужа на выходе и сказала ему, что он должен нам дать возможность с ним поговорить по очень важному делу. Камило все понял и в тот же день после обеда пригласил к себе. Мы предстали перед человеком, от решения которого зависела наша дальнейшая судьба.

Я сразу взял быка за рога и сказал Камило в основных чертах следующее: «Дорогой Камило! Я стою в данный момент перед Вами, чтобы с чувством большого уважения официально попросить руку Вашей замечательной дочери Мерседес. Я сознаю, что её не заслуживаю, но храбрости мне придает моё чувство искренней любви, которое возникло в моём сердце, когда я познакомился с этой исключительной девушкой. Я могу обещать Вам, что сделаю всё возможное, чтобы она была со мной счастлива. Я сознаю, что её согласие зависит от Вашего решения и готов ему тоже подчиниться независимо от всех моих чувств по этому поводу».

Камило меня очень серьёзно выслушал и сказал мне приблизительно следующее: «Дорогой Пётр! Я немало думал над случив-

шимся и мне бесконечно тяжело отдать мою любимую дочь замуж за самого достойного в мире человека, которым я в данном случае считаю Вас. У неё еще целый год ее «королеветва», и у меня по ее поводу были совсем другие намерения, которые однако отходят на задний план перед возможностью её счастья с человеком, которого она так неожиданно для всех нас полюбила. Если она мне скажет, что в самого деле Вас *любит* и хочет во что бы то не стало выйти за вас замуж, я не буду препятствовать её счастью и дам свое согласие».

Тут мы оба под благосклонным взором мамы стали обнимать Камило, чьи слёзы смешались с нашими, и я от сердца поблагодарил его за его понимание и великодушие, так как он в конце концов отдавал самое дорогое человеку, которого он совсем не знал – так мне тогда казалось. (Впоследствии, когда мы уже устроились в Чикаго и познакомились с генеральным консулом Колумбии, я через него узнал, что Камило, увидев увлечение его дочери перепиской с каким-то типом из Чикаго, навёл необходимые справки и узнал абсолютно все обо мне – моём образовании, моей работе, жалованьи и прочем).

В тот же вечер было сообщено органам печати о предстоящей помолвке на следующий день в доме бабушки Алисии. Церемония официального вручения кольца с небольшим, но качественным бриллиантом (которое я купил утром того же дня) была произведена под вспышками десятков камер репортёров, явившихся на торжество. Были шампанское и обильные закуски. Впервые мне было позволено скромно поцеловать невесту – это был её первый в жизни поцелуй с женщиной – что тоже было запечатлено на многих кадрах.

Так как мой отпуск истекал через неделю, решено было устроить свадьбу в следующую пятницу. Сейчас же после обручения я выслал родителям в Лос-Анджелес телеграмму, сообщив о случившемся и прося их благословения, так как им спешно приехать на наше торжество не было никакой возможности. Кроме того, попросил у своей фирмы в Чикаго выслать мне телеграммой определенную сумму денег, которая бы нам позволила провести медовый месяц, точнее, неделю, в Майами.

Я продолжал жить в гостинице «Тончала», выходя утром после завтрака на встречу с моей невестой. Каждое утро публика ожидала моего появления из гостиницы, чтобы посмотреть на

меня, покорителя сердца их королевы. В течение дня мы гуляли по городу. Мы иногда останавливались, чтобы освежиться и поесть мороженого, и неизбежно кто-то появлялся с камерой, чтобы нас снять вместе. Я выучился улыбаться (у Мерседес была естественная, блестящая улыбка, которой она славилась). Снимали нас постоянно и повсюду, местная газета преподносила читателям последние снимки обручённой пары. Мерседес блистала в своих многочисленных платьях и нарядах. По правде сказать, в её присутствии я как «принц консорт», наверное, не производил особого впечатления, но моё положение жениха их «королевы» ставило меня на особый пьедестал.

Относительно тамошних обычаев вспоминается курьёзный момент, имевший место в канун нашей свадьбы. После тяжёлого дня, занятого всякими приготовлениями к завтрашнему торжеству, мы находились в «Теннис Клубе» вместе с сёстрами невесты Эльзой и Глэдис. Время приближалось к девяти вечера, и тут Мерседес мне сообщила, что она должна вернуться домой не позже девяти. Мне это показалось немного странным, так как завтра как никак она станет моей супругой, и я ей это сказал. Она согласилась, что время в самом деле не позднее и что, возможно, отец ей позволит остаться дольше со мной, но я должен с ним на эту тему поговорить. Камило стоял в кругу своих друзей у бара, я подошёл к нему и объяснил, почему его беспокою. Он выслушал меня и сказал следующее: «Вы правы, дорогой Пётр, что у нас обычаи немного строгие. Скажите Мерседес, что я ей разрешаю остаться здесь с вами до десяти». После такого ответа делать было нечего, и я покорно отвёл свою невесту домой точно в десять, оставшись коротать время с её сёстрами почти до полуночи, когда мне нужно было осуществить еще одно мероприятие, чтобы полностью исполнить их свадебные обычаи.

Дело в том, что в канун свадьбы жених должен преподнести своей избранной серенаду. Через моих будущих родственников я разыскал и нанял известную в городе группу музыкантов в пять человек, играющую и поющую известные романсы, соответствующие подобному событию. Одетые в костюмы, напоминающие одеяния испанских гидальго, с круглыми андалузийскими шляпами на голове, они представляли собой весьма живописную группу, придававшую определенный колорит торжествам подобного порядка. И вот около

полуночи мы гурьбой проскочили в передний двор дома Мерседес (ворота которого оказались «случайно» открытыми). Музыканты стали в тень больших деревьев, а я в полном одиночестве оказался впереди них. Музыканты настроили свои инструменты – гитару, знаменитое подобие мандолины «Типле», аккордеон и скрипки – и без промедления грянули какую-то неизвестную мелодию, и, к моему облегчению, кто-то из них стал исполнять серенаду как бы от моего имени. Я стоял растерянный и не мог решиться, стать ли мне по-кадетски на вытяжку, или двигать руками в такт мелодии и раскрывать рот, пытаясь повторять слова незнакомого романса. Играли и пели раз десять, и я смотрел на второй этаж, где якобы в одном из окон зашевелилась занавеска. Переминаясь с ноги на ногу, я дождался конца серенады, но никто не появился на балконе, а вместо этого отворилась настежь главная дверь дома и на пороге появилась мама Мерседес, моя будущая тёща. Она любезно пригласила нас всех войти в дом, где перед дверью стоял накрытый стол с закусками и напитками, включая шампанское в ведёрке со льдом. В тот момент слышались шаги на лестнице, и появилась в сиянии своей юной красоты невеста. Подойдя к нам и разрешив мне прикоснуться губами к её ручке, она занялась угощением музыкантов, которые, наверное, не ужинали, предвкушая предстоящее угощение.

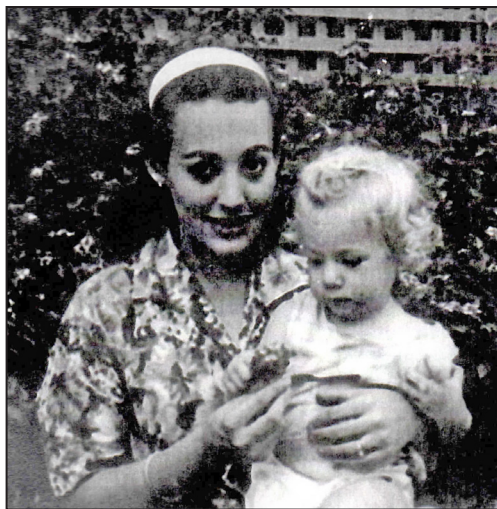
Через некоторое время мы вышли на улицу, и я бегло поцеловал невесту с пожеланием «скорого свидания» – «Nasta pronro».

СВЕРШИВШЕЕСЯ ЧУДО

Обряд бракосочетания должен был произойти в большом саду бабушки Алисии в присутствии близких родственников, приехавших со всех концов Колумбии. Этот сад с роскошными тропическими деревьями, пересечённый аллеями с клумбами пышных южных цветов, занимал целый квартал центральной площади города и был окружён высокой стеной, отделявшей его от суматохи городского движения. Главное здание, в котором жила бабушка Алисия, окружённая немалым числом её «придворных дам» (с ней жили даже две её няньки, обеим за 90 лет) и прочей прислугой, занимало добрую часть всей площади сада и находилось в его глубине. К нему вела широкая бетонная аллея, бравшая своё начало с главных подково-

образных ворот, которые выходили на улицу с пространством для стоянки машин бабушки Алисии.

Родственников оказалось около сотни. Были и репортёры главных газет и журналов страны. Будучи православным, а Мерседес – католичкой, мы не могли венчаться в соборе города, а венчать нас должен был старый друг семьи, священник отец Бланко, в саду той же бабушки Алисии. Так как у меня не было с собой смокинга (кто мог предположить, что он мне понадобится) решено было, что я буду в своём тёмном костюме, а Мерседес наденет белое платье, в котором была в своё время коронована. Оно было обшито настоящим жемчугом и имело небольшой шлейф.



К началу церемонии в шесть часов вечера, когда горящее солнце Кукуты уже шло на убыль, все гости и приглашённые были на месте в огромнейшем бабушкином саду. От ворот вела пурпурная дорожка к импровизированному алтарю. По этой дорожке должна была шествовать Мерседес под руку со своим отцом, и он мне должен был передать свою дочурку на «вечное обожание». Как ни странно, меня никто не посвятил в детали церемонии, и я стоял метрах в десяти в тени большой пальмы, разговаривая с дядей Мерседес – Елисео. Вдруг загремел оркестр, и в рамке входа появилась моя невеста под руку с отцом. Она в недоумении смотрела на алтарь, около которого стоял отец Бланко, но жениха не было. Сообразив, что я должен её встретить перед алтарём и принять её из рук Камило, я галопом помчался к алтарю и скороенько стал впереди его. Перед Мерседес шли маленькие девочка и мальчик, неся на серебряных подносиках «аррас» – десять золотых монет – подарок мне от бабушки Алисии, которыми я должен заплатить отцу за невесту. (Они, кстати остались у Мерседес, и

она впоследствии сделала из них великолепный браслет. Это были американские золотые монеты 1851-57 годов, настоящее сокровище для нумизматов).

Церемония прошла благополучно, я надел моей королеве обручальное кольцо и мы прослушали их брачную службу, конечно по-испански. Это было 15-го августа, в день ее именин.

Вокруг дома бабушки Алисии собралась толпа человек в сто, если не больше, и Мерседес вышла на балкон дома, чтобы ответить на приветствия её многочисленных обожателей. В это время стали подавать блюда роскошного ужина. Оркестр не переставал играть, и пары после выпитого шампанского кружились по паркетному полу главного зала, Я же, закусив, примкнул к Камило и мы вдвоём осушили несметное число бокалов холодного французского шампанского, который нам постоянно подносили официанты. Я утешал Камило, что он не теряет дочку, а приобретает ещё одного верного сына (у Мерседес трое братьев), который будет его ценить и любить всю жизнь как родного отца.

По обычаю в полночь, пока гости продолжали пить, веселиться и танцевать, молодожёны должны были тихо выйти из помещения и, сев в ожидающую машину, уехать в направлении, известном только им. Полночь приближалась, счастливые часов не наблюдают, я стоял с очередным бокалом шампанского около Камило, продолжая его утешать, и совершенно не намеревался куда-то ехать. Оба дяди Мерседес, Елисео и Армандо, подошли, взяли меня под руки и чуть-ли не насильно поволокли к выходу, где меня ждала немного раздосадованная новоиспечённая супруга. На улице нас ожидал лимузин бабушки, огромный «Крайслер», которым я должен был управлять. Меня усадили за руль в моём веселом состоянии, я никак не мог переключить скорости. Наконец, удалось включить вторую скорость, на которой я и поехал. Нужно было проехать добрую часть спящего города и, выехав на дорогу по направлению к «Вийа де Розарио», ехать ещё километров десять всё ещё во второй скорости. Сидящая около меня Мерседес показывала дорогу и бодрила меня, не понимая, почему мы так медленно движемся. Наконец, мы доехали до гасиенды «Финка де Сантандер», принадлежавшей её семье, в которой, кстати, много лет назад родился освободитель Колумбии Франциско Пауло де Сантандер.

По традициям семьи мы должны были провести нашу брачную ночь в комнате, где он якобы родился. Она была оборудована современно, со всеми удобствами, прекрасной ванной и кухней с холодильником, оказавшимся пустым. После выпитого шампанского у меня появилась неимоверная жажда, и когда мы убедились, что в холодильнике нет ничего освежительного, я упал духом. Мерседес, однако, уже одетая в изящную шёлковую ночную рубашку, предложила мне пойти вместе в апельсиновый сад и набрать зрелых апельсинов, из которых она мне выжмет свежий сок, которым я смогу утолить свою жажду. Мы так и сделали, и я предлагаю читателям представить себе эту уникальную сцену. Мерседес в чудесной ночной рубашке с корзиной в руках собирает апельсины при полной луне и я, ещё одетый, помогаю ей найти самые зрелые фрукты. Цикады неистовствовали в ночной тишине, аромат апельсиновых деревьев кружил голову. В кухне, к нашему счастью, оказалась соковыжималка, и я с наслаждением выпил большой стакан сока, который меня просто возродил и привел в себя.

Так началась наша первая совместная ночь, которая нас направила соответственным аллюром в наше светлое будущее.

Мы улетели в Мекку развлечений, отдыха и солнца – Майами. Нас сопровождала прекрасная погода, и мы прилетели в Чикаго загоревшими и безоблачно счастливыми. Там мы начали нашу новую жизнь.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Как уже было сказано, мы венчались в саду у бабушки Алисии и обряд совершал старый друг семьи, католический священник Падре Бланко, что в тот момент было единственным выходом, так как мы не могли повенчаться в городском соборе в связи с разницей в наших религиях. Однако у нас была идея повторить церемонию уже в Лос-Анджелесе, где будут присутствовать мои родители, сестра и многочисленные друзья и знакомые.

Попав в Лос-Анджелес, Мерседес обратилась к местному католическому архиепископу, чтобы он одобрил её намерение повенчаться со мной по православному обряду. Каково же было наше

удивление и разочарование, когда он решительно воспротивился желаниям Мерседес, пригрозив даже отлучить её от церкви, если она вопреки его запрещению всё же решится пойти на этот шаг. Нужно принять во внимание, что в то далёкое время католическая церковь была более догматичной и строгой, чем в наши дни. Мерседес очень убивалась и переживала по поводу создавшейся ситуации, а я не имел другого выхода как отказаться от наших намерений, испытывая определённую антипатию к её церкви.

Это ещё более обострилось, когда наследник испанского престола Хуан Карлос женился на греческой принцессе Софии и на обложке «Life» была великолепная фотография обоих с шаферами, державшими роскошные короны над их головами, а в самом журнале был полный репортаж об этой исторической церемонии, которая предшествовала венчанию в католической церкви.

Будучи в Риме, мы пытались обратиться к высшим иерархам церкви, например, к иезуитскому кардиналу, который управлял делами «Руссикума», основоположника экуменизма, но и он тоже не смог или не захотел нам помочь. Так мы и остались без венчания в православной церкви, что влияло на нашу духовную близость, оставаясь постоянным напо-минанием – все же есть между нами разница.

Однако Господь не без милости, а казак не без счастья. Ровно 30 лет спустя, когда мы жили в Швейцарии и готовились к празднованию нашего тридцатилетнего юбилея, совершенно неожиданно для меня Мерседес заявила, что готова повенчаться со мной в нашей церкви по нашему православному обряду. Я был в восторге и предложил ей осуществить это, когда мы поедем в предстоящий отпуск в Америку как раз к 15-му августа, дню нашего юбилея.

Я моментально связываюсь с нашими старыми друзьями, Володей и Риммой Калягиными, в чьем чудесном и уютном доме мы всегда останавливались во время наших визитов в Лос-Анджелес, и попросил их помочь организовать нашу новую свадьбу по всем правилам и обычаям как американским, так и нашим православным. Они охотно согласились споспешествовать осуществлению этого проекта, тем более что я подчеркнул – ограничения в расходах я не ставлю.

По их предложению, мы должны были начать с торжественной свадебной службы в нашей церкви на Аргайл Авеню со священно-

действием отца Александра, приехавшего из Аргентины и поэтому владевшего испанским языком.

Калягины оказались великолепными организаторами. Они составили список приглашаемых, во главе с моей сестрой Надей. Их оказалось около семидесяти, все старые друзья, включая Володю Муромского, моего давнишнего товарища по работе в Европе и кума по крещению сына в Брюсселе. Он станет одним из шаферов и прилетит на нашу свадьбу из Сан-Франциско.



15-го мы все были в церкви на Аргайл Авеню, и была совершена наша чудесная свадебная служба

с нашими великолепными коронами и с «Исаия Ликуй» во время обхода аналоя. В определённые моменты отец Александр делал провозглашения по-испански, когда, например, он спрашивал Мерседес, берёт ли она меня за своего мужа, остальное же шло по нашему ритуалу. Наши шафера держали короны над нами. Благодаря Римме Калягиной почти полный хор, в котором она одна из главных певчих, звучал в тот день особенно красиво. Наши чудесные песнопения проникали в моё крайне чувствительное сердце...

По окончании церемонии все отправились в дом Калягиных, где гостей ожидали щедро накрытые столы. В вестибюле у входа стоял большой стол, на котором покоились многочисленные свадебные подарки, которые нас удивили своей щедростью. Гармонист обходил столы и улаждал нас своей виртуозной музыкой. Кроме избранных вин, не было недостатка в шампанском, которое лилось рекой и влияло очень положительно на настроение гостей. Праздник продолжался до позднего вечера, когда последний гость распрощался с нами и нам разрешили уйти на покой в одну из спален дома Калягиных.

Таким образом, наша сказка, начавшаяся точно тридцать лет до того, прошла еще один этап по столбовой дорожке светлого семейного счастья.

P.S. У них родилось двое детей – дочь Мерседес и сын Пётр. У Петра Петровича выросли две дочери, у его сестры – дочь, уже ставшая матерью. Таким образом, 92-летний Пётр Иванович Величко не только дед, но уже и прадед, а его супруга, бывшая королева красоты Колумбии – бабушка и прабабушка. Все счастливые семье похожи друг на друга...



Редакция журнала ВРЕМЕНА благодарит американского учёного-химика, доктора наук Виктора Федоровича Бандурко за неоценимую помощь в подготовке этого материала.

Бандурко много лет дружит с автором этих воспоминаний.

Потомственный кубанский казак, он, как и Пётр Величко, родился в Сербии. Окончил русскую

школу, учился во 2-ом русском кадетском корпусе в Белграде. Во время войны, в 1944 году бежал от Красной армии и временно попал в концлагерь Маутхаузен в Австрии. В 1945 году находился в лагере для перемещённых лиц в Зальцбурге, откуда вместе с семьёй был отправлен в Эфиопию, где его отец получил работу врача. В 1952 году с сестрой Верой переехал в Америку. Работал в крупной американской фармацевтической компании «Johnson and Johnson». Автор 16 патентов и 12 научных работ в области медицины.

Активно участвует в кадетском движении. Спонсировал приезд в Америку и Канаду хоровых ансамблей из России и СНГ. Женат. Имеет 3 детей и 6 внуков.

Григорий ПИСАРЕВСКИЙ

КАК ФРЭНК И СТИВ ПОССОРИЛИСЬ И ПОМИРИЛИСЬ

Дом, в котором Фрэнк жил со своей женой Мэгги, располагался в небольшом уютном городишке на севере Пенсильвании, на тихой улице, густо поросшей платанами и сиренью. Фрэнк, много лет проработавший в фармацевтических компаниях, недавно вышел на пенсию. Теперь он делил своё время между интернетом и гольфом. Минуло уже несколько лет с тех пор как дети выросли, стали самостоятельными и покинули родительский дом. Сын с женой перебрались в Мэриленд, потом оказались в Кентукки – туда переместилась фирма, где сын работал в отделе информационных технологий. А дочь ещё училась – зарабатывала степень магистра в качестве дипломированной медсестры во Флориде. Там и планировала остаться после университета. Говорила родителям, что во Флориде никогда не будет недостатка в пациентах.

В соседнем доме проживала другая пара примерно того же возраста – Стив и Кэти. Раньше Стив служил полицейским детективом в Филадельфии, но уже лет восемь как вышел на пенсию. Он увлекался коллекционированием юбилейных монет и спортивной стрельбой из пистолета. У Стива и Кэти было две дочери, и обе жили за границей. Старшая, Мерил, вышла замуж за канадского бизнесмена и переехала в Ванкувер, а младшая, Гвинет, каждые два-три года перебиралась с места на место с детьми и мужем, офицером морской пехоты, который последнее время служил на Окинаве.

Фрэнк и Стив были друзьями в американском понимании этого слова. Они частенько беседовали по несколько минут во время стрижки травы на своих аккуратных газонах или когда одновременно выставляли к бордюру мусорные баки. Разговор шёл в основном о погоде, бейсболе, футболе и ценах на бензин. Их жёны тоже любили обменяться парой слов от случая к случаю, и продолжались такие беседы по полчаса или чуть больше. О чем разговаривали дамы,

остаётся тайной, но домой они всегда возвращались оживлёнными и в повышенном настроении. Каждая не раз говорила мужу, что их соседка – замечательная женщина.

Однажды, после снежной бури, когда у Фрэнка сломалась снегоуборочная машина, Стив самолично очистил соседу весь участок. А Фрэнк порекомендовал Стиву своего дантиста, и теперь они иной раз пересекались во врачебном офисе. Вот, пожалуй, и всё. Никаких кухонных посиделок за стаканом виски со льдом или, скажем, мартини, у них не происходило. Да и вообще Фрэнк предпочитал пиво.

В общем, Фрэнк с Мэгги и Стив с Кэти представляли собой две типичные американские пары среднего класса, в достатке и согласии живущие в спокойном городке.

У Фрэнка имелся кот Багси, рыжий и нахальный персидский красавец, получивший своё имя в честь известного бандита Багси Сигела, основателя игорного бизнеса в Лас-Вегасе. Кот любил проводить время на задних дворах у соседей в округе. Иной раз кот забредал на участок Стива и получал от него дружеское приветствие и пару почёсываний за ухом, а от Кэти кучу ласковых слов и несколько кусочков тушеной говядины или сосиску. Поэтому умный кот никогда не делал свои дела на их участке. Для этих целей он переходил на соседнюю улицу и устраивался на заднем дворе одного китайца по имени Джек. Джек не любил котов, и Багси, само собой, платил ему той же монетой.

А у Стива обитал в большой клетке с удобной жёрдочкой трёхцветный попугай по имени Лумумба. Фрэнк видел попугая несколько раз, но совсем не интересовался птицами и не знал, что Лумумба – попугай говорящий. Дело в том, что Стив не любил хвастаться, а жёны о попугаях вообще не говорили. У них всегда находились темы поинтереснее.

Как-то раз у Стива возникли затруднения – в Огайо умер его дядя, брат отца. Стиву и Кэти предстояло срочно лететь на похороны. Отдавать попугая в «отель для животных» совершенно не хотелось – Лумумба являл собой существо весьма чувствительное и ранимое, с тонкой психикой. И Стив, вообще-то не любивший прибегать к чьей-то помощи, скрепя сердце попросил Фрэнка приютить своего любимца на пару дней.

Фрэнку не особенно улыбалось брать на попечение экзотическую птицу. Конечно, попугай не собака, выгуливать его не нужно. Но всё-таки, думал Фрэнк, придётся чистить клетку, да и шум птица может поднять посреди ночи. А ещё Фрэнк предполагал, что кот Багси вряд ли проявит гостеприимство к новому постояльцу. Впрочем, Лумумба обитал в клетке с узкими проёмами между крепкими металлическими прутьями, и Багси не мог причинить ему вреда. Да и Мэгги доходчиво объяснила мужу, что соседу нужно помочь, тем более что летит он на похороны, а не, скажем, на курорт. А Фрэнк не привык спорить с женой. Он давно усвоил народную мудрость, гласящую, что «когда жена довольна, тогда и жизнь привольна».

Надо отметить, что Фрэнк и Стив, подобно многим американцам, на всякий случай никогда не затрагивали вопросы политики. Поэтому старина Фрэнк был несколько ошарашен, когда попугай, освоившись на новом месте – а Фрэнк подвесил клетку на длинной цепочке к потолочному вентилятору в бывшей спальне сына – склонил голову набок, уставился на Фрэнка яростным оком и заорал без всякого повода:

– Долбаные либерасты!

– Это ты о ком? -- поинтересовался Фрэнк, удивленно покачав головой, – не о демократах ли?

– К свиньям собачьим дерьмократов! – немедленно выкрикнул Лумумба и щёлкнул клювом.

Надо сказать, что Фрэнк как раз и придерживался весьма либеральных взглядов. Например, он полагал, что президент Трамп – расист, шовинист и враг женщин, хотя и не мог, несмотря на свою степень магистра фармакологии, внятно объяснить, почему Трамп заслуживает все эти нехорошие эпитеты. Фрэнк, как и большинство читателей «Нью-Йорк Таймс», просто предполагал, что любому «непредвзятому» человеку подобные вещи априори очевидны. И тут такой неприятный сюрприз от соседа, по всем признакам всегда производившего впечатление порядочного человека.

– Ты знаешь, дорогая, какие дикие взгляды у наших соседей? – сокрушённо сказал Фрэнк жене, переключившей бельё из стиральной машины в сушильную. – А с виду вроде бы приличные люди.

И он поведал Мэгги о безобразных высказываниях Лумумбы, наверняка почерпнутых у его хозяев. Ведь попугай вряд ли мог самостоятельно сочинить фразы такого рода. А его хозяева набрались консервативного вздора, скорее всего, от Fox News.

– Мне неизвестно, как обстоят дела с мозгами у твоего Стива, – отозвалась жена, взглянув на Фрэнка из-за сушики, – а Кэти я до сих пор считала вполне нормальной бабой. Но если они сторонники Трампа, расиста, шовиниста и ненавистника женщин, нам с ними больше делать нечего. Я не общаюсь с такими.

– Ты абсолютно права, дорогая, – кивнул Фрэнк.

Вечером жена, как обычно, устроившись с блюдечком овсяных крекеров напротив 60-дюймового телевизора в «семейной» комнате, приготовилась насладиться очередной серией «Игры Престолов». Телевизор они с мужем смотрели отдельно. Фрэнк предпочитал спорт или политические новости. Он взял на кухне пакетик солёных фисташек и поднялся наверх. В спальне у них с Мэгги стоял новый Samsung, но смотреть его можно было только лёжа на кровати. Укладываться ему, однако, пока что не хотелось, и Фрэнк отправился в комнату сына, где после его отъезда оставался небольшой Sharp. Разыскав дистанционный пульт, Фрэнк включил свой любимый CNN. Экран заполнило псевдо-аскетическое лицо Андерсона Купера, который, наморщив лоб, с весьма озабоченным видом что-то разъяснял телезрителям с места событий.

– Опять этот чёртов гомик расквакался! – тут же заорал попугай.

– Цыц, замолчи! – прикрикнул на Лумумбу возмущённый Фрэнк. – Андерсон Купер – один из лучших телеведущих Америки. Он знает, что говорит и вообще большой молодец.

С этими словами Фрэнк, фиксируя попугая-консерватора осуждающим взглядом, картинно нацелил на него указательный палец правой руки и строго спросил:

– Ты понял?

Лумумба, склонив голову набок, неуверенно поглядел на Фрэнка, переступил с ноги на ногу на своей жёрдочке, щёлкнул клювом и хрипло произнёс по слогам:

– Мо-ло-дец! Мо-до-дец!

– Вот так-то лучше, – улыбнулся Фрэнк, – хорошая птица. Не будешь болтать глупости, дам тебе пару вкусных орехов.

Попугай нахохлился и замолчал. Фрэнк переключился на MSNBC.

– А сейчас – с напором заговорила с экрана голова Рэйчел Мэддоу, – на основании всего сказанного мной давайте вместе решим, чего у Трампа больше: расизма, грубости или некомпетентности.

– Трамп – полный идиот, – поделился Фрэнк своим мнением с попугаем.

– Идиот! – подхватил сообразительный Лумумба. – Тр-р-рамп идиот! Тр-р-рамп идиот!

– Вот теперь ты наконец разобрался в политике, – похвалил Фрэнк попугая, подошёл к клетке и высыпал ему в мисочку для еды несколько фисташек. Лумумба охотно склевал их, повернулся боком и подставил Фрэнку шею, чтобы тот её почесал.

Через три дня вернувшийся с похорон Стив явился за своим любимцем. Он дружески поздоровался с соседом и поблагодарил за помощь. Фрэнк весьма сухо ответил на приветствие и вынес ему клетку с попугаем. Лумумба, привыкший к новому жилищу, тоже не изъяснил особой радости при виде хозяина. К тому же, у него, возможно, оставалась обида на Стива, по непонятной причине исчезнувшего из жизни попугая на несколько дней.

– Кто это пришёл, honey? – осведомилась Мэгги из бейсмента.

– Почтальон, – крикнул Фрэнк и бросил на Стива выразительный взгляд.

Удивленный Стив пожал плечами и, подхватив клетку со своим подопечным, ушёл, не прощаясь.

В тот же вечер попугай не упустил возможности поделиться со Стивом своими новыми взглядами на политическую ситуацию в стране. Услышав имя Трампа от Руди Джулиани, приглашённого Fox News для очередного интервью, Лумумба сверкнул глазами и гаркнул:

– Тр-рамп р-р-разрушает Америк-рику! Позор-р-р!

Стив и Кэти в недоумении глянули друг на друга. За считанные дни их любимец переквалифицировался в либерала! Стив понимающе кивнул, подошёл к клетке и набросил на неё полотенце. Попугай замолчал и вскоре уснул.

Теперь соседи при встрече молча кивали друг другу, не потру-

дившись даже изобразить на лице улыбку. Женщины прекратили свои доверительные беседы. Обе неохотно признались мужьям, что допустили ошибку в суждениях и на самом деле их соседка – весьма малоприятная особа. Фрэнк, разумеется, сразу согласился, а Стив только молча пожал плечами.

Так продолжалось несколько недель. В один тёплый вечер, когда звёзды дружно засияли на весеннем небе, Стив выставлял мусорный бак к бордюру и услышал шуршание маленьких колёс на соседнем драйвее. Фрэнк исполнял тот же еженедельный ритуал. Стив аккуратно установил свой бак на обычном месте, в пяти футах от драйвея, и решительно двинулся в сторону соседа.

– Эй, Фрэнк, – окликнул он. – Как дела?

– Прекрасно, – сухим тоном отозвался Фрэнк. – А твои?

– Всё хорошо, – сказал Стив. – У тебя есть минута?

– Есть, – с некоторой опаской ответил Фрэнк.

Стив приблизился к соседу и с улыбкой взглянул ему в лицо. Фрэнк насторожился.

– Слушай, дружище, – произнес Стив, – я тут кое о чём подумал. Мой Лумумба провёл у тебя три дня и стал талдычить всякие вещи, которых наслушался в твоём доме от CNN. А теперь, всего через пару недель, он опять повторяет то, что слышит у нас дома на Fox News или из всех этих видео, которые нам присылают друзья по электронной почте.

– Меня это не удивляет, – ответил Фрэнк.

– Верно, – продолжал Стив. – Так вот, не кажется ли тебе, что и мы ведём себя как попугаи? Повторяем то, что слышим на экране от говорящих голов. А ведь ты и я – два неглупых парня, каждый со своей собственной черепушкой на плечах, и притом хорошие соседи. Давай пошлём к чертовой матери всех этих политиканов и их бред! У них в Вашингтоне своя жизнь, а у нас здесь своя. Согласен?

И он протянул Фрэнку руку. Фрэнк, секунду поразмыслив, улыбнулся и ответил рукопожатием. Стив дружески хлопнул его по плечу.

– Ты смотрел последнюю игру Philadelphia Eagles? – поинтересовался он.

– Ещё бы, – ответил Фрэнк, сияя. – Крис Лонг был в ударе!

Григорий Писаревский – инженер-электрик, первые 40 лет жизни провел в Харькове. В Америке с 1988 года. Около 25 лет работал в крупных американских компаниях в области информационных технологий. Живет в Нью-Джерси.

Является одним из основателей и членом правления клуба «Русских Американцев» в своем городке.

Печатался в интернет-журнале «Беркович-Заметки», Калифорнийском интернет-журнале «Кстати», «Еврейском Мире», журнале «Чайка» и местной газете «Concordian» (на английском языке). Также на английском языке под псевдонимом «Jeff Pierce» издал политический триллер «Hallways of Deception» («Коридоры Обмана»).

Александр МАТЛИН

КУЛЬТУРНОЕ УЩЕЛЬЕ

В английском языке есть выражение *culture gap*. В буквальном переводе это «культурная щель», иначе – культурный зазор, пробел, разрыв и т.п. В общем, такое различие в культурах, которое не позволяет людям, выросшим в разных странах, понять друг друга. Если вы, дорогой читатель, иммигрант из России или, не дай Бог, из Советского Союза, вам это не надо объяснять. Мы с вами это хорошо знаем на собственном мучительном опыте.

Считается, что культурный зазор преодолим. Что мы всегда можем столкнуться с американцами, израильянами, немцами, канадцами, и даже, наверно, с китайцами. Надо только, чтобы стороны проявляли дружеское терпение и взаимную симпатию. И тогда можно перешагнуть эту проклятую щель и с восторгом проникнуть в культуры друг друга.

Я тоже раньше так думал. И прожив в Америке большую часть жизни, не сомневался, что моя иммигрантская проблема культурной ассимиляции давно преодолена и забыта... Но однажды эта уверенность предательски пошатнулась. Причиной того стал совершенно пустяковый эпизод, даже не эпизод, а просто разговор со старыми друзьями, о котором я сейчас случайно вспомнил.

Но давайте с начала.

Началом послужил юбилейный банкет по поводу моего дня рождения. Мне исполнилось что-то такое внушительное с окончанием на ноль. Как вы знаете, дни рождения с окончанием на ноль принято пышно праздновать. Мой банкет удался на славу. Как полагается, гремели тосты в мою честь и, конечно же, извергалось нескончаемое изобилие стихов в мою честь, поскольку наш брат иммигрант горазд на рифмоплётство. И всё это, признаюсь, было несправедливо по отношению к моим американским гостям, коих

присутствовало значительное количество. Они выслушивали эти русскоязычные потоки остроумия с растерянными лицами и при каждом взрыве хохота переглядывались друг с другом и тускнели.

Я тоже не сплеховал и сочинил стих. Он был адресован моей маме. Тогда она была ещё жива, присутствовала на банкете и вместе со всеми хохотала, хлопала в ладоши и произносила тосты, хотя ей было уже под девяносто. Чувство юмора ей никогда не изменяло, так что моё стихотворение она приняла с восторгом. Стихотворение начиналось так:

*Спасибо, мать, что родила,
Что организма не жалея,
На свет меня произвела,
Простого русского еврея!*

Эта первая строфа была встречена смехом и аплодисментами, что, конечно, повергло моих англоязычных гостей в уныние. А тут, как назло, последовала вторая строфа, вызвавшая ещё более бурную реакцию среди русскоязычных гостей и ещё большее расстройство среди американцев:

*Спасибо, мать, что в те года,
Когда меня в себе носила,
Ты всё снесла, хотя тогда
Тебя, наверно, мной тошнило.*

Я не буду приводить стихотворения полностью. Оно довольно длинное и носит несколько личный характер. Скажу только, что оно было принято с ликованием, хотя сам я не отношу его к числу моих лучших камерных сочинений для друзей и родственников.

На следующий день после банкета меня посетили мои соседи и старые друзья Арни и Вельма. Это были такие близкие друзья, что мы запросто заходили друг к другу без звонка, что в Америке считается недопустимым. Наши дома были рядом, забора между нами не было, и мы ходили друг к другу дворами, прямо по траве, не выходя на улицу. Арни и Вельма, конечно, участвовали во вчерашнем банкете и теперь заскочили, чтобы выразить благодарность и восхищение.

– Кстати, – сказал Арни, – мне кажется, ты написал очень смешное стихотворение, потому что твои гости прямо умирали от хохота. Не мог бы ты перевести его нам или, хотя бы, просто рассказать, о чём оно?



– С удовольствием, – ответил я. – Это стихотворение посвящено моей маме. Давайте прямо по строчкам. Значит, так. Спасибо, мать, что родила... Thank you, mother, for giving me birth.

– Спасибо за что? – не поняла Вельма.

– За то, что она меня родила. Я благодарю свою мать за то, что она подарила мне жизнь.

– Странно, – сказала Вельма. – Разве это не её биологическая миссия?

– Ну почему странно, солнышко? – вмешался Арни. – Я как раз понимаю, что это даже может быть смешно. Алекс благодарит свою мать за своё рождение. Она ведь могла сделать аборт. Ха-ха-ха.

– Дальше, – сказал я. – Что организма не жалея, на свет меня произвела, простого русского еврея... That with no concern about your body, you brought into this world me, a simple Russian Jew. Это понятно?

– Не совсем, – сказала Вельма. – Что ты имеешь в виду, когда ты говоришь, что она не беспокоилась о своём теле? Почему она должна была беспокоиться? Ты намекаешь на кесарево сечение?

– Нет, нет. Просто я хочу сказать, что... знаешь... Наверно, это не так просто, выносить ребёнка. А потом его ещё надо родить. И

моя мать через всё это прошла. Ради кого? Ради меня. И вот за это я её благодарю.

– Конечно, – согласилась Вельма. – Если уж выносила, надо рожать, никуда не денешься. Я помню, когда я была беременна Джейком...

– Подожди, солнышко, – перебил Арни. – Про свою беременность ты потом расскажешь. Меня другое интересует. Вот, Алекс, ты говоришь, что она родила еврея. Какое отношение к её родам имеет твоя религия?

Я почувствовал, что тонкая трещина взаимонепонимания, возникшая пять минут назад, начала угрожающе расширяться.

– Да пожалуй, никакого, – неуверенно промямлил я. – Просто... как бы это объяснить... просто я как бы признаю, что она меня родила. А я как бы еврей. Значит, она родила еврея.

– погоди, здесь что-то не так, – сказала Вельма. – Твоя мать еврейка?

– Еврейка. Папа тоже еврей.

– Папа тут ни при чём.

– Как это ни при чём? – возмутился я. – А кто же тогда при чём? Сосед дядя Вася, что ли?

– Папа ни при чём – решительно повторила Вельма. – Главное – мама. Если она еврейка, значит ты тоже еврей, и никого другого она не могла родить. Почему надо говорить, что она родила еврея?

– Потому что это смешно.

– Что смешного в том, чтобы быть евреем? – спросила Вельма.

– Да, что в этом смешного? – повторил Арни.

– Вы меня неправильно поняли – сказал я. – Конечно, нет ничего смешного в том, что я еврей. Это, даже наоборот, печально. Но у нас, русских, то есть, я хотел сказать, у людей из России слово «еврей» считается смешным. Как только скажешь «еврей», так все хохочут прямо до слёз. Вы сами видели.

– Ага, вот в чём дело! – обрадовался Арни. – Теперь понятно, почему они смеялись. Хорошо, что ты объяснил.

– Да, – сухо заметила Вельма. – У русских очень тонкое чувство юмора. Давай дальше.

– А дальше так, – сказал я, с облегчением возвращаясь к основной теме. – Спасибо, мать, что в те года, когда меня в себе носила,

ты всё снесла, хотя тогда тебя, наверно, мной тошнило. Thank you, mother, that at those years, when you were bearing me, you endured...

– Стоп, стоп, стоп, – перебила меня Вельма. – Это неправильно. Ты должен сказать «в те месяцы» а не в те годы. Детей не носят годами.

– Конечно, – сказал я. – Конечно, ты права. Но месяцы тут не при чём. Я говорю, что в те давние годы, когда...

– Ты должен сказать «в те месяцы», а не «в те годы» – отрубил Вельма. – Нормальная беременность продолжается девять месяцев. Даже когда я была беременна Джейком...

– Не отвлекайся, солнышко, – мягко попросил Арни.

– Ах, да пойми же, Вельма... – Я начал чувствовать лёгкое раздражение. – Может быть, я неточно перевёл. Я имею в виду далёкие, давно прошедшие годы, понимаешь? То есть то время, когда я ещё не родился, а мать меня носила.

– Послушай, – сказала Вельма, начиная чуть-чуть выходить из себя. – Не спорь со мной. Я женщина. Ни одна женщина, даже русская, не может вынашивать ребёнка годами.

Я сделал глубокий вдох и взял себя в руки.

– Конечно, Вельма, – сказал я ласково. – Конечно, ты права. Конечно, я неправильно перевёл. Забудь про года. Это у меня такой корявый английский. На самом деле я написал не «в те года», а «в то далёкое время».

– Ну, тогда другое дело, – сказала Вельма с облегчением.

– Да, совсем другое дело – обрадовался Арни. – Я так и знал, что ты написал очень талантливое стихотворение. Молодец. Вообще, русские люди очень талантливые, правда, Вельма?

– Да, очень талантливые, – согласилась Вельма. – Помнишь, котик, тот замечательный русский фильм, который мы недавно смотрели? Как он у них называется? Леви... Левинский... Левинзон...

– Левиафан?

– Да, он самый. Прекрасный фильм. Жаль только, что они главного героя сделали убийцей.

– Как? – оторопело выдохнул я. – Он не убийца! В этом весь смысл, что...

– Конечно, убийца. Убивает жену из ревности, – разъяснил Арни.

– Да нет же! Вы не поняли! Его подставили! Это хозяин города, мэр или кто он там, таким образом от него избавляется, потому что...

– Чего тут не понять – сказала Вельма с явным раздражением.

– Конечно, этот мэр города – негодяй, но он тут ни при чём. Там



суд разбирает дело и признаёт главного героя виновным на основании улики. Суд всегда независим. Так что это ты, наверно, ничего не понял.

Я почувствовал, что культурная щель разверзлась и оказалась глубоким, непреодолимым ущельем, из которого веяло холодом взаимного отчуждения. Видимо, мои друзья тоже это почувствовали.

– Солнышко, нам пора; я забыл принять свои таблетки, – сказал Арни.

Мы расцеловались, не глядя друг на друга. В окно я видел, как они, держась за руки, медленно шли к себе домой, но не через двор, как обычно, а по улице. Похоже, что пропасть между нашими дворами уже нельзя было перешагнуть.

Иллюстрации Вальдемара Крюгера

Александр Матлин – инженер-строитель, специалист по морским сооружениям и портам. В этом качестве проработал более 30 лет в Америке, а до того ещё 15 лет в Москве, откуда уехал в 1974-м году.

Помимо инженерства, в СССР он занимался тем, что писал рассказы и фельетоны и печатал их, в основном, в журнале «Крокодил». В последние годы он печатается в сетевых журналах, в еженедельнике «Панорама» (Лос-Анджелес) и других русскоязычных газетах и журналах Америки и Израиля.

В Москве в издательстве «Вагриус» вышла книга Матлина «На троих с ЦРУ» – полное собрание избранных рассказов и стихов. В ньюйоркском издательстве Mir Collection – рассказы 2 =1 на русском и английском.